

Н.Е. Сулименко

**ТЕКСТ И АСПЕКТЫ
ЕГО ЛЕКСИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА**

Учебное пособие

Москва
Издательство «Флинта»
Издательство «Наука»
2008

УДК 811.161.1(0.054.6)
ББК 81.2Рус-96
С13

Научный редактор:

д-р филолог. наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена
В.Д. Черняк

Рецензенты:

д-р филол. наук, проф. СПбГУ
М.Р. Проскуряков

д-р филолог. наук, проф. РГПУ им. А.И. Герцена
К.П. Сидоренко

Сулименко Н.Е.

С13 Текст и аспекты его лексического анализа : Учебное пособие /
Н.Е. Сулименко. — М. : Флинта : Наука, 2008. — 400 с.

ISBN 5-89349-752-X (Флинта)

ISBN 5-02-033566-5 (Наука)

Учебное пособие отражает опыт проведения лингвистического (и шире — филологического) анализа текста и опирается на достижения современного гуманитарного знания и интегральную концепцию языка. Первая часть посвящена определению места текста и его лексической структуры в кругу смежных явлений, а вторая — лексическим аспектам новой, формирующейся дисциплины — лингво-синергетики, имеющей большую объяснительную силу. Анализ текстов в пособии учитывает все разнообразие методов современного языкознания.

Для бакалавров, магистрантов, аспирантов, и преподавателей-русистов.

УДК 811.161.1(0.054.6)
ББК 81.2Рус-96

ISBN 5-89349-752-X (Флинта)

ISBN 5-02-033566-5 (Наука)

© Издательство «Флинта», 2008

Оглавление

Введение	6
Глава 1. ТЕКСТ И СМЕЖНЫЕ С НИМ ЯВЛЕНИЯ	7
1.1. Основы многоаспектности содержания текста	7
1.2. Текст и культура	15
1.2.1. Семиотические аспекты лексической структуры текста	25
1.2.2. Слово в пространстве культуры и явление интертекстуальности	28
1.2.3. Интерпретация текста и его лексическая структура	33
1.2.3.1. Лексическое структурирование переводного текста	45
1.3. Текст и моделирование его лексической структуры	51
1.3.1. Полевая организация элементов лексической системы как предпосылка текстовой деятельности	51
1.3.2. Рефлексия над словом в прозе О. Мандельштама: лингвистические уроки	57
1.3.3. Пространство слова в прозе О. Мандельштама	73
1.3.4. Лексика в процессах текстопорождения: когнитивно-дискурсивные стратегии	85
1.3.5. Лексические новации в пространстве дискурса	97
1.4. Текст и картина мира	106
1.4.1. Мир образов и образ мира в лексической структуре текста	106
1.4.2. Интерпретационное поле концепта	124
1.4.3. Фрагмент тезауруса и тематическая сетка текста	132

1.4.4. Текстовое слово в представлении звуковой картины мира	147	2.2.5.1. К истокам российской ментальности	333
1.4.5. Этическое пространство текстового слова	159	2.2.5.2. Пословица и лексическая структура художественного текста	341
1.5. Текст и дискурс	173	2.3. Текстовый субъект в концептуализации мира: синергетическая аргументация	361
1.5.1. От текста и стиля к дискурсу	173	2.3.1. Еще раз о текстовом субъекте: лексический аспект	361
1.5.2. «Железнодорожный» дискурс и лексическая структура художественного прозаического текста	182	2.3.2. Уровни психической активности сознания субъекта и текстовая лингвосинергетика	375
1.5.3. Текст и когнитивно-дискурсивная природа ситуации	195	Заключение	393
1.6. Текст и субъекты текстовой деятельности	207	Литература	394
1.6.1. Субъектный план лексической структуры текста	207		
1.6.2. Лексическая интерпретация «ликов» автора в текстовом пространстве	214		
1.6.3. «Лики» собеседника в прозе О. Мандельштама: лексическая интерпретация	225		
Глава 2. ТЕКСТ И СИНЕРГЕТИКА	238		
2.1. Картина мира в синергетике и ее текстовые проекции	238		
2.1.1. Синергетические мотивы в когнитивистике и лексической организации текста	249		
2.1.2. Когнитивно-дискурсивные стратегии с синергетической точки зрения	261		
2.2. Текст как открытая система	272		
2.2.1. Слово в его отношениях со средой: соотношение системы и среды и текстовая лингвосинергетика	272		
2.2.2. Лексическое структурирование текста как отражение средовых влияний	283		
2.2.3. Другие текстовые аспекты лингвосинергетики	301		
2.2.4. О судьбах этноса и слова на грани тысячелетий	321		
2.2.5. Текст как основа дальнейших интерпретаций: фольклорные элементы в лексическом структурировании текста	333		



Учебное пособие отражает опыт проведения лингвистического (и шире — филологического) анализа текста для русистов разных ступеней образования — бакалавров, магистрантов, аспирантов, соискателей, преподавателей-русистов. Оно опирается на достижения современного гуманитарного знания и интегральную концепцию языка.

С этим связана композиция пособия, первая часть которого посвящена определению места текста и его лексической структуры в кругу смежных явлений, а вторая — лексическим аспектам новой, формирующейся дисциплины, имеющей большую объяснительную силу, — лингвосинергетики.

Анализ образцовых текстов, прежде всего художественных, учитывает все разнообразие методов, сложившихся в языкознании к настоящему времени, с преимущественным вниманием к тем из них, которые связаны с когнитивно-дискурсивной парадигмой.

Автор приносит искреннюю благодарность всем, кто способствовал выводу в свет этой книги, но особую признательность выражает неизменному помощнику — Елене Ивановне Саволайнен, зав. кабинетом кафедры русского языка РГПУ имени А.И. Герцена.



ТЕКСТ И СМЕЖНЫЕ С НИМ ЯВЛЕНИЯ

1.1. ОСНОВЫ МНОГОАСПЕКТНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА

Из множества существующих определений текста наибольшее распространение получило то, которое дано в книге И.Р. Гальперина [5]. Однако и оно страдает редуccionистским подходом, ибо обращено к грамматическим категориям текста, к грамматике текста. В специальной литературе нет четких границ в установлении таких категорий текста, как цельность и связность. С семиотической точки зрения текст предполагает истолкование через «интерпретации вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем» [30: 362—363]. А.А. Леонтьев усматривал целостность текста не столько в единстве коммуникативной интенции говорящего, сколько в иерархической организации планов, программ речевого высказывания (ср. концепцию Т.Н. Дридзе о тексте как реализации коммуникативно-целевой программы его создателя).

Иногда такие признаки, как смысловое, коммуникативное и структурное единство приписываются только целостности текста, но ведь они выводят и на связность, устанавливаемую с учетом не только формы языковых средств в ее создании, но и их содержания, функций, не менее значимых для данной категории текста. Критика чисто формального, ограниченного подхода к истолкованию текстовых категорий особенно справедлива применительно к художественному тексту, назначение которого — открывать доступ к интертексту культуры, быть средством развития мысли и самопознания, культуры человека вообще. Точно так же обращение к психолингвистической аргументации явления целостности и референциальной стороне

объекта при характеристике связности текста не спасает положения, поскольку эти признаки оказываются значимыми для обеих категорий.

Рассмотрение содержательной стороны текста, его места в культурно-информационном пространстве возможно только в рамках интегрального подхода к языку, с учетом семиотических и культурологических концепций. По словам Ю.М. Лотмана, «при сложных операциях смыслопорождения язык неотделим от выражаемого им содержания» [13: 160], а следовательно, и от исходной семантики составляющих его единиц и тех прототипических текстов, жанров, дискурсов, нормы которых в нем закреплены или подразумеваются по умолчанию.

Очевидно, расхождение в установках на лингвистический и литературоведческий анализ текста, их раскоординированность, несведенность путей выхода на разные виды текстовой информации, отсутствие связей в литературном и языковом образовании на текстовой основе были одной из важных причин введения интегрального курса филологического анализа текста в вузе. При таком подходе художественный текст не может рассматриваться только как источник иллюстративного материала для исследования общезыковых закономерностей, для анализа отобранных лексических средств и их функций в пределах высказывания вне общего поэтического замысла и образной системы произведения, без соотнесения художественной детали со смыслом целого текста или его фрагмента.

Целостность текста — это, прежде всего, континуальность стоящего за ним индивидуального концепта, понимаемого как авторская концепция. Ее раскрытию подчинены все языковые средства текста со всей совокупностью их формально-содержательных характеристик, обуславливающих функции этих средств в общем структурировании текста, включая и его композиционный уровень. Все это не позволяет противопоставлять цельность и связность как категории, замыкающиеся только на содержании или на форме, поскольку форма (слова — прежде всего) всегда содержательна.

Точно так же категория законченности текста, не являясь для него абсолютным признаком, в проекции на художественный текст выступает как отвечающая задаче выполнения эстетической функции воздействия на адресата (см. подробнее:

[16]). В такой интерпретации собственно лингвистический анализ расценивается как способ познания языка на основе целостного познания соответствующей ему культуры. Это вполне соответствует принципу антропоцентризма, благодаря которому лингвистика становится частью человековедения, ибо язык и культура и их артефакты (тексты в нашем случае) — это человеческие установления, продукты человеческой деятельности на основе определенных социокультурных норм.

По справедливому замечанию Е.С. Кубряковой, текст представляет собой событие и лингвистическое, и семиотическое, и коммуникативное, и культурологическое, и когнитивное, он требует ответного текста и дальнейших интерпретаций. Все это определяется его способностью быть носителем информации, возрастающей по мере накопления знаний субъекта текстовой деятельности: «Текст — это особым способом обработанная и переданная совокупностью языковых форм информация, а значит, оформленная в соответствии с конвенциональными правилами ее распределения» [12: 518]. Конвенциональность объясняет нормативную значимость в текстовой деятельности (т.е. при восприятии, понимании, интерпретации и порождении текста) таких факторов, как отбор и типовые способы связывания языковых средств в парадигматике и синтагматике, роль избираемого речевого жанра, стиля, дискурса, функциональных типов речи. В текстовой деятельности участвует не только адресант, но и адресат, интерпретатор текста, и оба участника коммуникации привносят в нее свой опыт, выводное знание, интенции, потребности, мотивы и т.д. Культурологический анализ лексической структуры текста позволяет говорить о многоаспектности культурных ассоциаций, о диалогичности культур, их этно- и социокодах и вместе с тем о единстве культурного пространства.

Информационная основа текста подтверждается биологическими концепциями формирования смыслов: «Силы эволюции строят “духовный ковчег” личности над древним биологическим каркасом человека» [10: 183], а новый проект будущего видится в соединении био- и техносферы: «Информатика учит, что любые молекулы, любой вид неживой материи могут быть превращены в носителя информации. Если элементарные частицы способны хранить не только энергию, но и информацию, то

Вселенная является гигантским компьютером. Физика обречена понять программы элементарных частиц, взаимодействие информации и энергии на корпускулярном уровне» (там же). При этом язык компьютерных образов объявляется четвертым языком после языка ДНК (межклеточных сообщений) и языка внешнего сообщения — человеческой речи.

Таковы пути формирования нового языка «умозрения», который использует способность правого полушария человека «манипулировать гигантскими массивами зрительной информации», что недоступно оперирующему абстрактно-логической информацией левому полушарию. В изучении этих процессов находят дальнейшее развитие идеи крупнейших нейрофизиологов, психологов, психолингвистов о кодовых переходах во внутренней речи человека (от образно-визуального к вербальному и обратно) и при построении и восприятии текста. Эти гипотезы хорошо согласуются с формирующимися концепциями лингвосинергетики, определением их роли в анализе и построении лексической структуры текста, с концепциями жизнедеятельности, жизнестроительства как «текста» в культурологическом смысле этого слова и выводят на различные сферы жизнедеятельности человека (физиологические, психологические и социальные), ключевые, значимые для человека ее концепты, виды и способы.

В одной из телепередач канала «Культура» известный писатель В. Маканин задался вопросом, почему так легко читать романы, и ответил на него в том смысле, что художник выстраивает сюжет как последовательность сцен, событий, которые, сцепляясь и вербализуясь, образуют эпизод. В нашей памяти он хранится в форме пропозиции, развертываясь в предикатно-актантную структуру, которая, по мысли Е.С. Кубряковой, изоморфна структуре восприятия, внимания, механизмам противопоставления фигуры и фона и — шире — структуре деятельности человека: «с когнитивной точки зрения язык (и его субъектно-предикатные структуры. — *Н.С.*) лишь воспроизводит и даже дублирует те схемы, которые определяют соответствующие механизмы в сознании человека» [12: 229]. Таким образом, содержательная многоплановость текста определяется и деятельностью природой речемышления человека. По определению Т.М. Дридзе, «деятельность — это осознанная, мотивированная, предметная и целенаправленная, социально регла-

ментируемая **активность**, опосредствующая все связи человека с его естественным (природным) и искусственным (социокультурным) окружением» [6: 25].

Информационная основа текста объясняет и особенности речевого поведения реальной и смоделированной языковой личности, не только знакомой с языковыми конвенциями, но и обладающей определенным уровнем коммуникативной компетенции, знанием коммуникативных норм и стратегий текстовой деятельности. Научный текст, как и художественный, служат воплощением определенного фрагмента картины мира говорящего, в какой бы ипостаси он ни выступал, какой бы ролевой параметр ни использовал. В опосредованном виде этот фрагмент картины мира выводит на элементы композиционного уровня текста: заголовки, эпиграфы, эпилог, тип текстовых фрагментов и их иерархию, элементы эксплицитной и имплицитной информации, выводного знания с их распределением в текстовом пространстве и т.д. Эта зависимость информационной емкости научного текста от его композиционно-содержательной структурированности многосторонне отражена в работах пермских исследователей-стилистов (М.Н. Кожинной, М.П. Котуровой, Е.А. Баженовой, Н.В. Данилевской и др.). Элементами композиционной структуры определяются и лексическая организация текста, «лексические инструкции» автора по преобразованию научной картины мира адресата, ибо именно она служит когнитивным основанием целостности воспринимаемых и создаваемых («ответных») текстов.

Организующим композиционным началом художественного текста, согласно концепции В.В. Виноградова, выступает «образ автора». Значимость этого структурного центра связана не только с тем, что человек, пространство, время являются содержательными универсалиями любого текста, но и с глобальной антропоцентричностью художественного текста как продукта литературной коммуникации. Эта вторичная моделирующая система отражает в формах естественного языка определенную модель сознания автора, его интенции, образно-стилистические и жанровые предпочтения, эстетические установки. По словам Л.С. Выготского, художник всегда формой преодолевает свое содержание. К элементам формы относится и композиционно-лексический уровень текста. Композиционно-лексический уро-

вень художественного текста как результата креативной деятельности элитарной языковой личности, способной вскрыть внутренние потенции языка, выступает отражением ее когнитивно-дискурсивных стратегий. Ими объясняются способы вербализации и содержательных универсалий текста, и его темы, сюжета, жанра, стиля, парадигмы образов, а также состав и структура текстовых ассоциативно-семантических полей ключевых слов и всей авторской концептосферы, распределение типов повествования и функционально-смысловых типов речи в текстовом пространстве. Не случайно и ключевые слова текста, и наиболее частотные ассоциаты к ним выступают компонентом его композиционно-содержательной структуры (М. Фуко и др.), его композиционной доминантой (А.В. Пузырев), средством актуализации концепта и основой стилистических приемов, информирующих об авторских текстовых стратегиях. Это связано с различием задач текстовой деятельности автора, ориентированного на свертывание информации во внутренней речи и на ее развертывание во внешней речи, обращенной к адресату во всех его «ликах».

Одним из распространенных приемов «донесения» своего взгляда на мир и воздействия на психическую сферу адресата служит прием повтора, позволяющий перевести дискретное знание в элемент целостного континуального содержания текста. Уместно здесь вспомнить определение подтекста Т.И. Сильман как типа рассредоточенного повтора, обрастающего новыми смыслами по мере развертывания сюжета, т.е. с учетом композиционного уровня текста. Номинативные цепочки и полиноминативность также выступают как элементы композиционно-структурного уровня художественного текста, наряду с разнообразными реминисценциями (Н.В. Черемисина).

По существу, любая текстовая лексическая единица, участвуя в реализации авторского замысла, выполняет в тексте определенную функцию по его структурированию и на информационно-диктумном, и на информационно-модусном, аксиологическом уровне. Согласованность отдельных компонентов художественной модели диктуется глобальным антропоцентризмом реализующего ее текста с его содержательными универсалиями: человек-пространство-время, одна из которых в обязательном порядке влечет за собой актуализацию других ([29], [19], [1], [14], [8], [27], [28] и мн. др.). Они налагают свой от-

печаток на отбор лексических средств в распределении типов текстовой информации (подтекст, служа проявлением когнитивного уровня языковой способности, может стать сигналом определенного стиля мышления, когнитивного типа личности субъекта), в определении границ неперсонажной и персонажной речевой сферы [21; 28]; речевой партии текстового субъекта, в установлении рематической доминанты (Г.А. Золотова) разных типов текстовых фрагментов при выходе на такие компоненты художественной модели, как сюжет, портрет, пейзаж, интерьер, тип повествования и др. Ср.: «Субъектом речи (отправителем) может быть “я”-субъект, расщепленный “я”-субъект, ролевой субъект, позиционный субъект — персонифицированный и неперсонифицированный» [20: 27].

Важной составляющей композиционного уровня художественного текста служит, как будет показано далее, его метафорическое поле, состав текстовых метафор, перемещающих фокус внимания на неожиданные для метафоры-цели, но ядерные для метафоры-источника концептуальные признаки; и — шире — парадигмы образов данного текста и того художественного пространства, в которое он входит. Одна из разновидностей такого пространства, связанная прежде всего с персонифицированной русской культуры, — ономастическое пространство. Здесь, в частности, представлены образцовые для этноса, с этической точки зрения, поведенческие модели, укорененные в его культуре ценностные ориентации (ср., например, название и связанное с ним содержание одной из повестей Л. Улицкой — «Сонечка»).

Имплицитная информация, ориентированная на выводное знание, обусловленная взаимодействием лексических средств текстопостроения и среды, отчетливо обнаруживает несовпадение поверхностной семантики слов и глубинной семантики текста, за ними стоящей и связанной с ментальными структурами говорящего и адресата, их внутренним лексиконом.

В самом общем виде можно утверждать, что любой элемент структуры текста (и прежде всего художественного) рассчитан на определенную модель адресата, который, в свою очередь, имеет иерархическое строение (самоадресация, внутритекстовая адресация, межперсонажная адресация, внетекстовая адресация). Адресат может рассматриваться как модель определенного типа языковой личности (индивидуальной, социумной, этни-

ческой, общечеловеческой). Можно говорить с учетом принципа обратной связи о сюжето-, стиле-, жанро- и композициообразующей функции адресата и средств адресации в построении лексической структуры текста (см.: [23, 25]).

Таким образом, композиционно-лексический уровень художественного текста как отражение когнитивно-дискурсивных стратегий дает себя почувствовать в раскрытии содержательных универсалий текста, в выборе темы, жанра, стиля, в построении сюжета, парадигмы образов, системы текстовых ассоциативно-семантических полей ключевых слов-эпикаторов концепта и всей авторской концептосферы. Применительно к художественному тексту не до конца разработанными остаются вопросы о природе художественного образа и художественного концепта, художественной картины мира и национально-эстетической художественной традиции, о роли в этой картине мира коллективного бессознательного. Так, согласно одному из определений, художественная картина мира — это «совокупность специфических ментальных структур, представленных в той или иной форме в индивидуальном сознании и коллективном бессознательном» [16: 40].

Не вполне ясно, как эти характеристики соотносятся, например, с национально-специфическими проявлениями требований определенных литературных школ и направлений (акмеизма, символизма, соцреализма и др.) и как эти проявления связаны с коллективным бессознательным. Пространство художественной реальности, художественный дискурс допускают и предполагают интерпретацию с различных аксиологических позиций, с точки зрения обыденного, наивного сознания и с метапоэтических позиций представителей отдельных школ и направлений и науки в целом во всем разнообразии разрабатываемых ею парадигм.

Часто смешиваются слова как двусторонние единицы и разные типы ментальных репрезентаций. Ср.: «ключевые **слова** с предметным, денотативным, значением выступают в тексте литературного произведения основой художественного **образа**; **слова** же с абстрактным, сигнификативным, значением, в большей степени связанные с понятийной сферой, организуют ядерную зону художественных **концептов**» [11: 220]. Достаточно напомнить, что и денотативный, и сигнификативный компоненты присутствуют в семантике любого однозначного слова, а

также то, что специфика концепта не исчерпывается его понятийным содержанием. Автор статьи приводит примеры анализа очень интересных текстов Л. Толстого, А. Платонова и С. Есенина с общим названием «Корова» и показывает, как «**разные** художественные образы» служат решению разных эстетических задач, и лишь недоразумением можно объяснить одно из заключительных положений автора о «трех разных репрезентациях **одного** художественного образа» [11: 222]. Сам выбор разных лексических репрезентаций с их разными семантическими свойствами обусловлен разными интенциями авторов и обуславливает разную интерпретацию общей темы, т.е. создание разных художественных образов.

Все это объясняет многоуровневость, многоплановость, голографичность содержательной структуры текста вообще, а художественного — в особенности.

1.2. ТЕКСТ И КУЛЬТУРА

Культура и социум представляют собой среду, в которой функционирует текст, иначе говоря, систему более высокого порядка, вне которой невозможно говорить о содержательной цельности текста, его «самовозрастающем Логосе». Рассмотрение человека как связующего звена между языком и культурой, осознание их семиотического родства и позволило сформироваться интегральному подходу к тексту и языку в целом.

Рассмотрению текста как семиотической структуры, единицы культурного пространства посвящены работы М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Ю.С. Степанова, Р. Барта, Ю. Кристевой, Л.Н. Мурзина и многих других современных культурологов и филологов. Структура культурного пространства изоморфна устройству коры головного мозга человека. В.В. Иванов отмечал, что дуализм словесного и образного знаковых кодов не только «встроен» в организацию человеческого мозга, но и определяет межполушарное взаимодействие в условиях текстовой деятельности.

В самом общем виде культура определяется как устройство, вырабатывающее информацию, и подобно биосфере, перерабатывающей неживое в живое с помощью солнечной энергии,

культура, опираясь на ресурсы окружающего мира, превращает не-информацию в информацию (Ю.М. Лотман).

Не случайно исконно лингвистический термин «текст» в расширительном смысле стал использоваться по отношению к тексту культуры. Среди свойств, сближающих текст и культуру и характеризующих его как единицу культурного пространства, отмечаются: антропоцентричность, диалогический характер, деятельностная сущность, знаковость, символичность, функциональная общность, нормативность, категориальная общность [3: 141 – 142]. Культурологи утверждают, что одним из способов сохранения текста в культуре выступает повышение частотности его восприятия путем включения текста в ритуал. Прототипы, обнаружившие свою важность в ходе эволюции культуры, поддерживают ее идентичность, содержат структурную информацию, определяющую дальнейшее развитие. К числу эффективных информационных фильтров и относятся «процессы формулирования текста, ритуализации, образования жанров» [18: 54]. При этом средством избежать чрезмерной автоматизации становится взаимодействие с другими кодами (ср., например, перевод) и взаимодополнительное использование многих различных кодов (этим, в частности, можно объяснить успех некоторых рекламных текстов, объединяющих визуальный, аудиальный и вербальный коды).

С другой стороны, существуют попытки определения текста как наивысшей единицы языкового уровня, не только соотносимой с определенным типом и объемом передаваемой им информации [9], но и определяющей семантические категории других единиц, например, тип лексического значения слова [22, 24, 25, 26].

Известно, что попытки теоретического осмысления текста связываются с опорой как на грамматику текста, так и на общую его теорию.

Критика представлений о тексте как явлении сверхфразового синтаксиса, не отражающих всей сложности этого феномена, повлекла за собой отвержение любых попыток интерпретации текста как явления общей системности языка. Между тем признание различных способов существования языка (в системе, в ассоциативно-вербальной сети, в совокупности текстов) не исключает, как кажется, тесной связи различных его ипостасей.

Об отсутствии жестких границ между системным и коммуникативным подходами к тексту свидетельствует и параллельное наименование единицы коммуникации (предложение-высказывание). Все это позволяет говорить о правомерности выделения (в концептуальном плане) типа текстуально обусловленного значения слова на высшем уровне лингвистической абстракции, предполагаемом словом в словаре. С учетом общей системности языка текстуально обусловленный тип лексического значения вступает во взаимодействие с иными, и прежде всего с теми, которые выделяются на синтаксической основе.

В определении синтаксической обусловленности значения традиционно учитываются связи предложенческого уровня, однако Грамматика-80 включает в сферу синтаксиса и некоторые текстовые структуры (формы представления, формы названия, слова-предложения). С другой стороны, в словарях представлены и такие типологически значимые части текста, которые не имеют формальных синтаксических маркеров, тем не менее текст выступает как явление системно-языкового плана. Когда есть специализированные синтаксические средства, маркирующие сверхфразовые единицы (грамматика текста), можно говорить о широко понимаемом типе синтаксически обусловленного значения. Если же подобных средств не обнаруживается, а лексическое значение на уровне слова в словаре тем не менее не может быть идентифицировано вне указанной текстовой его перспективы, целесообразно выделить тип текстуально маркированного значения (в случаях оттековой иллюстрации слов).

Можно рассматривать текст как начальный этап языковой объективации знаний о предметах и явлениях действительности с последующей их синтаксической (предложение-высказывание, словосочетание) и лексической объективацией. Текучесть, незавершенность этого процесса и обнаруживает себя в типе текстуально обусловленного значения, охватывающего прежде всего периферийные явления в лексике. При этом текстовые грамматически нерелевантные признаки служат сигналом континуальности лексического значения, его ассоциативных связей, потенциальных семантических признаков. Включение же текстовых грамматически релевантных показателей обеспечивает дискретность лексического значения. Об отсутствии жестких границ между тем и другим свидетельствуют варианты иллюстраций (предложением-высказыва-

нием или текстовым фрагментом) для случаев, аналогичных тем, которые имеют в словаре только текстуальную экспликацию типа лексического значения. Так проявляется глубинная аналогия в семантическом строении имени (слова) и предложения (Ю.С. Степанов, В.С. Юрченко), а возможно, и текста (ср. понимание текста как ассоциативного поля слова).

Промежуточное положение словосочетания между единицей с первичной коммуникативной функцией (предложением) и единицей с первичной номинативной функцией (словом) объясняет выделение В.В. Виноградовым типа конструктивно обусловленного значения, отличающегося неполнотой своего раскрытия в формах самого слова.

А.В. Жуков, вводя понятие семантического пространства языковой единицы, настаивает на «четвертом измерении» лексики, текстовом, связанном не только с системными, но и с системоприобретенными свойствами единиц [7: 75]. Думается, что здесь статус понятия «текст» оказался не вполне определенным. О четвертом измерении семантики слова, следуя логике Д.Н. Шмелева, писавшего о третьем — эпидигматическом измерении лексики, можно говорить только по отношению к уровню системы языка, уровню слова в словаре. В этом случае и текстовые единицы, определяющие семантику слова, должны быть того же ранга, т.е. входить в систему языка, а не составлять среду для его единиц, т.е. систему более высокого порядка, входящую в пространство культуры. Типовой же текст, конвенциональный, определяющий значение лексической единицы, — это разновидность ее синтагматики, контекст в лингвистическом значении слова. Безусловно, в тексте и реализуются объективные свойства языковых единиц, и возникают изменения и новации, приращения смысла «как следствие актуализации семантических потенциалов слова» [7: 76], но это потенциалы, а не узус.

Безусловно, прав А.В. Жуков, когда говорит о значимости текстовых метаморфоз слова, коренным образом меняющих его облик. Некоторые слова с абстрактной семантикой, действительно, не раскрывают своего значения в рамках одного предложения-высказывания и требуют для идентификации целого текстового фрагмента и даже целого текста, выполняя тем самым текстообразующую функцию. Но значит ли это, что автоматически меняется языковой статус их семантики? Видимо, нет; во всяком

случае, до тех пор, пока тексты не станут прецедентными, валидными, востребованными и усвоенными культурой носителей языка, выявляющими те концептуальные признаки, которые до сих пор не ассоциировались в сознании говорящих с лексическим значением слова и стоящим за ним концептом. И эта «двойная валидность» как нельзя лучше подтверждается примером со словом «попрыгунья» (в текстах Крылова и Чехова, определивших изменения в концептосфере этноса, что не учтено составителями толковых словарей).

Таким образом, нуждается в дифференциации лингвистический и культурологический смысл термина «текст», обращенного к взаимодействующим, но все-таки различным видам систем и их пользователей. В когнитивной лингвистике исследователи ставят вопрос не только о семантике текста, но и о семантике дискурсов как межтекстовых объединений, за которыми стоят возможные миры со своим лексиконом и правилами словоупотребления. Однако проблематичной является возможность считать семантику дискурса элементом системно-структурного строения языка (ср., например, математический дискурс). Нужно вместе с тем признать, что многие элементы содержательной структуры слов прошли обработку разными видами дискурсивных практик и получили конвенциональное признание (например, номинации медицинского дискурса), что отражается системой стилистических и — шире — функциональных помет в нормативных толковых словарях.

Язык, являясь первичной моделирующей системой, средством осуществления человеческого мышления, становится необходимым условием развития и функционирования других компонентов культуры, средством хранения и передачи культурного знания: научного, философского, правового, художественного. Искусство выступает одним из срезов социальной среды, в которой бытует художественный текст, оно диктует свои нормы интерпретации, каноны текстопостроения в определенный период развития мировой и этнической культуры, свои композиционные образцы жанра, эталонные модели текста. Например, элементы постмодернистской практики отражают такие способы втягивания среды в художественную систему, как включение номинаций компьютерного и рекламного дискурсов, эпистолярных, дневниковых, мемуарных и других «вторичных» текстов, создание ми-

фокитча (В. Аксенов «Москва-ква-ква»), различных интер- и надтекстовых образований, соединение различных культурных кодов (например, в текстах Б. Акунина).

Приоритет языкового знания обуславливает своеобразный лингвоцентризм при осмыслении самых разнообразных явлений культуры в текстовой деятельности [22, 24]. Лингвоцентризм выступает как ведущее начало в организации лексической структуры не только поэтических [17], но и прозаических текстов И. Бродского, например, текстов сборника «Меньше единицы» [4]. В лингвистическом ключе здесь осмысляются такие темы, как судьба поэта, особенности национальной ментальности, историко-культурной среды: «Биография писателя — в покрое его языка... Судьба слова зависит от множества его контекстов, от частоты его употребления... Вообще по своему статусу оно (слово “еврей”. — *Н.С.*) близко к матерному слову или названию венерической болезни. Помню, что мне всегда было проще со словом “жид”: оно явно оскорбительно, а потому бессмысленно, не отягощено нюансами». Или: «Страна с изумительно гибким языком, способным передать тончайшие движения человеческой души, невероятной этической чувствительностью (благой результат ее в остальном трагической истории) обладала всеми задатками культурного, духовного рая, подлинного сосуда цивилизации. А стала адом серости с убогой материалистской догмой и жалкими потребительскими поползновениями».

В эссе «МУЗА ПЛАЧА», посвященном Анне Ахматовой, лингвистическая аргументация используется в описании и особенностей ее поэтического творчества, и судьбы и статуса поэта вообще, и трагизма жизни в определенных историко-культурных условиях. Ср: «Ей как будто только и оставалось знакомить, сводить воедино тех и то, что было уже связано самим языком и обстоятельствами ее существования, т.е. обручено, так сказать, самими небесами. Поэт есть прирожденный демократ не только из-за шаткости его социального статуса, но в силу также того, что он служит целой нации, пользуется ее языком. То же можно сказать и о трагедии, и отсюда их родство. Ахматовой, чьи стихи всегда тяготели к просторечию, к идиоматике фольклора, легче и естественней было отождествлять себя с народом, нежели тем, кто “в данный исторический момент” был занят литературным самоутверждением или достижением ка-

ких-либо иных целей: просто она узнала — в лицо и на слух — трагедию». В последнем высказывании содержится отсылка к излюбленным поэтессой дискурсам, жанрам традиционной народной культуры и иронически цитируется фрагмент коммунистического новояза, его претенциозные формулы.

Социокультурную интерпретацию получает использование Ахматовой личных местоимений: «“Мы”, которым она начала пользоваться в этот период времени в качестве самозащиты против всеобщей боли, причиняемой историей, расширялось до лингвистических пределов этого местоимения не ею, но массой тех, для кого русский язык был родным. Принимая во внимание качество будущего, этому “мы” суждена была долгая жизнь — как и авторитету, это “мы” употреблявшему... Благодаря их (я и мы. — *Н.С.*) постоянному совмещению, оба местоимения сильно приобретали в достоверности». Как и в других случаях, поэта здесь привлекают и прогностические возможности языка, и влияние среды на закрепление за словом тех или иных смыслов.

Лингвистическую интерпретацию в этом эссе получает концепты *любовь, искусство, музыка*: «Язык любви — универсальный язык. Его словарь вмещает в себя все другие языки, а высказывания на нем осчастливливают любой предмет, сколь бы неодушевленным он ни был. К тому же отмеченный данного языка вниманием предмет приобретает священное, заповедное почти значение, подтверждая как характер отношения к объектам наших страстей, так и истинность библейского указания на предмет того, что есть Бог. Любовь, в сущности, есть отношение бесконечного к конечному. Обратное ему порождает либо веру, либо поэзию». Поэт считает, что «именно тоска конечного по бесконечному и объясняет повторяемость любовной темы в ахматовских стихотворениях, а не конкретные перипетии», а общность искусства и эротики он усматривает в том, что и то и другое «являются сублимацией — одной и той же — творческой энергии»; «почти маниакальную настойчивость ранних любовных стихотворений» объясняет не столько повторяемость страсти, «сколько частота мольбы».

Ср. еще: «На протяжении жизни ВРЕМЯ обращается к человеку на разных, так сказать, языках: на языке невинности, любви, веры, опыта, истории, усталости, цинизма, вины, распада и т.д.». Условность лингвистического кода подчеркнута ав-

тором вводными словами; здесь слово «язык» используется в широком культурологическом смысле. Ритмическая организация стихотворения предстает как наложение целостности на линейную структуру стиха: «То, что называется музыкой стихотворения, есть, в сущности, процесс реорганизации Времени в лингвистически неизбежную запоминающуюся конструкцию, как бы наводящую Время на резкость. Звук, иными словами, является в стихотворении воплощением Времени — тем задником, на фоне которого содержание приобретает стереоскопический характер». Здесь просматриваются современные идеи фигуры и фона, точки зрения и фокуса внимания наблюдателя.

Тема творчества, судьбы поэта, времени и вечности получают лингвистическую интерпретацию и в других эссе сборника. Многие из высказываний поэта становятся формулами, афоризмами: «поэзия — единственное оружие для победы над языком его же, языка, средствами. Тени великих особенно видны в поэзии, поскольку слова их не так изменчивы, как те понятия, которые они выражают... Поэзия — одна из сторон души, выраженная языком... язык в конечном счете есть наилучший из доступных инструментов... человеческая душа вследствие ее синтезирующей природы бесконечно превосходит любой язык, которым нам приходится пользоваться». Отмечается и такая особенность поэзии, как ее самоадресация: «В поэзии собеседник почти всегда отсутствует». Автор использует природные гештальты для иллюстрации этой мысли: «В каком-то смысле поэт действительно подобен птице, чирикающей независимо от того, на какую ветку она села, — в надежде, что слушатели найдутся, пусть это всего-навсего листья». Так здесь выглядит мечта об идеальном читателе.

Поэзия рассматривается автором как «акт культурной самозащиты», как «самозащита лингвистическая», как «высшее достижение языка», а «поэт есть тот, кто подчиняет себе язык». Поэт «дает нам ощущение бесконечности, воплощенной в языке». И. Бродский называет два варианта бесконечности в стихах: язык и океан с общим родителем стихий — временем. При этом в поэтическом творчестве приоритет всегда отдается языку: «Именно язык диктует стихотворение, и то, что в просторечии именуется Музой, или вдохновением, есть на самом деле диктат языка»; «Многосложный характер словаря (в среднем

русское слово состоит из 3—4 слогов) вскрывает первичную, стихийную природу явлений, отражаемых словом полнее, чем каким бы то ни было рассуждением».

Этот лингвоцентризм занят и в оценке творчества Достоевского, ставшего великим писателем «благодаря инструменту, или, точнее говоря, физическому составу материала, которым он пользовался, т.е. благодаря русскому языку». Более того, «его отступления часто продиктованы самим языком, а не требованиями сюжета... источник потока сознания — вовсе не в сознании, а в слове, которое трансформирует сознание и меняет его русло... он не был жертвой языка, но интерес к человеческой душе выходит за рамки русского православия». Стремление к точности поэт уподобляет стремлению к истине: «Внешне сильно напоминающее стремление к истине стремление к точности по своей природе лингвистично, т.е. коренится в языке, берет начало в слове». Приведенный выше анализ призван подчеркнуть обоснованность принципа лингвоцентризма при построении текста, обращенного к самым различным проявлениям культуры, что связано с обыденным знанием, многовековым опытом народа, сохраненным языком как основой любого другого знания, транслируемого культурой. Само собой разумеется, что поэт имеет в виду не только нормированный, кодифицированный литературный язык, не только его наличную действительность, но и потенциально возможную, обретающую жизнь в создаваемых воображением писателя «возможных мирах».

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Березина Н.В.* Хронотоп ранней прозы М. Булгакова: лексический аспект. Автореф. ... канд. филол. наук. — СПб., 2007.
2. *Беспалова О.Е.* Концептосфера поэзии Н.С. Гумилева в ее лексическом представлении. Автореф. ... канд. филол. наук. — СПб., 2002.
3. *Болотнова Н.С.* Филологический анализ текста. — Томск, 2006.
4. *Бродский И.* Меньше единицы. Избранные эссе. — М., 1999.
5. *Гальперин И.Р.* Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981.
6. *Дридзе Т.Н.* Язык и социальная психология. — М., 1980.

7. Жуков А.В. О «четвертом измерении» лексики // Слово. Словарь. Словесность. Из прошлого в будущее. — СПб., 2006.
8. Залогина Е.М. Языковая личность: лингвистический и психологический аспекты (на материале романа «Бесы» и «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского). Автореф. ... канд. филол. наук. — СПб., 2004.
9. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. — М., 1990.
10. «Ковчег жизни» на стапелях эволюции (с биологом Вадимом Репиным беседует Михаил Бутов) // Новый мир. 2000. № 12.
11. Король Л.И. Художественный образ в индивидуально-авторской картине мира // Слово. Словарь. Словесность: из прошлого в будущее. — СПб., 2006.
12. Кубрякова Е.С. Язык и знание. — М., 2004.
13. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки. — СПб., 2004.
14. Маршина М.В. Лексическая экспликация концептуальной системы Ф.И. Тютчева. Автореф. ... канд. филол. наук. — СПб., 2004.
15. Миллер Л.В. Художественный концепт как смысловая и эстетическая категория // Мир русского слова, 2000, № 4.
16. Ольховик Н.Г. Общение с поэтическим текстом на уроках русского языка в 10—11 классах. Автореф. ... канд. пед. наук. — СПб., 2007.
17. Орлова О.В. Концепт «язык» в поэтических текстах И. Бродского / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — Томск, 2003.
18. Познер Р. Что такое культура? К семиотической экспликации основных понятий антропологии // Критика и семиотика. — Новосибирск, 2004. Вып. 7.
19. Прокофьева В.Ю. Русский поэтический локус в его лексическом представлении (на материале поэзии «серебряного века»). Автореф. ... докт. филол. наук. — СПб., 2004.
20. Ревзина О.Г. Три этапа анализа поэтического текста // Художественный текст: проблемы изучения. Тезисы выступлений на совещании. — М., 1990.
21. Степанова В.В. Слово в тексте: Из лекций по функциональной лексикологии. — СПб., 2006.
22. Сулименко Н.Е. Еще раз о текстуальной обусловленности значения // Герценовские чтения к 200-летию РГПУ им. А.И. Герцена. — СПб., 1997.

23. Сулименко Н.Е. Лексическая экспликация внутри- и внетекстового адресата // Говорящий и слушающий: языковая личность, текст, проблемы обучения. — СПб., 2001.
24. Сулименко Н.Е. Слово в контексте гуманитарного знания. — СПб., 2002.
25. Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии. — М., 2006.
26. Сулименко Н.Е. Типы лексических значений глагола в аспекте лексико-синтаксической координации // Проблемы лексико-синтаксической координации. — Л., 1985.
27. Фещенко О.А. Концепт ДОМ в художественной картине мира М.И. Цветаевой (на материале прозаических текстов). Автореф. ... канд. филол. наук. — Новосибирск, 2005.
28. Чурилина Л.Н. Лексическая структура художественного текста: принципы антропоцентрического исследования. — СПб., 2002.
29. Щукина Д.А. Пространство как лингвокогнитивная категория (на материале произведений разных жанров М. Булгакова) / Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. — СПб., 2003.
30. Якобсон Р.О. Избранные работы. — М., 1985.

1.2.1. Семиотические аспекты лексической структуры текста

Знаковый, семиотический характер языковых единиц и культурных символов, кодов (культура рассматривается в семиотике как единое целое) вводит лексическую структуру текста в широкое пространство культуры, связывающее собственно лингвистическую и энциклопедическую информацию.

Слово как элемент культуры, ее артефакт, предстает единицей сквозной интертекстуальности, а интертекстуальные знаки маркируют знания для индивидуума, для социума, для культуры в целом, определяя и предполагая определенный уровень лингвокультурологической компетенции носителей языка. Перспективы лингвистики XXI века связываются с построением целостной теории языка. К числу «валидных, т.е. ценностных для социума» высказываний относят пушкинские тексты, формирующие национальное мировосприятие: «Мороз и солнце: день

чудесный!.. Я вас любил: любовь еще, быть может... Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» и др.; а «пафос Соссюра» признается ложным, ибо «природа языка коренится в человеческом теле, в его органах речи, в его разуме» и «в *человеческую* (курсив автора. — Н.С.) систему языка вработаны социальность и когнитивность» [5: 13, 19, 20].

Эта информационная насыщенность слова и лексической структуры текста — следствие обработки его единиц разными типами дискурсов и отраженных в них функциональных стилей, а следовательно, разными типами мышления, знания, наборами значений и смыслов, связанных с различными ситуациями деятельности и коммуникации. «Языковые интертексты» рассматриваются как элемент культурного интертекста знания [4].

Лингвокультурологическая направленность слова может быть связана с одной из трактовок его значения как функции предложения [1: 23], а следовательно, и с пониманием интертекстуальных его связей в разных типах дискурса, проецируемых, в частности, в явление многозначности (системной и текстовой). Указания на глубокую аналогию между семантическим строением отдельного слова и семантическим строением предложения и словосочетания (Ю.С. Степанов, В.С. Юрченко) как знаковых единиц проливают свет на те аспекты семиотической обусловленности слова, которые оставались в тени вне этого сопоставления. Ср. примеры последовательной свертки в слове значений предложения и словосочетания как единиц интертекстуальности, основанных на повторе, воспроизведении, в концепции В.С. Юрченко: ночь темна — темная ночь — темная [7: 54].

На этом фоне не выглядит столь уж одиозной мысль Б.М. Гаспарова о практическом освоении языка детьми с помощью операций с текстовыми фрагментами [3], что согласуется с мнением М. Фуко по поводу филогенеза: «Язык в инстанции своего появления и способа быть — это высказывание» [6: 108].

Понимание текста и его лексической структуры как диалога автора не только с читателем, но и со всем культурным пространством связано с именем М. Бахтина, его принципом диалогичности. Способность текста и элементов его структуры конденсировать информацию и продуцировать новую («самовозрастающий логос» Гераклита) обусловлена привлечением сложных и разноплановых ассоциаций с текстами других авторов, пусть даже

анонимных, и своими собственными, включающих отсылки и к их жанровым особенностям.

Взаимодействие текста с интертекстом культуры осуществляется через механизм интерпретации, позволяющий получить не сумму уже известных смыслов, а их перекодировку, сплав, новые смыслы. Это взаимодействие, предполагая определенный уровень лингвокультурологической компетенции адресата, его знание культурных кодов, «вертикального» контекста, активизирует сотворчество, вовлекая в решение заданных текстом познавательных задач. Так, синергетические идеи о нормализующем, упорядочивающем влиянии на психику человека эстетических качеств художественного текста, проникновение в факты биографии, психологии и литературного творчества поэта позволили другому автору создать своеобразную концепцию нормы-гармонии, выстроив оригинальное интерпретационное поле данного концепта в лексической структуре текста и вынеся в его заглавие одну из пушкинских строк: А. Битов «В лужицах была буря...»

«Не знаю, как исследователи подбираются к *одновременности написания* «Медного всадника» и «Пиковой дамы». *Обобщает* их не только *дата написания*, но и *безумие героев, тема или опыт* (концепт безумия интерпретируется в терминах номинации факторов текстообразования, литературного творчества. — Н.С.). Если Петр это *тема*, то *безумие* если и не *опыт*, то *грань любви и веры*. Не *плод воображения* (лексические номинации пограничного состояния сознания, психологического кризиса. — Н.С.). Пушкин всегда предпочел бы *гибель безумию*. Он был НОРМАЛЬНЫЙ (авторское выделение. — Н.С.) человек. *Безумие* Петра и Петербурга, власти и стихии, государства и личности, России и истории, поражения и победы, проигрыша и выигрыша, безверия и веры (текстовые попарные сближения и противопоставления отсылают к «вертикальному» контексту русской истории, культуры, особенностям ментальности. — Н.С.) НОРМАЛИЗОВАНО (авторское выделение. — Н.С.) его *текстом*» [2: 226].

«Слово», написанное с заглавной буквы, с которого начало все быть, — это не просто языковая единица, а и стоящая за ней мысль, «Логос», опыт, знания, культурная память, фиксируемая и сохраняемая Словом. Оно соединит верх и низ, наличную реальность и возможные миры, создаваемые с его помощью человеком, физическую и духовную ипостаси человека.

Антропный принцип, ведущий в современной науке (особенно в ее гуманитарной сфере), сделал лингвистику частью общей науки о человеке. Слово обращено ко всем видам целенаправленной деятельности человека, начиная с детского возраста. Оно проходит обработку разными типами дискурсов, обслуживающих те или иные виды человеческой деятельности, те или иные потребности человека, его интересы и области знания. Как знаковая единица Слово включается в открытое пространство культуры, в интертекстуальные связи и рождает новые смыслы. Интегральный подход к Слову позволяет осмыслить эти новации, особенно четко выступающие в лексической структуре образцовых текстов, хотя и тексты текущей культуры представляют безусловный интерес, показывая эволюцию современной языковой личности, активно протекающие в языке процессы. Внимание к возможностям концептуализации мира, выявляемым на уровне лексической структуры текста, к лингвокультурным потенциалам слова является приоритетным при общем интегральном к нему подходе.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. — М., 1976.
2. Битов А. «В лужицах была буря...» // Звезда. 2002. № 2.
3. Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. — М., 1996.
4. Гаспаров М.М. Избранные труды: В 2 т. — М., 1997.
5. Ревзина О.Г. Лингвистика XXI века: на путях к целостности теории языка // Критика и семиотика. — Новосибирск, 2004. Вып. 7.
6. Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996.
7. Юрченко В.С. Предложение и слово (проблемы их соотношения) // Филологические науки. 1996. № 2.

1.2.2. Слово в пространстве культуры и явление интертекстуальности

Проблема интерпретационного характера языкового знака (слова) приобрела особую актуальность при осознании челове-

ка, языковой личности в качестве основного предмета лингвистики.

Познавательные модели в разных видах знания, включая и лингвистическое, связываются с реализацией гуманистического идеала как ведущего в современной философии. Антропный принцип соединил проблемы языка с проблематикой культурологии, поскольку язык как составляющая культуры служит средством познания человека, социума, этноса, выступая приоритетным началом в формировании, обработке, хранении и трансляции любого вида знания, включая лингвистическое, научное и художественно-эстетическое.

Таким образом, в основе своей знание о мире и человеке в мире предстает как культурное знание, объективируемое языком (см., например: [6]).

Связь языка (слова) с семиотическим пространством культуры объясняется его знаковым характером и включенностью по этому признаку в другие системы знаков (иконических, символических и др.), в открытое пространство культуры. Культура в самом общем виде определяется как совокупность разных видов человеческой деятельности (включая лингвистическую) и как система артефактов разного рода, символов, культурных кодов. Опосредующее звено в указанной взаимосвязи — язык мысли и всей субъективной сферы человека (образов, эмоций, воли и т.д.), язык социальных, коммуникативных, эстетических предначертаний и стратегий, этнокультурной ментальности, понимаемой как совокупность обычаев и приемов осмысления мира, не замыкающихся только на сфере сознания (Ю.Н. Караулов, Р.Г. Пиотровский, Э.В. Ильенков и др.).

В исследовании Э.В. Ильенкова «ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА» глубинная информация, глубинные структуры не сводятся только к тому, что выявляется в межъязыковых сопоставлениях и синонимических преобразованиях в рамках одного языка, а включает в себя и сенсомоторные схемы, формы мышления, «структуры деятельности человека, осуществляющейся до, вне и независимо от их выражения в каком бы то ни было особенном языке, в языке вообще» [2: 272]. Мышление схематически определяется автором как способность управлять своим собственным телом... не упираясь в неодолимую для него преграду, сопротивление “других тел”, их геометрических, физи-

ческих, а потом и всяких иных (вплоть до семантических и нравственных) параметров» [2: 273].

Эта мысль переключается с идеями современных когнитивистов о «телесной метафоре» как базовой в процессах концептуализации мира.

Р.Г. Пиотровский, указывая на неоднородность структуры сознания, предлагает его трехзвенную схему, включающую «имплицитно-аморфное ПОДСОЗНАНИЕ, представляющее собой множество неосознаваемых, с трудом вербализуемых и коммуницируемых процессов; эти процессы не принимают участия в логико-смысловой деятельности сознания; эксплицитно-языковое базовое СОЗНАНИЕ, т.е. совокупность тех психических процессов сознания, которые активно участвуют в осмыслении человеком внешнего мира и своего собственного бытия; эти процессы вербализуемы и коммуницируемы; СВЕРХСОЗНАНИЕ, объединяющее те не всегда вербализуемые, коммуницируемые и контролируемые базовым сознанием психические процессы, которые определяют творчество человека» [5: 28]. Как видим, все эти ипостаси психической деятельности человека в разной степени, но имеют выход на вербально-коммуникативный уровень, а следовательно, могут служить промежуточным звеном в связях языка и культуры.

Знаковая, символическая и деятельностная основа культуры (распредмечивание ее артефактов в процессе формирования человеческих способностей как родовых сущностных свойств творца) оправдывают ее обозначение с помощью лингвистической метафоры «текст», сводя воедино разные области творческой активности человека («текстовой» в культурологическом смысле слова деятельности). Эта общая знаково (семиотически)-деятельностная природа объясняет возможность рассмотрения уровня культуры как «наивысшего уровня языка, обеспечивающего наивысшую степень его свободы» [4: 127–133], проявляемую в художественном тексте как пространстве культурно-языковом в максимальной степени.

Открытым остается вопрос о соотношении культурного и гуманитарного знания (и деятельности) в их преломлении языком. Так, Ю.В. Казарин касается его при рассмотрении особенностей поэтического текста как «явления духовного характера, как высшего проявления **культурной** (интеллектуальной, эмо-

циональной, психологической, **гуманитарной** и т.п.) деятельности человека наряду с другими родами и видами искусства, науки, техники и философии» [3: 109]. Правомерность включения гуманитарной деятельности в культурную на правах части по отношению к целому не кажется бесспорной, если иметь в виду гуманитарную сущность любого (в том числе и технического) знания (т.е. знания о человеке и для человека). Эти понятия скорее находятся не в отношениях включения, а в отношениях пересечения, взаимодополнения.

Проявлением единства культурного пространства (этноса и межкультурной коммуникации) выступают интертекстуальные смысловые связи слов, обеспечивающие понимание содержательной стороны и отдельного текста, его лексической организации. Пристальное внимание к проблеме интертекстуальности в своих истоках связано с положениями герменевтики о толковании, понимании текста как способе его духовного освоения и присвоения читателем, с теорией «чужого» слова, диалогичности речи М.М. Бахтина, указывающего на такое условие понимания данного текста, как необходимость соотнесения его с другими текстами. В истоках проблемы интертекстуальности — и понятие дискурса как совокупности текстов, увязанных в смысловом, тематическом или каком-либо ином отношении. В развитии проблематики интертекстуальности оказались значимыми работы современных отечественных исследователей (идеи Ю.М. Лотмана о семантическом универсуме культуры, «текста в тексте», понимание текста как сложного семиотического образования; исследование по психолингвистике; стилистике декодирования И.В. Арнольд, а также лингвистические исследования Н.А. Фатеевой, К.П. Сидоренко, Н.В. Черемисиной и мн. др.).

В зарубежной филологии единство культурного пространства утверждается в трудах Ю. Кристевой, рассматривающей интертекстуальность как способ прочтения текстом истории; Р. Барта, провозгласившего «смерть автора» и понимание текста как «новой ткани, сотканной из старых цитат». Интертекстуальность рассматривается и в контексте постмодернизма, широкое распространение получили идеи деконструкции постструктуралистов (Ж. Деррида).

Элементы постмодернистской практики показывают пути и способы вхождения лингвистических текстов в систему более

высокого порядка — в культуру. Утверждая эстетический плюрализм, разнообразие миров как природных, материальных, так и созданных человеческим духом (идей, теорий, мифов, легенд, сюжетов, мотивов, образов, персонажей), «постмодернистский автор не отвергает реальность и опыт предшественников, обращается и к элитному, и к демократическому читателю... устанавливает новые связи между вещами, соединяет различные языки, модели и способы мышления... свободно фильтрует и структуры исторической жизни, и слои человеческой культуры» [7: 71]. Достаточно привести в качестве примера тексты произведений В. Пелевина, Б. Акунина и других писателей.

С отмеченными свойствами постмодернистского текста связана и его интертекстуальность как новый принцип с ее игровой ориентацией, установкой на иронию, подтекст, аллюзии, намеки, случайность, отражение хаотичности бытия, признание альтернативных миров. Здесь утверждается отсутствие первосмысла в тексте, ориентация на эстетику дисгармонии, творящей новую реальность, лабиринт и тупик становятся метафорой всей человеческой цивилизации. Включение элементов коллективного бессознательного (К. Юнг), субъективных моментов при восприятии текста, понимание диалога исследователя с текстом как его разрушения (деконструкции) и интерпретации приводят к утверждению об ошибочности любого прочтения текста. У. Эко использует понятие интерпретанты, определяя его как то, «благодаря чему знак значит даже в отсутствии интерпретатора» [8: 53].

В итоге история в культурном пространстве XX века предстает как история прочтения текста, интерпретирующее начало утверждает первичность текста по отношению к реальности, т.е. неомифологизм со всеми его атрибутами, включая и новый хропотоп. С возникновением явления виртуальной реальности, осознанием роли наблюдателя в процессах познания оказались размыты границы между реальным и ирреальным, интертекстуальность расширилась до масштабов гипертекста, замыкающего культурное пространство XX века. Все это имеет прямое отношение к возможностям и путям анализа слова как элемента культурного пространства и определяет необходимость совмещения различных методов исследования лексических единиц в тексте.

К «надтекстовым элементам», важным для лексического анализа текста, относят: эпиграфы, интертекст, общекультур-

ный и «исторический» контекст, комментарии, примечания «переводчика», редакторские комментарии и т.д. [1].

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Захарова М.* Языковая игра как факт современного этапа развития русского литературного языка // Знамя. 2006. № 5.
2. *Ильенков Э.В.* Философия и культура. — М., 1991.
3. *Казарин Ю.В.* Проблемы фоносемантики поэтического текста. — Екатеринбург, 2000.
4. *Мурзин Л.Н.* О степенях свободы языка // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Памяти Э.В. Кузнецовой. — Екатеринбург, 1997.
5. *Пиотровский Р.Г.* Лингвистический автомат. — СПб., 1999.
6. *Сулименко Н.Е.* Слово в контексте гуманитарного знания. — СПб., 2002.
7. *Фролов Г.А.* Роман постмодернизма в Германии // Филологические науки. 1999. № 1.
8. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — М., 1998.

1.2.3. Интерпретация текста и его лексическая структура

В соответствии с принципом антропности текст как культурное явление существует только при условии его интерпретации человеком, и проблема интерпретации предстает как проблема вхождения текста в культуру: он жив при условии текстовой, интерпретационной деятельности автора и адресата как участников внутри- и межкультурной коммуникации. В последнем случае жизнь приобретают даже те текстовые фрагменты, которые в свое время не вошли в состав валидных, прецедентных текстов и обрели культурную значимость в инокультурной среде в иное время, оказавшись успешно переведенными на русский язык. Сказанное относится, например, к переводу Г. Ноткиным фрагментов книги Ф. Ницше «СВЯТОЙ СМЕХ ЗАРАТУСТ-

Ры» (ср. подзаголовок перевода: «Из невошедшего в книгу») [4]. Предисловие переводчика содержит комментарий, оправдывающий обращение к теме исходного текста: «Кое-что — в силу исторических судеб и небесплодных усилий пропаганды — может вызвать отторжение. Тот же “сверхчеловек”, представитель “расы господ”. Это что — “белокурая бестия” со свастикой? Или отечественный новодел — доморощенный ариец с “солнцеворотом”? Нет. По Ницше, подобный тип — как раз стадное животное, “разросшийся внутренний скот”».

Здесь важно не только указание на изменение среды как побуждающего начала интерпретационной деятельности, но и отсылка к авторским номинациям, требующим комментария переводчика в свете инокультурных представлений русскоязычного читателя: «А самое простое определение *сверхчеловека* дал Мераб Мамардашвили: это собственно человек. Но что же тогда мы — в нефилософской речи — называем “человеком”? Что такое “человек”? Если задается такой вопрос, это значит, что пришла пора читать и перечитывать Ницше, в частности — “Заратустру”». Любопытно, что переводчик в систему аргументов, реабилитирующих одиозную для советской науки личность, включает не только необходимость интерпретации и реинтерпретации культурного концепта «человек», но и обращение к тексту эссе «Драма Заратустры» крупнейшего герменевтика XX века — Гадамера [2].

Как видим, вступительная заметка, предисловие как элемент композиционной структуры текста обуславливает сопряжение в нем комментария к исходному тексту, семантизацию авторских номинаций и интерпретацию ключевых слов исходного текста переводчиком, привнесение в переводной текст собственных творческих интенций, поддержанных результатами научного, философского моделирования, интерпретацией как метаязыковой и лингвокультурологической деятельностью.

Интерпретация — явление в основе своей когнитивное, связанное с *переработкой* поступающей исходной информации в контексте знаний, опыта, ценностей интерпретатора, его картины мира; успешность интерпретации зависит от языковой, культурной, коммуникативной, когнитивной компетентности при переложении и переводе текста. Вообще говоря, интерпретатором может быть и усредненная языковая личность, владеющая язы-

ком, единицы которого всегда содержат в своей семантике интерпретативный компонент (А.В. Бондарко). Он зависит и от структуры стоящего за словом концепта, и от идиоматичности каждого слова, порождаемой взаимодействием структуры его лексических значений со средой. Первое отчетливо обнаруживается в механизмах редукции и избирательности концептуальных признаков, представленных в лексическом значении; второе — в ограничении типовых ситуаций употребления слова в том или ином его значении, в информации о типах дискурсивных практик, ролевом факторе говорящего и адресата, которую оно несет.

В этом смысле термины «интерпретация» и «интерпретационное поле концепта» (З.Д. Попова и И.А. Стернин) оказываются не вполне соотносительными, поскольку интерпретационный характер присущ не только периферии концепта, но и тем ядерным и околюдерным его элементам, которые получают лексическую экспликацию в **человеческом** языке этноса. Именно лингвистический статус культурных концептов и позволяет описывать их в терминах языковой картины мира и обнаруживает своеобразный лингвоцентризм при интерпретации самых разнообразных жизненных явлений в прозе и поэзии. Ср. в тексте перевода: «...Хотел бы я знать, понял ли хоть кто-нибудь эту книгу... ее понимание предполагает такую — **филологическую** — и **более чем филологическую** — работу, которой сегодня за недостатком времени никто заниматься не станет». Ф. Ницше эксплицитно связывает интерпретацию текста с возможностью его понимания: «Я дал **людям** самую **глубокую** книгу, какая у них есть, “Заратустру” — книгу, которая так сильно отличается от прочих, что тот, кто может сказать: “я **понял** оттуда шесть фраз, т.е. *пережил* (курсив переводчика. — Н.С.) их”, — тот принадлежит **к некоему высшему рангу людей**...»

Важно, что понимание и переживание не противопоставляются друг другу, а отражают всю сферу человеческой субъективности с ранжированием людей по уровню ее развития. Экспликатором такой интерпретации человеческих типов выступает необычная сочетаемость «ранг людей». Научное моделирование, будучи вторичным по отношению к «наивной философии» носителей языка, предполагает в настоящем учет интегральных концепций языка и текста: они настаивают на единстве лингвистической и энциклопедической информации, на необходимости привлече-

ния в анализе междисциплинарных связей, на внимании не только к процессам семантической дифференциации, но и к интегральному, целостному описанию языковых явлений. Таким образом, в характеристике интерпретатора обязательно должна учитываться та научная парадигма, в которой он работает.

У. Эко трансформировал идею бесконечной интерпретации в утверждение «эстетики Хаосмоса», где хаос и порядок обладают равноправным существованием. Мысль о взаимодействии смыслов, запрограммированных автором, и тех, о которых он не подозревал, поддерживается современной синергетикой, для которой при организации сложных, нелинейных, открытых систем порядок неотделим от хаоса. Таким образом, эстетическая категория идеала, прекрасного, гармонии становится всеохватывающей и характеризует основы мироустройства. Любопытно, что многие синергетические идеи не только пронизывают лексическую структуру анализируемого текста, но по существу служат постулатами для построения его концепции. Интерпретативные стратегии заложены в самом тексте, в частности, они прогнозируются теми лексическими вехами, опорами, которые расставляет автор для ориентации читателя в своем ментальном пространстве.

К числу таких вех относятся номинации ключевых синергетических концептов: «Дать каждому свое значило бы, желая **справедливости**, добиться **хаоса**». Хаос в текстовом варьировании семантики этого слова предстает как несправедливость, его текстовым антонимом служит слово **милосердие**, отсылающее к концепту «порядок»: «что значило бы проявлять **милосердие**, если бы это не значило взять *на себя* (курсив в тексте. — Н.С.) **несправедливость**». Другие текстовые номинации базовых синергетических концептов — *прекрасное*, *счастье* и его производные, *красота*, *гармония*, *совершенство*, *идеал*, *закон* и др.: «Если **прекрасное** не является вашей насущной необходимостью, то что мне ваше пристрастие к **прекрасному!**»; «Для героя труднейшая вещь на свете — **прекрасное**: именно для героя **прекрасное** непобедимо и недостижимо»; «Чтобы познание когда-нибудь выучилось покойно улыбаться и не ревновать к **красоте**»; «...и привести мир к **гармонии**, к **примирению** и к **познанию**; человеческая душа в нем — величайшее произведение *искусства* (текстовый курсив. — Н.С.) ...мир не *ищет* спасения,

но *находит* его» (текстовый курсив. — Н.С.); «**Совершенство** отбрасывает тень вперед, **красотой** (курсив в тексте. — Н.С.) называю я эту тень...»; «он (закон. — Н.С.) должен быть исполним и из его исполнения должны вырастать некий более высокий **идеал и закон!**»; «Кто из нас двоих **счастливейший?** Тот, кому больше не удалось его **несчастье**»; «Кое-кто устает уже от себя самого, — и вот только тогда начинается его **счастье**».

Автор видит не только разрушительную, но и творящую роль хаоса, и эта синергетическая идея постоянно эксплицируется в лексической структуре переводного текста: «...но правда должна **разрушать** мир, чтобы мир **выстроился**»; «Я еще не видел **гибели**, которая бы не была **рождением и зачатием**»; «Даже то, чего мы не делаем, вплетается в ткань всего будущего, — даже само **Ничто** — мастер этого цеха ткачей». Обозначение концепта «хаос» с помощью отрицательного местоимения поддерживается метафорической моделью ткачества и антропоморфными номинациями «творца» всего — хаоса, препятствующего созданию насильственного порядка и тем способствующего гармонии будущего (в синергетике это названо «позитивной позицией недеяния»).

Тенденции изменения системы на ее пути к будущему состоянию таятся не в прошлом, они скрыты в настоящем: «**в разгар осени вашей** я предсказываю вам *зиму* и *ледяную бедность*». Нестандартное сочетание последних двух слов и природная метафорическая модель выводит на неожиданную и очень точную экспликацию концептуальных признаков бедности (ср. языковую опору для текстового смысла: «холодные и голодные»). Вместе с тем, лексические вехи, расставляемые в тексте, указывают и на отрицание насильственного, навязываемого системе порядка, не вытекающего из особенностей ее самоорганизации: «**Господствовать? Навязывать** мой тип другим? **Омерзительно!** Разве счастье мое не в том именно, чтобы созерцать многих *иных?*.. (текстовый курсив. — Н.С.)».

Насильственный порядок преодолевается смехом, игрой, абсурдом: «Убегайте с дороги таких безоговорочных! Это род тщедушный и род недужный, это плебейский род: на эту жизнь они смотрят косо, у них **сердца и ноги тяжелые**». Или: «...Заратустра заходит так далеко, что свидетельствует о себе: “я и поверить смог бы только в **веселого бога, умеющего танце-**

вать»; «Я хочу тебя научить **танцевать танцы экстаза**, ибо ты стал самым меланхоличным из всех людей. Это **тяжеломыслие** я хочу **излечить безумием**». Синергетическая идея блуждания системы по полю возможностей, многовариантности путей эволюции перед выходом на единственный аттрактор своего дальнейшего развития просматривается в метафорическом построении следующего текстового фрагмента: «Прошлое — писание с сотней смыслов и толкований и — воистину! — путь *ко многим* (текстовый курсив. — *Н.С.*) **вариациям** будущего! Но тот, кто придает будущему один смысл, определяет и одно толкование прошлого». Здесь явный протест против жесткого детерминизма и указание на вероятностный характер бытия сложных открытых неравновесных систем, какими выступает человечество и его история.

Усложнение системы на верхних уровнях эволюции достигается снижением дифференциации на нижних уровнях. Ср.: «Заратустра счастлив тем, что борьба **сословий** в *прошлом* (текстовый курсив. — *Н.С.*) — и теперь, наконец, пришло время для таблицы о рангах **индивидуумов**», при этом «**Табель о человеческих рангах** — степени воспитания человека». Таким образом, интертекстуальное включение приобретает в текстовой интерпретации другое содержательное наполнение, переосмысляясь в соответствии с авторскими интенциями. Метафорически или с помощью иноязычных вкраплений выражается в текстах эссе также идея самоподобных, фрактальных структур и малых резонансных воздействий, имеющих большие следствия: «В моих работах — включая и “Заратустру” — вновь узнаются очень серьезные притязания на римский стиль, на “*magnum in parvo*”... (великое в малом (лат.). — *примеч. редактора*)»; «Множеством маленьких **порошков** можно мужественного **долечить** до труса, но и труса — до мужественного».

Вообще не только медицинские гештальты, но и многие другие придают особую смысловую емкость, целостность, свободу ассоциирования авторским интерпретациям, не назначая пределов понимания адресата: «Я люблю **шипенье** дурной молвы — так **кораблю** приятны **возмущенные всплески волн, рассекаемых его килем. Возмущенье, вскипающее** вокруг меня, облегчает мое **продвижение**». Активную роль в лексическом структурировании этого высказывания выполняет речевая многозначность

входящих в него лексем. Ср. еще: «Но как я **пробудился** от вас и **пришел в себя**, так и вас я призываю **пробудиться** от вас самих. Почему бы и вам, братья мои, не “**прийти в меня**” — не “**в себя**”?». Здесь наряду с лексической многозначностью основы для интерпретации текстового смысла создают фразеологизмы в их системно-языковом и трансформированном виде (последнее графически маркировано постановкой кавычек).

Художественный текст как вторичная моделирующая система по отношению к языковой выводит на уникальную позицию автора, его хронотоп, проявляемые во всех элементах композиции художественного текста, включая уровень лексического структурирования; в его креативной природе, обусловленной, в частности, такой ментальной способностью человека-творца, как воображение, требующей встречной активности адресата.

В концепции В.В. Колесова наряду с образом отмечаются и такие содержательные формы концепта, как понятие и символ [3]. Последний связывает текст с пространством культуры через интерпретацию. Ср. сходные мысли в тексте перевода: «— **разговаривать образами, танцами, звуками и молчанием** (см. [5]. — *Н.С.*), для чего бы и был весь этот мир, если бы весь он не был **знаком и символом!**.. — ты этого не знаешь? — В каждом действии, которое ты совершаешь, повторяется в сокращении вся последовательность прошедшего». Так в популярной форме излагается актуальная сейчас мысль о культуре не только как о совокупности артефактов и культурных кодов, но и как о способе наследования механизмов, алгоритмов деятельности человека.

Один из видов интерпретации — самооценка, рефлексия по поводу результатов собственной деятельности. Она предстает и в виде афоризмов, передающих те или иные пропозиции, и в образно-схематическом, гештальтном виде с привлечением антропоморфной метафорической модели: «Всякое деяние требует **истолкования, подмигивая всем отгадывающим**. Я дал **толкователям** новые способы и **слова**, чтобы они могли лучше **читать человеческой погоды приметы**». Или: «Я **провидец**, но за моим видением непреклонно следует совесть, так что я в то же время — **толкователь** моих видений». Творчество, согласно мысли автора, предполагает необходимость смены культурных кодов, и языки культуры как проявление духовной деятельности рисуются в тексте с помощью бытовой метафоры: «Чего, собственно, ищут

все **творящие? Новые языки** они ищут; они всегда устают говорить старыми языками: **дух** уже не хочет приходить к ним в этих **слишком уж стертых, стоптанных башмаках**».

При интегральном подходе, объединяющем семантику и прагматику, вряд ли оправдано разделение уровней структуры художественного текста на информационный и прагматический. «Образ автора», как и вся замыкающаяся на нем образная система художественного текста, тоже имеет информационное, когнитивное основание и потому, что образ — это одна из содержательных форм концепта, и потому, что в образной форме, в системе образов разного уровня абстракции преломляется авторский текстовый концепт, понимаемый как концепция художественного текста. Ассоциативно-образный характер связан и с включенностью текста в общее пространство культуры как в среду своего бытования, обеспечивающее приток информации, вещества и энергии в лексическом структурировании текста.

Сказанное относится прежде всего к образной его структуре как информационно-прагматической в обычном ее истолковании: приток энергии из среды, обеспечивающий относительную стабильность сложных неравновесных систем, объясняет значимость авторских интенций для формирования общего текстового концепта, понимаемого как концепция. Синкретичный, целостный характер образа создает основу для выводного знания, предполагающего переключение кодов в текстовой деятельности, обеспечиваемой межполушарным взаимодействием в процессах речемышления. Это связано с различием задач текстовой деятельности автора, ориентированного на свертывание информации во внутренней речи и на ее развертывание во внешней речи, обращенной к адресату во всех его «лицах». Одним из распространенных приемов «донесения» своего взгляда на мир и воздействия на психическую сферу адресата выступает прием повтора, позволяющий перевести дискретное знание в элемент целостного континуального содержания текста. Уместно здесь вспомнить определение подтекста Т.И. Сильман как типа рассредоточенного повтора, обрастающего новыми смыслами по мере развертывания сюжета, т.е. с учетом композиционного уровня текста.

Рассмотрим роль повтора номинации «человек» как имени культурного концепта и той системы образов, гештальтов, кото-

рые помогают интерпретации этого сверхсложного понятия в тексте перевода: «Где то **море**, в котором действительно можно еще **утонуть** — т.е. **человек?**» — вот **воплъ** нашего времени»; «Я бегу вовсе не близости **человека**, а как раз его отдаленности: вечная отдаленность **человека от человека** гонит меня в уединение». Ср. еще: «Это **человек** висел две тысячи лет на кресте, а безжалостный бог бичевал его, называя это любовью». «**Сверхчеловеков** должно быть много: все лучшие качества развиваются только у того, кто находится среди равных ему. *Один бог всегда был бы чертом!*». В последнем случае очевидна интерпретация концепта «человек» как сверхчеловека, равного по своим достоинствам богу и противостоящего черту. Это очевидное подтверждение отсутствия тождества между концептом во всех его ипостасях и лексическим значением слова — номинации концепта.

Выявление концептуальных признаков осуществляется с опорой не только на имя концепта, но и на всю совокупность его обозначений в семантическом поле, в ассоциативно-деривационных группировках, на внутрисловном уровне, в лексической сочетаемости (текстовые ассоциативно-семантические поля включают и окказиональные образования). Ср.: «**Человек** — это **недозверь** и **сверхзверь**; **высший человек** — **недочеловек** и **сверхчеловек**: одно с другим связано»; «Я хочу научить людей понимать смысл их жизни, этот смысл — **сверхчеловек**» (персонализация отвлеченного понятия «смысл»).

Личностную основу интерпретации составляет не столько знание, сколько предзнание, мнение и вся не связанная с условиями истинности субъективная информация (личностные смыслы, персональные конструируемые, мотивы, установки, потребности). С ее разгадкой часто связывается подтекстовая, имплицитная информация в тексте: «И если **гады** вызывают у вас такое *отвращение*, что вынуждают ускорять шаг в вашем *восхождении*, — то их *существование* оправдано!» Множественность смыслов, стоящих за выделенным оценочным словом и узлами фрейма, передающего с помощью аллигатур (слов с однотипными суффиксами) стереотипную ситуацию восхождения, помогает выявлению имплицитной высказывания. Знание типа дискурса, в который помещены эти слова, представляет определенные негативные признаки, связанные с концептом «человек».

Ассоциативно-деривационные сближения в лексической системе могут служить основой создания текстовой антонимии: «**Сострадание человечеству** было бы **тиранией** по отношению к каждому отдельному **человеку**». Иногда способом экспликации этого концепта выступает супплетивная форма множественного числа — «люди» и местоименные замены: «Нет добродетели **для всех** — об этом забыли, есть **высшие и низшие люди**, равные права **для всех** — образцовая несправедливость»; «Разве когда-либо был хоть **кто-то из великих людей своим сторонником и поклонником?** Что же, переходя на сторону своего величия, он отходил в сторону **от самого себя?**». Текстовые синонимы призваны подчеркнуть концептуальные различия, интерпретируемые с помощью различных номинаций одного и того же лица. Излюбленный прием ранжирования людей по уровню духовного развития — повтор в тексте оценочных определений-интенсификаторов к словам **человек, люди**, обеспечивающий доступ к мнению автора, к его ментальным репрезентациям, к развиваемой текстовой концепции, согласно которой великий человек, высшие люди становятся эквивалентом сверхчеловека (в этом слове сема интенсивности передается иначе — морфемным способом). Ср. еще: «Стремление к величию саморазоблачительно. **Люди высшего сорта** стремятся к малости»; «**Народ** — это **обходной путь** природы к **5—6 великим людям**», где экспликации концепта служат еще и слово собирательной семантики, и антропоцентрическая метафорическая модель. Местоимение сочетается с гештальтным, метафорическим способом представления концепта, выявляющим определенные поведенческие характеристики человека: «**Он пузырится, через край переходит**, — может, **в нем судьба его бродит?**» В интерпретации его сущности автор перевода прибегает к родственному культурному коду: «**Вы** доказать хотите, что **ваш дед** был прав и что истина всегда была **у дедов**. Ибо **народ** неизменно — **более дед, чем внук**». Пропозициональный анализ позволяет вычлениить те концептуальные признаки, которые сопрягаются с разными местоимениями в передаваемой переводчиком картине мира, служа инструментом ее интерпретации: «**Я**», «**ты**» и «**он**» **они понимают так:** «я хочу», «тебе следует» и «он должен». Фрагмент обнаруживает лингвоцентризм в осмыслении определенной системы ценностей описываемых субъектов.

В организации местоименного повтора как стилистического приема в экспликации базового концепта текста используются различные формы местоимений, сопряженные с выполнением разных функций: идентификации, актуализации концептуальных признаков, риторической, замещающей, технической, обобщающей, анафорической и т.д. Разные ипостаси текстового субъекта передаются через семное варьирование местоимения «ты», замещающего слова общего семантического поля «человек»: «Как **творящий ты** уходишь **от себя самого** — **ты** перестаешь быть **своим современником**». С актуализацией ролевых параметров человека, на базе прогностической функции языковых средств создаются виртуальные миры, расширяющие ментальное пространство читателя.

Иные способы интерпретации концепта достигаются привлечением метонимической модели: материал — изделие из него — в сочетании с метафорой: «**Вы** для **меня** — **камень**, в котором **спит** возвышеннейшее из **изваяний**, и **камня** другого — нет. И как **ударяет по вам мой молот**, так и **вы сами** должны **ударять по себе!** Этот **зов молота** должен **разбудить спящее изваяние!**». Интерпретация концепта «человек» с опорой на зооморфную метафорическую модель подчеркивает значимость явления лексической многозначности, внутрисловной деривации в экспликации концептуального содержания текста: «Чем тут поможешь? **Ты** же ничего **не умеешь** — только **брехать и кусаться**, ну, будь по крайней мере моей **собакой**, — сказал Заратустра».

Текстовое ассоциативное поле концепта разворачивается как фрейм с узлами, отражающими набор умений животного в его отличии от человека. Ср. использование предметной метафорической модели и системы пропозиций риторических вопросов в передаче имплицитной информации, связанной с текстовой интерпретацией концепта «человек» и особенностей ментальных стереотипов: «**Ложное расхожее мнение:** “Как может спасти **других тот, кто** не может спасти себя?”» Но если **у меня** есть **ключ от твоих цепей**, то почему **твой и мой замки** должны быть одинаковы?»

Имплицитная информация выявляется в результате расшифровки адресатом образно-символической основы текстообразования, а это предполагает его творческую активность в восприятии как содержательно-фактуальной, так и других типов тек-

стовой информации. Или: «**Пастырь** — тайное **орудие стада**» (в основе афоризма — ролевая, орудийная и зооморфная метафорическая модель организации пропозиции). Рационально-логическое начало человека отнюдь не абсолютизируется, его отсутствие интерпретируется в терминах других человеческих ценностей и норм, обязательных для человека в его духовной ипостаси: «**Я б желал**, чтобы они тоже впали в **безумие**, от которого бы и погибли, как тот бледный преступник — от своего безумия, я бы желал, чтобы **безумие их именовалось верностью, состраданием иль справедливостью...**» Коммуникативные стратегии здесь оказываются связанными с выражением интенций говорящего, его желаний и стремления преобразовать картину мира адресата. Средством для этого становится текстовая синонимизация «именований», адресованных целному человеку, «сверхчеловеку». В основе интерпретации лежит метаязыковая аргументация.

Таким образом, анализ интерпретативного компонента лексического значения слова и лексической структуры переводного текста позволил установить сходство и различие коммуникативных стратегий переводчика и читателя, обращенных к чужой речи. Для первого исключительно важен комментарий к ней, проясняющий, в частности, мотивы актуальности создания перевода; для второго на первый план выходят проблемы интерпретации смысла, дважды завуалированного в тексте (исходном и переводном). Лингвистический анализ интерпретирует смыслы, базовые концепты текста, его культурную ауру и системно-языковую основу достижения взаимопонимания в межкультурной коммуникации. Не случайно «чтение под лингвистическим микроскопом» (Н.М. Шанский) оказывается важным элементом методики работы над текстом в иностранной аудитории: именуясь лингвистическим комментированием, оно позволяет наметить те лексические вехи, ориентиры, которые обеспечивают понимание текста. Вместе с тем «понимающий не должен исключать возможности изменения или даже отказа от своих уже готовых точек зрения» [1: 366], более того, читательское сознание как сложная неравновесная открытая система само колеблется, выбирая ту или иную возможность интерпретации и даже оставляя зоны «коммуникативной неопределенности» (термин Р. Ингардена). В процессах интерпретации текста и реализуется креатив-

ное, творческое начало языковой личности, активизирующей свою ментальную сферу, воображение, эмоции, волевые импульсы, оценки и т.д. Интерпретационный аспект анализа текста отсылает ко всем основным проблемам современной лингвистики.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Бахтин М.* Эстетика словесного творчества. — М., 1986.
2. *Гадамер Ханс Георг.* Драма Заратустры // Звезда. 2005. № 5.
3. *Колесов В.В.* Философия русского слова. — СПб., 2004.
4. *Ницше Фридрих.* «Святой смех Заратустры». Из невошедшего в книгу // Звезда. 2005. № 5.
5. *Эпштейн М.* Слово и молчание в русской культуре // Звезда. 2005. № 10.

1.2.3.1. Лексическое структурирование переводного текста

Существование в многополярном мире, не несущее человеку угрозы истребления, предполагает взаимопроникновение культур при сохранении их национальной идентичности, взаимную толерантность участников межкультурной коммуникации и понимание ими ключевых гуманитарных проблем и ценностей. По справедливому замечанию В.З. Демьянкова, чисто национальной установке интерпретирования можно с известной долей условности противопоставить межнациональную и межкультурную установку [1], хотя культура интерпретации, ее идеал связаны с национальными традициями и нормами, канонами уровня терпимости к чужому. С синергетической точки зрения сложные системы по мере эволюции утрачивают свои различия на низших уровнях организации за счет более детальной «разработки» высших уровней, к разряду которых относятся межличностное и межкультурное общение. Оба эти понятия тесно соприкасаются, ибо нет языковых личностей, обладающих одними и теми же знаниями о мире и языке (это касается и внутри- и межъязыковых контактов), поэтому диалогичность коммуникации имеет своим результатом взаимное духовное обогащение.

В отмеченном, в частности, кроется смысл обращения к переводным текстам, вводящим в область иной культуры, иных интерпретаций общечеловеческих ценностей с опорой на национально-специфический языковой способ изложения.

Переводчик эссе Ф. Ницше [3] Герберт Ноткин так объясняет мотивы обращения к важнейшей, основополагающей гуманистической ценности — человеку: «Что такое “человек”? Если задается такой вопрос, это значит, что пришла пора читать и перечитывать Ницше, в частности — “Заратустру”».

В лексическом структурировании переводного текста эссе автор опирается на всю совокупность лексикосистемных связей языка перевода, выстраивая на их основе текстовые парадигмы:

- 1) *синонимического типа*: «Вас, нынешние, я не принимаю уж слишком всерьез: вы для меня **тонки**, вы для меня **прозрачны**, вы — **разорванные завесы**, сквозь которые просвечивает вечность. И как бы я смог жить среди вас, если бы не видел того, что за вами и перед вами». Здесь метафорическая бытовая модель, участвующая в построении текстовой парадигмы, перекликается с высказыванием современного философа М. Хайдеггера о просвете бытия в интерпретации мира; «Природа глупа, братья мои, и в той мере, в какой мы — природа, мы все глупы. И эта **глупость** имеет красивое имя: она называется **необходимостью**. Так давайте придем на помощь этой необходимости»; в формирование названного типа парадигм включается и выводная, имплицитная информация, связанная с трансформацией компонентов крылатых выражений, прецедентных текстов: «Читаю Заратустру: но как же я мог так **метать свой бисер перед немцами!**»;
- 2) *антонимического типа*: «У вас есть два пути спасения от **страданий**: **быстрая смерть** или **долгая любовь**»; «Мысль, **спящая** в мраморе, ждет того, кто ее **разбудит**»; «...Я тот человек, которому *предназначено* (курсив переводчика. — Н.С.) установить ценности для тысячелетий... Что определяет *большой стиль* (курсивом в тексте перевода выделена лингвоцентричная модель жизнестроения. — Н.С.): стать **господином** (выделено в тексте. — Н.С.) своего **счастья** — как и своего **несчастья**»;

«Отвращение перед **грязью** может стать настолько большим, что помешает **очиститься**»; «Да что вы, **спасители**, понимаете в **человеке!**»;

- 3) *ассоциативно-деривационного типа*, в которых исключительно важная роль принадлежит внутри — и межчастеречному повтору: «Желание **любить** выдает усталость от себя и пресыщенье собой, а желание быть **любимым** — потребность **себя, себя-любие**. Ибо **любящий дарит себя**, а желающий быть **любимым** хочет получить **самого себя** в *дар*»; «Отвергаю ли я ваши **добродетели**? Я отвергаю ваших **добродетельных**».

Повтор корневой морфемы в свете когнитивных (ономасиологических в своих истоках) исследований получает новую интерпретацию. Традиционно он рассматривался как стилистическое средство при построении высказываний (или как стилистическая ошибка при нехватке языковых ресурсов), как стилистический прием выдвижения в стилистике декодирования, как средство создания связности и тематической цельности текста, способ структурирования текстовой парадигматики с учетом дистантных и контактных текстовых фрагментов и т.д.

Ввиду большей абстрактности значения морфемы, включая корневую как зародыш концепта, по отношению к лексическому значению слова, идиоматичность которого во многом достигается взаимодействием слова как системы семантических признаков и внеязыковой среды, повтор корневой морфемы не означает механического перенесения того или иного концептуального признака, стоящего за словом концепта. Это относится к любым членам словообразовательного гнезда, как одночастеречным, так и разночастеречным, а также к семантическим дериватам внутрисловного уровня: «— у этих многих отечеств скор **оговор** и скор **приговор**». Здесь же использована традиционная для повтора усиительная функция, в ином эссе — уточнительная: «О **вкусах** не спорят? Глупцы, вся жизнь — это *спор* о **вкусах** и **привкусах** — и должна быть *спором!*». Или: «Я не считаю вас нужными, вы даже не кажетесь мне **избыточными**, ибо, воистину, мало в вас возникающего от **избытка**»; «Твоя жизнь пусть будет **попыткой**, ее *удача* и *неудача* — доказательством, но позаботься о том, чтобы знали, в чем заключалась **попытка** и что же ты доказал».

Включая в себя разные концептуальные признаки именуемого словом концепта, ассоциативное поле корневой морфемы способствует осуществлению принципа «коммуникативного динамизма» (С.Д. Кацнельсон) при текстопостроении. Ср., например, в анализируемом тексте помещение повторяющихся слов в разделительную или соединительную синтаксическую структуры, позволяющее размежевать семы возможности и долженствования, скрытые в семантике повторяющихся слов и стоящем за ними концепте свойства-состояния: «Чтобы человек мог быть **сострадательным или жестоким**, он должен быть и **сострадательным, и жестоким**».

Фрактальные структуры, характеризующиеся самоповторением, действуют и в текстовой деятельности человека, в артефактах этой «биологической системы», какими выступают тексты. Поэтому уместно обращение к общенаучному инструментарию и способам аргументации при исследовании лексического структурирования текста. Повторяться в нем могут различные элементы ядерно-периферийного строения лексической системы, и полнозначные слова, и примыкающие к ним, и даже элементы, традиционно относимые к другим языковым единицам, например, морфемы. В нашем тексте представлен однокорневой повтор местоимения и производного от него имени: «Я скормил им их собственное **ничто**, и они подавились своим **ничтожеством**», а также явления произвольной этимологизации, приносящие нетривиальные смыслы в передаваемую концепцию: «То, что у вас **“есть-есть”**, вскоре становится **“естественным”**, а из того, что вам долго **нравилось**, вырастают **нравы**».

Встречаются и аллигатуры, обнаруживающие действие глубинных закономерностей в лексической системе языка — сближения слов по общности приставочной морфемы: «Ты, **беззаконный, бессовестный, безнадежный**, — сколько часов нашептывал тебе твой бес...». Нюансировка смысла достигается и взаимным согласованием значений корневых и приставочных морфем компонентов в текстопостроении.

Полиноминативность референта в текстовой ситуации выступает как отражение смены точек зрения текстового субъекта, ракурсов наблюдения в физическом и ментальном пространстве, в общем пространстве культуры, способствуют созданию объемного, голографического изображения. Обратим внимание на по-

линоминативность референта в текстовой ситуации: «Заратустра **предсказатель**, Заратустра **иносказатель**, не беспокойный, не безоговорочный, любящий **прыгать и перепрыгивать**, — веселый этот венец я сам на себя надел». Синкретизм в изображении достигается как использованием лингвоцентрической метафорической модели, так и повтора однокорневых образований, а также метафор, отвечающих синергетической концепции «человека играющего», преодолевающего насильственный порядок.

Поскольку текст включается в систему более высокого порядка — культурную среду, общее пространство культуры, — то и элементы его структуры получают свое объяснение с опорой на такой общенаучный принцип организации сложных нелинейных систем, как синергетический принцип повторения: «Повторение с рекомбинациями выявляет глубинную сущность структурообразования биологических и физических объектов» [2: 4]. Ср: «Дух еще не был для вас заботой и болью сердечной; пусть **горек** был хлеб вашей жизни, но вас **огорчали** не мысли»; «Мой дар будет **воспринят** лишь тогда, когда здесь будут **восприимчивые** — для этого табель о рангах. Величайшие явления **понимают** последними. В силу этого я должен быть законодателем»; «Тоска **безродного по родине**»; «**Лети же, лети** (лексический повтор в его усилительной функции, связанной с энергией чувств и волеизъявления субъекта. — Н.С.), о, ты, **сорви- и оторви-голова!**».

Коммуникация в широком смысле слова предстает как обмен информацией между индивидами через посредство общей системы символов, осуществляющийся в совместной деятельности коммуникантов, в ходе которой вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд на вещи и действия с ними [5]. Нетрудно видеть, что коммуникация имеет когнитивную основу, ибо должна быть содержательной и служить для состыковки различных взглядов, поиска истины и установления взаимопонимания. Текст представляет собой продукт речемыслительной и коммуникативной деятельности и входит в культуру как среду своего бытования, и национально-специфическую, и среду общекультурных представлений и ценностей. Поэтому текст соотнесен и с философией жизнедеятельности человека (ср. новый термин «биофилософия»), и с одним из базовых понятий

культурологии — понятием межкультурной коммуникации. При этом следует учитывать специфику переводного текста, единство содержания и стиля которого создается на иной языковой основе и уже хотя бы поэтому будет новым [4].

Проблема перевода тесно связана с явлением интертекстуальности, с пониманием переводного текста как «ответного» по отношению к исходному (по М. Бахтину, как известно, понимание текста — это всегда соотнесение его с другими текстами). При отсутствии полной эквивалентности соотносимых текстов в общем пространстве культуры они могут рассматриваться как составляющие одного дискурса, представляющего собой возможный мир, эксплицированный средствами разных языков. Основа общей дискурсивной семантики — референтная, предметно-логическая общность изображаемого, возможность трансляции сходного коннотативного, модусного, прагматического содержания, универсальные факторы и нормы текстообразования, связанные с законами речемыслительной деятельности человека, с наличием универсальных стратегий интерпретации (вспомним текстовый пример выводного знания при трансформации фразеологизма).

Устранение лакун, свидетельствующих об избыточности или недостаточности опыта одного этноса относительно другого, их заполнение или компенсация, помогают раскрыть вводимый автором концепт, снять лингвокультурный барьер в ситуации контакта двух культур. Во многом этому способствуют образно-схематические, гештальтные модели концептуализации, приучающие вскрыть те или иные концептуальные признаки. Ср., например: «Мудрое забвение и **искусство ловить всякий ветер в свой парус** — две новые *добродетели*»; «Скоро поднимется **буря**», — так **говорит себе, содрогаясь, душа** моя, **предсказательница**, ибо в ней уже **бродят** будущие эти **бури...**»; «Я не хочу, чтобы *мудрость* превращалась в **больницу и богадельню** для скверных поэтов»; «Нужно *смерть* свою превращать в праздник — хотя бы только из злости на *жизнь*, на эту **бабу**, которая **хочет уйти** — от нас»; «Говори свое *слово!* **Разбейся** об него!»; «*Одиночество* созревает, но **не дает побегов**» и мн. др. (Курсивом здесь выделены номинации концептов, а полужирным шрифтом — те узлы источникового фрейма, в терминах которого осмысливается абстрактное понятие.)

Естественно, нами рассмотрены не все способы лексического структурирования переводного текста, но многие возможности интерпретации его содержания.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Демьянков В.З. Лингвистическая интерпретация текста: универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии // Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Ю.С. Степанова. — М., 2001.
2. Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс. — М., 2003.
3. Ницше Ф. «Святой смех Заратустры»: Из невошедшего в книгу // Звезда. 2005. № 5.
4. Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. — М., 1982.
5. www.glossary.ru

1.3. ТЕКСТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕГО ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

1.3.1. Полевая организация элементов лексической системы как предпосылка текстовой деятельности

Полевое, ядерно-периферийное строение лексической системы охватывает все ее составляющие: предельно общие объединения слов по категориально-грамматическим и субкатегориальным семам, по типам лексических значений как способу систематизации слов на комплексной основе; оно прослеживается в разбиении словарного массива по признакам хронологической, социально-территориальной, функционально-стилистической отмеченности / неотмеченности, характеризует структуру полисеманта и отдельного лексического значения. Во всех своих ипостасях оно оказывается ориентированным на потребности речевой коммуникации, обслуживающей человеческую деятель-

ность первого порядка (практическую, познавательную, эстетическую, ценностно-ориентированную, регулирующую и т.д.).

Составляя основу линейного развертывания текста, ядерно-периферийное строение элементов и блоков системы словаря очерчивает границы того глобального образа, который может быть воспринят адресатом с опорой на его знания о мире и систему внутритекстовых связей. Возможности речевого варьирования во многом предопределены переходными и периферийными зонами на уровне слова в словаре. Так, диффузность качественно-относительных признаков отмечается у имен прилагательных уже в недрах свободно-номинативного значения на его периферии, исключая неожиданность взаимопроникновения разрядов в кругу лексически связанных значений. Свобода варьирования контекстов употребления в центре от предельно узких до надтемных вырождается через промежуточный этап тематической связанности ключевых в ограничения в сочетаемости, пословно фиксируемые на периферии, в кругу фразеологических связанных значений. Тип свободно-номинативного значения, будучи ядерным в системе языка, обеспечивает ее стабильность, обладает широтой функциональной приложимости в отличие от фразеологически связанного значения, обеспечивающего динамику семантических процессов и специализацию зон функциональной приложимости.

Промежуточный тип лексически связанного значения ориентирован преимущественно на мир познающего субъекта, участвует в его текстовой параметризации, в организации определенных семантических типов текстовых фрагментов, служит способом интерпретации идеальных сущностей (психологических, этических, эстетических и т.д.), обеспечивает взаимодействие слов разных ЛСГ при условии разнотипности их лексических значений в пределах текстового фрагмента.

Изучение коммуникативных аспектов лексического значения в его ядерно-периферийном расчленении связывается с двумя исходными постулатами:

- 1) представлением о реализации в тексте определенной концептуальной системы носителя языка;
- 2) признанием гибкого, подвижного характера лексического значения с заложенными в нем потенциальными преобразованиями.

При динамическом, вероятностном подходе к фактам языка объективная реальность (включая лингвистическую) предстает как совокупность не просто наличных фактов, но и таящихся в них возможностей (см. исследования по логической семантике).

Элементом концептуальной системы носителя языка выступает фрейм, он допускает свободу заполнения переменных терминалов в каждом конкретном случае, варианты речевых поступков языковой личности, альтернативы в реализации коммуникативных стратегий участников коммуникации. Способом лингвистической объективации фрейма и основой для изучения возможностей создания связности текста, прогнозирования внутритекстовых связей слов по семам разного ранга (ядерной, периферийной, потенциальной) в создании нетривиальных смыслов выступают словари тезаурусного типа (и прежде всего «Русский семантический словарь»). Семный ореол дескриптора эксплицирует нестандартные связи слов: в сопоставлении гнезд дескрипторов с текстовыми семантическими полями, отражающими коммуникативные стратегии создателя текста, обнаруживаются самые разнообразные результаты семного варьирования членов гнезда, вплоть до погашения ядерных сем и наведения слабовероятностных.

Граница между ядром и периферией лексического значения вследствие связи с концептуальной системой субъекта подвижна, периферия лексического значения при его помещении в определенный контекст культуры может приобрести статус ядра. Подобные метаморфозы особенно очевидны в жанрах, ориентированных на средства массовой информации, отражающих процессы социальной ломки в обществе. С актуализацией вероятностных сем связываются разножанровые образования, фиксируемые в словарных материалах «Новое в русской лексике», многие линии развития образной семантики в поэтической речи. Особенно велика роль вероятностных сем (включая слабовероятностные, относимые к периферии лексического значения) в процессах интерпретации, понимания текста, предполагающего построение определенной модели ситуации, «образа» в широком смысле, вживание элементов новой информации в концептуальную систему адресата, преобразование его тезауруса, системы знаний, мнений, установок, ценностных ориентаций. Диалогичность процесса общения связана с множественностью,

альтернативностью смыслов, стоящих за словом при его употреблении и восприятии, что становится одной из причин коммуникативных неудач в восприятии речевых сообщений. Эта неоднозначность выражения и восприятия отчетливо выступает в попытках переложения образцовых текстов.

Активность субъекта познания, значимость его опыта, знания о мире, приобретаемого в предметной деятельности и общении с людьми, о социальных конвенциях находит отражение в способах освоения ядерно-периферийной части лексического значения детьми, обнажая формирование фреймов, роль когнитивной информации в речевой деятельности. В речемыслительных операциях ребенка зацепляются те слова, которые не имеют в развитом сознании точек соприкосновения (крылышки — лепестки цветка, шкурка — краска) или достаточно четко в нем разводятся (наливать — бросать; толстый — широкий; веточка — кустик; пакетик, кулек — букетик; появляться — заводиться /о детях/).

Сходство эффекта, достигаемого при целенаправленной метафоризации и в детских новообразованиях, объясняется ролью метафоры в становлении нового знания на пути от эмпирической к рациональной его ступени, необходимостью ассоциирования элементов разных предметных областей, воспринимаемого как открытие сходного в различном.

Дискретизация лексического значения, осмысление элементов его интенционала или импликационала приобретают особую значимость в случаях лингвистической рефлексии над словом, оценки его коммуникативной гибкости, уместности или неуместности в определенных условиях общения, органичности / искусственности в лексиконе того или иного субъекта говорения, обыгрывания коннотативных возможностей слова. В текстовой перспективе речевые оценки могут быть способом фиксации эксплицитной и имплицитной информации, элементом языковой игры, средством сюжетообразования. Лингвистическая рефлексия как отражение оценочной, квалификативной деятельности лица вводит в круг его языковых пристрастий, вкусов. Однако отправным моментом в установлении коммуникативных стратегий языковой личности при обращении к слову может служить любой момент его содержания или формы.

Многоплановой эвристической ценностью отмечаются тексты учебника «РУССКИЙ ЯЗЫК» для начальных классов (ав-

тор Т.Г. Рамзаева): они отражают определенный этап речемыслительной деятельности человека и направлены на внесение изменений в тезаурус языковой личности; имплицитно указывают на базовый уровень строения лексической системы языка, лексическую основу русского языка; способствуют формированию языковой компетенции учащихся, их метаязыковой и рефлексивной деятельности. Однако видение этого информационного потенциала возможно при условии понимания современной лексикологической теории, методов лексического анализа, ибо введение даже элементарных лексических сведений требует от учителя принятия определенной концепции, сквозь которую они просматриваются.

Тексты школьного учебника в условиях минимизации лексического материала отчетливо обнаруживают ядерно-периферийное строение лексической системы, имеющей в качестве ядра систему однозначных слов, которые выполняют номинативную функцию и служат основой концептуализации действительности, а в качестве периферии имена собственные, обладающие ассоциативными связями, вызывающими определенный круг представлений (часто в связи с прозрачностью мотивационного признака, сближающего имя собственное и нарицательное).

Онтологическое разделение слов на предметные и признаковые в кругу однозначных связано с их различной коммуникативной предназначенностью — быть темой или ремой предложения-высказывания, так как первичная основа смыслопорождения состоит в открытии или приписывании предмету признака в акте коммуникации. В этом кроются коммуникативные потенции слова уже на уровне его частеречной семантики, предназначенность к выражению законченной мысли, что учтено в разбиении слов на классы в учебнике с учетом их категориальной семантики и установлении связей слова и предложения.

Слово как единица лексического уровня имплицитно указывает на все многообразие лексикосистемных и ассоциативных связей, при этом текст предстает как реализация тех или иных лексических группировок системы и ассоциативное поле ключевых (опорных, тематических) слов. В конкретном речевом акте слова на основе семного согласования ограничивают круг свойственных им ассоциаций в соответствии с целью высказывания, тем самым объясняя диалектику слова и предложения. В последнем

слово уже выступает как элемент системы коммуникации, сохраняющий лишь отчасти и преобразующий в соответствии с задачами коммуникации свои лексикосистемные свойства.

Слово в предложении-высказывании, текстовом фрагменте, целом тексте, будучи элементом коммуникативной системы, взаимодействует со средой: знаниями коммуникантов о мире, о правилах и нормах коммуникации, о правилах слов в системе языка, в лексикографическом представлении. На лексикосистемном уровне слово выступает наименованием целых классов предметов, качеств, действий, отражая таксономический способ членения мира, широко и разнообразно раскрываемый в лексической организации прежде всего учебного текста, однако принцип антропоцентризма в языке дает себя почувствовать даже в самой «объективной» классификации лексики — идеографической.

Обращение к прототипическим, базовым ситуациям в учебном тексте объясняет преобладание в нем слов в основных, свободно-номинативных значениях, ориентированных прежде всего на внешний, физический мир как реальность первого порядка, их совместную встречаемость и регулярность типовых ситуаций, ими вызываемых. Указанный тип лексического значения служит основой не только организации семантической системы словаря, но и основой текстопостроения, реализации фреймов, сценариев, в соответствии с которыми хранятся знания в нашей памяти. Вот почему так важна познавательная информация, заключенная в учебных текстах и вбираемая цепкой детской памятью. С опорой на лексические экспликативы она формирует определенную картину мира. Не случайно лексическая структура многих текстов учебника служит разверткой того или иного фрейма.

Прозрачность понятийных связей слов основного, свободно-номинативного значения делает их опорными при конструировании текстов учащимися, так как за опорными словами стоит известная или прогнозируемая ситуация, динамический фрейм; опорные слова вместе со знаниями о мире позволяют вытянуть всю цепь ассоциаций, необходимых для линейного развертывания содержания текста. Ядерные компоненты лексического значения как отражение прототипической ситуации лежат в основе текстов загадок, ориентирующих на слово-отгадку в его основном значении. Однако эвристическая ценность загадок заключа-

ется и в том, что они отражают не только сильно-, но и слабовероятные ассоциации, связанные со словом, направляя поисковую деятельность от ассоциативного поля и его элементов к слову-отгадке.

Для повышения коммуникативной компетенции учащихся важна не только лингвистическая, но и энциклопедическая информация, стоящая за словом, ибо лексические знания в конечном счете — тоже часть знаний о мире, и это особенно очевидно для такой открытой системы, интенсивно взаимодействующей со средой, каковой является лексическая система языка.

1.3.2. Рефлексия над словом в прозе О. Мандельштама: лингвистические уроки

Названию придан нарочито неоднозначный смысл, поскольку предметом внимания в ней служит не только рефлексия над словом самого писателя, но и его словоупотребление, дающее емкие уроки понимания многих лингвистических проблем.

По словам А. Гениса, у Осипа Мандельштама «самая глубокая философская проза модернизма», он «говорит культурами и эпохами» [16: 208].

Внимание к знанию, связанному с языком, словом, обусловлено в антропоцентрической парадигме не столько его соотносительностью с миром действительности, сколько с опосредованностью этого знания миром культуры. Как отмечал Г.О. Винокур, «всякий лингвист, изучающий язык данной культуры, тем самым непременно становится исследователем той культуры, к продуктам которой принадлежит избранный им язык» [5: 211].

Культура в общем плане определяется как совокупность текстов на данном языке и символов, ею принимаемых, причем это система саморасширяющаяся и самоорганизующаяся. Общая семиотическая основа языка и культуры, сближающая их и допускающая метафору текста в ее расширительном толковании, оправдывает анализ слова в когнитивно-культурологическом аспекте, особенно слова, ставшего предметом размышлений и практического использования в творчестве крупнейшей фигуры в отечественной литературе XX века, какой является О.Э. Мандельш-

там. И если функции слова и рефлексия над ним в его поэтических текстах привлекали внимание ряда исследователей (В.Н. Топорова, С.С. Аверинцева, И.П. Смирнова, Ю.В. Казарина, А.А. Васильевой, Е.Н. Ежовой, В.Ю. Прокофьевой, М.А. Бабуриной, С.М. Пронченко и др.), то прозаические тексты менее изучены и остаются для лингвиста источником нетривиальных представлений о слове, особенно значимых в свете наметившейся переключки в духовных исканиях общества начала и конца XX века (см., например, [23]).

Актуальная для лингвистики проблема онтологической сущности слова, связываемая вслед за В. Гумбольдтом, А.А. Потемной, Г. Гийомом и др. с психологической реальностью языка, поисками особенностей его духа (см., например, [4: 11]), увязывается в текстах О. Мандельштама с определением места и роли слова в художественной практике представителей различных литературных направлений и школ.

Сосредоточим внимание прежде всего на статье О. Мандельштама «О природе слова» [16], центральной в плане поставленной проблематики. Анализируя поэзию И. Анненского, О. Мандельштам видит урок его творчества для русской поэзии во «внутреннем эллинизме, адекватном духу русского языка» («О природе слова»). Этот «домашний эллинизм» имеет совершенно определенную лексическую экспликацию, близкую к установкам акмеистической поэзии: «эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это — домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любимой...»

Не случайно автор прибегает преимущественно к конкретной лексике, а гиперонимы и обозначения целостностей так или иначе конкретизируются, например, с помощью определительных местоимений или местоименных корневых морфем. «Дух русского языка», его национально-языковая специфика (не исключаяющая и универсальных черт) видится в указании и на группы лингвострановедчески ценной лексики (безэквивалентной, фоновой, названий реалий), и на общий принцип антропоцентризма, включения тех или иных явлений в «личную сферу говорящего» (термин Ю.Д. Апресяна), и на «вещный слой» в

слове. Ср. там же: «эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом... всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, следовательно, и символом».

Такому очеловечиванию поддаются как предметы быта, так и культурные реалии прошедших эпох. Синкретизм слова, его обращенность в своих истоках к целостной картине мира, мифу, образу, «круглому мышлению» (П. Флоренский) отмечается М. Эпштейном в близости древнерусских слов *вещь* (поступок и слово) и *вещь*, в способности слова «вещать — веществовать» [22: 207]. Это делает излишним с точки зрения акмеистов двойной символизм, вызывая в поэзии О. Мандельштама, А. Ахматовой и Н. Гумилева «импульс антиутопизма» [1: 24]. При этом О. Мандельштам интересуется не вещьностью вещи, а ее бытие и природа «самого познавательного отношения к вещи», ее интенциональности [1: 22].

Отождествляя эллинистическую природу русского языка с его «бытийственностью», объединяющим началом эллинской филологической культуры и русского языка О. Мандельштам считает «принцип внутренней свободы», делающий язык свободнее любых других сфер человеческого бытия и реализуемый в них, что имеет особую значимость для отечественной культуры и общественного бытия: «Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полностью явлений, полностью бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни».

В наибольшей степени об этой внутренней свободе языка как саморазвивающейся системе, как воплощении свободного духа свидетельствует творчество самого поэта (взять хотя бы его стихотворения 30-х годов). В приведенном выше фрагменте, в его лексической структуре просматриваются и актуальные для современной лингвистики идеи языка как дома бытия духа, увязываемые обычно с концепцией Хайдеггера (ср., например, учение о логоэпистеме Костомарова и Верещагина в их книге «Дом бытия языка»), и идеи русского номинализма, развиваемые в учении о концептосфере русского языка (Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, В.В. Колесов, авторы серии сборников «Логического

анализа языка» и др.). Ср. далее: «Русский номинализм, т.е. представление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка...» Здесь проецируются и синергетические идеи о подобии функционирования сложных саморазвивающихся систем поведению живых систем.

С животворящим духом языка связывается деятельностная, событийная основа слова, в современных терминах — его коммуникативные потенции: «Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие» (очень четко выраженная мысль о взаимодействии системы и среды, о событии как инобытии слова ввиду их энергетической и информационной общности). Автор отстаивает право языка на самозащиту от «бесцеремонных покушений», с чем и связывает сомнения говорящих в пригодности языка для адекватного выражения мыслей и чувств.

Известно, что между предметным миром и миром языка, текста стоит язык мысли, которому О. Мандельштам отводил подобающее место, не допускал редукционизма в отношении к слову ни в пользу рационального мышления, ни в пользу интуиции, обвиняя А. Белого в том, что он «нещадно и бесцеремонно гоняет слово, сообразуясь исключительно с темпераментами своего спекулятивного мышления». Поэт не считает возможным приносить язык «в жертву мистической интуиции, антропософии и какому бы то ни было всепожирающему и голодному до слов мышлению». В футуризме его возмущает «механическое приспособление, недоверие к языку, который одновременно и скороход, и черепаха». В терминах синергетики этот фрагмент отражает идею о невозможности навязывать сложной самоорганизующейся системе естественного, живого языка (ср. антропоморфную метафору его изменчивости и стабильности), могущего работать и не работать в режиме с обострениями, произвольных путей развития. Акт доверия к языку — в признании его права выходить на собственные аттракторы в эволюции. Способность русского языка быть «звучащей и говорящей плотью» обуславливает и его культуроносные возможности, и собственный креативный потенциал, и его роль в создании семантики возможных миров, и этимологическую память слова. Отдавая дань символистам, открывшим «изначальную, образную природу слова», их идейному влиянию на акмеистов, роли Вячеслава

Иванова, который «много способствовал построению акмеистической теории», где на смену «отвлеченной эстетике слова... пришла живая поэзия слова-предмета», автор отмечает такой недостаток символистской поэзии, как отсутствие «ясного слова, в ней только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой».

Мысль о пронизанности русской культуры идеями христианства сближает понимание роли слова у О. Мандельштама и представителей Школы Всеединства В. Соловьева. Не случайно указание поэта на то, что вся современная ему поэзия вышла из лона символизма, на роль В. Иванова в становлении акмеистической поэзии. Эпиграфом к статье «О природе слова» послужили строки Н. Гумилева: «И в Евангелии от Иоанна / Сказано, что слово — это Бог». Сакральная природа слова отмечалась С. Булгаковым, П. Флоренским, А. Лосевым. О. Мандельштам продолжает эту традицию. По словам С. Аверинцева, «любое имя как бы причастно у него библейскому статусу имени Божия, которое нельзя упоминать всуе. Установкой на субстанциальный характер акта именованного исключено расточительное употребление «экзотических» имен для декоративных целей, как это было обычным у Брюсова и Волошина» [1: 14].

Отсюда протест против инфляции священных слов, немотивированного их употребления, нарушения табу: «По существу, нет никакой разницы между словом и образом. Слово есть уже образ запечатанный: его нельзя трогать. Он не пригоден для обихода, как никто не станет прикуривать от лампадки». Сакральный смысл несет здесь и слово «запечатанный» (ср. «за семью печатями», заветный), и название культовой реалии.

Судьба ключевых концептов культуры и их номинации прослеживается в прозе О. Мандельштама с привлечением им метаязыковых комментариев по поводу словоупотребления носителя наивного лингвистического знания: «...Какой ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — «смерть». Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя?» Эти риторические вопросы связаны с признанием необходимости табуировать сакральные смыслы и в то же время выводят читателя на понимание процесса номинации, воплощенности в слове определенного фрагмента знаний о мире (включая и возможные, альтернативные миры), на лингвистические концепции

начала XX века: «Имя уже определение, уже “что-то знаем”. Так своеобразно определяет Розанов сущность своего номинализма: вечное “познавательное движение”, вечное щелканье орешка, кончающееся ничем, потому что никак не разгрызть...» Здесь видится и актуальное для современной лингвистики представление об изоморфности имени и высказывания (“определения”), о свертывании именем совокупности разнообразных суждений, что во многом объясняет вероятностный характер лексического значения.

Изложенные идеи занимают умы и наших современников. Это, например, относится к осмыслению концепта «смерть»: «Речь ведь идет о сознании, а сознание ускользает от слов. Это как смерть, разговор о которой всегда извне: рассуждать об опыте смерти, не умирая, подобно разговору слепого о цветах» [21: 54]. Свой способ интерпретации евангельского высказывания о слове предлагает К.Г. Красухин, считая наиболее адекватным перевод евангельского текста как «В начале была Идея» [12: 1], сближая этот философский архетип, инвариант гераклитова Логоса со способностью слова быть единицей информации и вносить упорядочивающее начало (космос) в хаос вселенной.

М. Эпштейн в размышлениях о слове как произведении также апеллирует к библейскому изречению: «Сотворение нового слова потому столь опасный и прельстительный жанр, что в нем приходится состязаться с тем же словом, через которое все начало быть» [22: 214].

Для лингвистов крайне важно, что критерием единства литературы данного народа у О. Мандельштама признается «только язык народа», который так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний», но при всем этом «и в пределах своих изменений остается постоянной величиной, “константой”, остается внутренне единым». Эти размышления вполне могут служить ориентиром в оценке тех изменений в море смыслов современного русского языка в эпоху «лексического взрыва», которые характеризуют активно протекающие процессы в лексике, наиболее открытой к влиянию среды, включая иноязычную.

В свете тех языковых и стилевых деформаций, которые достались в наследство от языка тоталитарной эпохи с ее дикта-

том цензуры, бюрократизацией всех стилевых пластов, а также нынешней языковой политики бывших советских республик, обращает на себя внимание предупреждение поэта: «“Онемение” двух-трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, т.е. в отлучение от слова». По некоторым данным, пророчества О. Мандельштама уже сбылись: так, М. Мамардашвили, говоря о последствиях насилия над языком, замечает: «Да, язык сыграл дурную шутку с Россией и сам же погиб» [15: 195].

Единство филологического, лингвистического, культурного пространства и межкультурных связей, частным проявлением которых выступает интертекстуальность, осмысляется О. Мандельштамом в терминах родственного кода, очень характерного для его прозы, пронизывающего разные тексты. Ср. в рассматриваемой статье: «Филология — это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая словесная нюансировка составляет фон семейной жизни». Таким образом, не только семейная среда служит фоном языка, но и сам язык становится средой, фоном семейной (филологической) жизни.

Эти проблемы «бесконечной» диалогичности культуры, как и проблемы взаимодействия системы и среды активно привлекают внимание и современных исследователей-филологов, лингвистов, особенно в когнитивно-синергетической парадигме. По словам И. Смирнова, «в акмеистической поэзии обострилась проблема читателя, которой не существовало для футуристов, предназначавших поэтическую продукцию для массового усвоения. Акмеисты моделировали читателя в качестве некоторой уникальной величины. Он должен быть изоморфен поэту, овладевать правилами, по которым строил сообщение его отправитель» [19: 148].

Автор отмечал в русском обществе «минуты гениального чтения в сердце западной литературы», для него характерна забота о другом, будущем, идеальном читателе, о судьбах «хрупкой ладьи человеческого слова» в «открытом море грядущего, где нет

сочувственного понимания современников». Метафорическая модель слова как хрупкой ладьи в открытом море, развертываясь в сравнение, обретает дополнительные культурные наслоения: «Как же можно снарядить эту ладью в дальний путь (пространственная метафора времени. — Н.С.), не снабдив ее всем необходимым для сюль чужого и столь дорогого читателя? Еще раз уподоблю стихотворение египетской ладье мертвых. Все для жизни припасено, ничего не забыто в этой ладье».

К предметно-пространственному типу метафорической модели, характерному для акмеистов, О. Мандельштам прибегает не только в поэзии, но и в прозе. Этот тип концептуализации мира в терминах пространственных образных схем, схем вместилища, схем, связанных с положением в пространстве человеческого тела, современные когнитивисты считают базовым в становлении языка и человеческого мышления (см. [13]). Ср. еще: «Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и, наоборот, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре». Таким способом истолковывается «словесное представление» как «сложный комплекс явлений, связь, система», предвосхищающая достижения и идеи фоносемантики (из последних работ см.: [7]).

Поэт устраняет вопрос о том, что первичнее — «значимость слова или его звучащая природа», рассматривая слово как единство всех его составляющих (ср. интегральные концепции лексической значения, развиваемые в работах Ю.Д. Апресяна, В.Н. Телии, И.А. Стернина и др.). Такое понимание слова исключает его отождествление с предметом внеязыкового мира («Ведь слово не вещь») и согласуется с представлениями об интерпретационном компоненте в семантике слова, включающими как обязательную позицию наблюдателя, познающего субъекта. Мыслительная среда сближается у О. Мандельштама с предметной средой слова как его инобытием: «Данность продуктов нашего сознания сближает их с предметами внешнего мира и позволяет рассматривать представления как нечто объективное». Эта «данность», если выражаться языком когнитивной семантики, — не что иное, как ментальные репрезентации объекта субъекту познания. По словам известного биолога К. Лоренца, «наш когнитивный аппарат сам представляет собой

объективную реальность, которая обрела свою нынешнюю форму посредством контакта и адаптации к столь же реальным вещам во внешнем мире» [14: 4].

Другое дело, что «лингвистика рассматривает действительность сквозь призму языка и в модусе субъекта» [17: 255], т.е. с учетом его ментальных моделей, конструируемых носителями языка возможных миров. Говоря об ограниченности биологических аналогий, выступая против биологизации «органической поэтики», О. Мандельштам в то же время говорит и о «чрезвычайно быстром очеловечивании науки». Принцип антропности поддерживается и данными синергетики о внутреннем подобии поведения сложных нелинейных систем (включая языковую) поведению живых, биологических систем (отсюда правомерность выражений типа «система допускает, требует, запрещает», наполняющихся неожиданными смыслами). Удивительно созвучно положениям когнитивной семантики, признающей наличие у каждого слова прототипического денотата как типового образного представления [21: 10] высказывание О. Мандельштама: «Самое удобное и в научном смысле правильное — рассматривать слово как образ, т.е. словесное представление».

Как видим, в своих филологических разысканиях автор постоянно стремится опереться (и настойчиво говорит о необходимости такой опоры) на данные современной ему науки, обращаясь вместе с тем к языку как наивной науке, предшественнику и основе любого научного знания, и отстаивая необходимость доверия к слову. К этим проблемам обращался и А.А. Потебня [18], и У. Вайнрих [3], и В.В. Колесов [11], и авторы сборника «Логический анализ языка. Язык о языке».

Привлекают внимание способы лексической разработки в прозе О. Мандельштама общенаучного принципа системности, с которым он связывает единство русской литературы, ее внутреннего строя, принципа, который, как показало время, оказался столь значимым в лингвистических исследованиях. Системный, синхронный подход, по мысли О. Мандельштама, увязывает явления в их пространственной протяженности и противостоит причинности, «столь рабски подчиненной мышлению во времени». Для объяснения этих различий О. Мандельштам пользуется фигурой развернутого сравнения, отражающего тягу акмеистов к знакам, передающим «физический контакт

человека с миром» [19: 144]: «связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддается умпостигаемому свертыванию». Если в современном словоупотреблении в метафорической модели подчеркивается момент развертывания в осмыслении абстрактных сущностей («веер событий», «веер мнений» и т.д.), то здесь акцент ставится на моменте свертывания явлений при их системном истолковании: «наука, построенная на принципе связи, а не причинности избавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном прихвостне — теории прогресса». И хотя свойственная синергетике, развивающей принцип системности, концепция универсального эволюционизма, необратимости процессов эволюции, распространяется и на эволюцию поэтических систем, базирующихся на формально-семантических свойствах слова, прогностических функциях его корня, вполне оправданным представляется неприятие поэтом идей жесткого детерминизма в истолковании текстовых и иных явлений, ориентация на их вероятностное истолкование.

Синергетика также обращается к анализу синхронного среза эволюционных структур («свернутому вееру», по сравнению О. Мандельштама). Так, Е.Н. Князева отмечает: «Пространственные конфигурации структуры-аттрактора содержат в себе информацию о прошлом и будущем этой структуры. И мы можем попытаться извлечь эту информацию, просто анализируя наличный синхронический срез данной эволюционной структуры... Поэтому можно говорить об особом, интегральном статусе “здесь” и “теперь”. Становится понятным синергетический смысл введенного А. Ухтомским понятия “хронотоп”» [9: 229].

Синергетический стиль мышления в высшей степени свойствен творчеству О. Мандельштама, проявляясь, в частности, в выборе самых разнообразных когнитивных моделей в прозаических текстах. Так, настаивая на преемственности, целостности культуры, О. Мандельштам использует военную и растительную метафору в описании поэтической эволюции: «Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны, — разве шелканьем и цоканьем Языкова не был предсказан Пастернак и разве одного этого примера не достаточно, чтобы показать, как поэти-

ческие батареи разговаривают друг с другом перекидным огнем, нимало не смущаясь равнодушием разделяющего их времени? В поэзии всегда война. И только в эпохи общественного идиотизма наступает мир и перемирие. Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга. Корни слов воюют в темноте, отнимая друг у друга пищу и земные соки. Борьба русской, т.е. мирской, бесписьменной речи, домашнего корнесловья, языка мирян с письменной речью монахов, с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой, — сказывается до сих пор... Поэтическая речь живит блуждающий, многосмысленный корень» («Заметки о поэзии»).

Синкретизм смыслов слова *корень* и его производных выявляет здесь прогностические возможности корня слова, организацию им ассоциативного поля в тексте. Порождающая функция корня связывается с согласными: «Множитель корня согласный звук — показатель его живучести. Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные — семя и залог потомства языка. Пониженное языковое сознание — отмирание чувства согласной». От своего излюбленного родственного кода поэт переходит к иной метафорической модели: «Русский стих насыщен согласными и цокает, и шелкает, и свистит ими. Настоящая мирская речь. Монашеская речь — литания гласных». В метафорических моделях отчетливо выступают явления фоносемантики.

Ограниченность механистической познавательной модели, используемой в поэзии Асеева, О. Мандельштам также аргументирует с позиций, близких синергетике: «Чисто рационалистическая, машинная, электромеханическая, радиоактивная и вообще технологическая поэзия невозможна по одной причине, которая должна быть близка и поэту и механику: рационалистическая, машинная поэзия не накапливает энергию, не дает ее приращенья, как естественная иррациональная поэзия, а только тратит, только расходует ее. Разряд равен заводу...» («Литературная Москва»).

Не случайно О. Мандельштам ценит «глубокое чувство корня и звука» у Бальмонта, ибо чувство, интуиция связаны с порождающими свойствами иррационального, правополушарного типа мышления. Не случайна множественность смыслов, сопрягаемых у О. Мандельштама со словом *корень*, — и лингвисти-

ческого, и растительного, и историко-культурного: «Все несчастье, когда вместо настоящего прошлого с его глубокими корнями становится “вчерашний день”. Этот “вчерашний день” — легко усваиваемая поэзия, отгороженный курятник, уютный закуток, где кудахчут и топчутся домашние птицы. Это не работа над словом, а скорее отдых от слова» («Буря и натиск»). В основе экспликации поэтических представлений автора — и текстовая антонимия временных номинаций (настоящее, прошлое — “вчерашний день”) с метафорическим переосмыслением завышенного обозначения, и бытовая метафора в назывании поэзии и ее приверженцев. При этом метонимические связи значений слова *курятник* (помещение и его обитатели) становятся опорными для антропоморфной метафоры «домашние птицы», ассоциативно связанной в тексте со словом *поэзия* в ее негативном истолковании. Итоговой здесь выступает металингвистическая сентенция автора.

Проза О. Мандельштама почти физически ощутимо показывает, как открытая саморазвивающаяся система поэтики и поэтического слова активно взаимодействует со средой (прежде всего культурной), получая из нее энергию и информацию, необходимые для деятельности системы. В результате такого взаимодействия уменьшается энтропия системы, происходит накопление информации. Элементы среды, будь то социокультурная, коммуникативная, языковая, текстовая, ментальная, эстетическая, этическая и др., будучи проявлением инобытия данной системы, становятся элементами ее поля.

К числу законов универсального эволюционизма относятся законы сохранения энергии, эволюции, приспособляемости, отбора. При этом в синергетике отмечаются два основных вида отбора, обеспечивающих развитие неравновесной системы, — стабилизирующий и движущий. Глубинные аналогии с ними в установлении единства культуры обнаруживает проза О. Мандельштама: «Двойная правда изобретенья и воспоминанья нужна, как хлеб... Изобретенье и воспоминанье — две стихии, которыми движется поэзия Б. Пастернака» («Литературная Москва»).

Открытость языковой среды по отношению к текстовому смыслу, словоупотреблению рисуется с привлечением метафоры традиционного земледельческого культа народной культуры: «Жизнь языка открыта всем, каждый говорит, участвует в

движении языка, и каждое сказанное слово оставляет на нем свежую борозду» («Кое-что о грузинском искусстве»). Деятельностная природа словоупотребления, осознание слова как поступка, его выбора как небезразличного для жизни языка, диалектика всеобщего и особенного — все эти соображения, высказанные в столь доступной и проникновенной форме, имеют непреходящую ценность, особенно в моменты флуктуирующего хаоса в языке, находящемся в точке бифуркации, перед выбором путей своего дальнейшего развития. Эта языковая ситуация хорошо знакома О. Мандельштаму, с ней он связывал деление людей на друзей и врагов слова: «Социальные различия и классовые противоположности бледнеют перед разделением ныне людей на друзей и врагов слова. Подлинно агнцы и козлица. Я чувствую почти физически нечистый козлиный дух, идущий от врагов слова... Кто поднимет слово и покажет его времени... будет вторым Иисусом Навином».

Культура с ее традициями и ценностями становится опорой самосознания личности, ее гармонизации в мире хаоса. Отсюда обращение к прецедентным текстам культуры христианского извода и организующая текст семантика культовых слов: «Да, старый мир — “не от мира сего”, но жив более, чем когда-либо. Культура стала церковью. Произошло отделение церкви-культуры от государства. Светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние... Христианин, а теперь всякий культурный человек — христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово-плоть, и простой хлеб — веселье и тайна» («Слово и культура»). С этим поэт связывает чувство «внутренней свободы, настоящего и внутреннего веселья», т.е. гармонии.

Защита законов русского языка как основы единства культуры, литературы, поэзии связывается в прозе О. Мандельштама с неприятием того, что эти законы нарушает. В поэзии Игоря Северянина это чудовищные неологизмы и, по-видимому, экзотически обаятельные для автора иностранные слова (И. Северянин): «Не чувствуя законов русского языка, не слыша, как растет и прозябает слово, он предпочитает словам живым слова, отпавшие от языка или не вошедшие в него». В противоположность этому у Иннокентия Анненского О. Мандельштам от-

мечает «безграничную веру... в могущество слова» (И. Анненский), т.е. опять-таки в его порождающие, креативные возможности. Они блестяще раскрыты в вышеприведенном фрагменте с помощью растительной метафорической модели слова.

В общую систему представления живого и неживого как единой эволюционирующей структуры укладывается и антропоморфная метафора слова: «Слово-Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает... ту или иную предметную значимость» («Слово и культура»). С помощью метафоры здесь подчеркнут и интерпретационный момент в наречении словом вещи, избирательность тех признаков, которые отмечаются словом в процессе освоения мира человеком в зависимости от уровня его знаний, интенций и потребностей. Слово и душа человека оказываются изоморфными: «Душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая и нежная Психея» («О современной поэзии»). Согласно «Мифологическому словарю» «Психея (Психе), греч. — олицетворение человеческой души: обычно изображалась в виде бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки... В “Метаморфозах” Апулей объединил различные мифы о П., сочетая при этом мотив страдающей, мучающейся души с распространенным у разных народов сюжетом о чудесном суженом (у Апулея — Эротом или Амуром. — Н.С.)» [12: 133].

Необходимость ценностного упорядочивания реальности, воспроизведения традиционных историко-культурных форм — характерные для акмеизма черты, получающие у И. Смирнова объяснение в терминах негэнтропии, — повлекли за собой глубокую лексическую разработку в прозе О. Мандельштама ключевых, базовых концептов в истолковании мира — концептов *порядок* и *хаос*.

Идеи образования порядка из хаоса пронизывают, например, статью, посвященную творчеству А. Блока. И это не случайно, если помнить о преемственности поэтических направлений в русской культуре. По словам Х.Э. Керлота, автора «Словаря символов», «идея порядка очень существенна в символизме и выражается посредством упорядочивания пространства, геометрических форм и чисел, а также расстановки живых существ в качестве символов в положения, определяемые законом соответствий» [8: 63]. Вместе с тем, поэзия А. Блока противопоставле-

на О. Мандельштамом поэзии символистов именно по параметру порядок / хаос; хотя эти концепты и не названы, в тексте представлены члены их ассоциативных полей: «Поэзия русских символистов была экстенсивной, хищнической... Поэзия Блока от начала до конца... была интенсивной, культурно-созидательной» (О. Мандельштам).

Помимо ситуативно-речевых антонимов способом лексической экспликации концептуальной пары, а также идеи перехода энергии среды в информацию служит апелляция к этимологическим связям слов «культура» и «культ», включение номинаций, передающих синхронизацию ритмов в универсуме, согласуемых с внутренней гармонией человека (солнце, любовь, музыка и др.): «Душевный строй поэта располагает к катастрофе (синоним распада системы, ее хаотизации. — Н.С.)». Культ же и культура предполагают скрытый и защищенный источник энергии, равномерное и целеобразное движение: «любовь, которая движет солнцем и остальными светилами». Поэтическая культура возникает из стремления предотвратить катастрофу, поставить ее в зависимость «от центрального солнца всей системы, будь то любовь, о которой сказал Дант, или музыка, к которой в конце концов пришел Блок». Таким образом, культура выступает важнейшим источником энергии (наряду с природой), гармонизирующей внутреннюю активность человека-творца. Ср. далее: «одна и та же потребность кulta, т.е. целесообразного разряда поэтической энергии, руководила его тематическим творчеством и нашла свое высшее удовлетворение в служении русской культуре и революции».

Само собой разумеется, жанр пособия позволил извлечь далеко не все лингвистические уроки из прозы О. Мандельштама, она нуждается в более пристальном рассмотрении «под лингвистическим микроскопом», но и привлекавшие фрагменты впечатляют глубиной своего проникновения в природу слова и его смысловых потенций.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Аверинцев С.С.* Судьба и весть Осипа Мандельштама // Осип Мандельштам. Соч.: В 2 т. Т. 1. — М., 1990.

2. *Ботвинник М.Н. и др.* Мифологический словарь. — М., 1994.
3. *Вайнрих У.* Лингвистика лжи. Язык и моделирование социального взаимодействия. — М., 1987.
4. *Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* Дом бытия языка. Учение о логоэпистеме. — М., 2000.
5. *Винокур Г.О.* Избранные работы по русскому языку. — М., 1959.
6. *Генис А.* Модернизм как стиль XX века // Звезда. 2000. № 1.
7. *Казарин Ю.В.* Проблемы фоносемантики поэтического текста: Учеб. пособие. — Екатеринбург, 2000. *Он же.* Поэтический текст как уникальная функционально-эстетическая система. — Екатеринбург, 2000.
8. *Керлот Х.Э.* Словарь символов. — М., 1994.
9. *Князева Е.Н.* Топология когнитивной деятельности: синергетический подход // Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000.
10. *Кобозева И.М.* Лингвистическая семантика. — М., 2000.
11. *Колесов В.В.* Жизнь происходит от слова. — СПб., 2000.
12. *Красухин К.Г.* Слово, речь, язык, смысл: индоевропейские истоки // Логический анализ языка. Язык о языке. — М., 2000.
13. Логический анализ языка. Языки пространства. — М., 2000.
14. *Лоренц К.* По ту сторону зеркала // Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000.
15. *Мамардашвили М.* Необходимость себя: Введение в философию. — М., 1996.
16. *Мандельштам О.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. — М., 1990.
17. *Переверзев К.А.* Пространства, ситуации, события, миры: к проблеме лингвистической онтологии // Логический анализ языка. Языки пространств. — М., 2000.
18. *Потебня А.А.* Мысль и язык. — Киев, 1993.
19. *Смирнов И.П.* Смысл как таковой. — СПб., 2001.
20. *Телия В.Н.* Русская фразеология. — М., 1996.
21. *Утехин И.В.* По ту сторону запредельности опыта // Пограничное сознание. Канун / Альманах под общей ред. Д.С. Лихачева. Вып. 5. — СПб., 1999.
22. *Эпштейн М.* Слово как произведение: о жанре однословия // Новый мир. 2000. № 9.
23. Язык и наука конца XX века. — М., 1995.

1.3.3. Пространство слова в прозе О. Мандельштама

Продолжим опыт извлечения лингвистических уроков из прозаических текстов О. Мандельштама (см. [9]), менее изученных языковедами, чем поэтические тексты.

Пространственные образы (умственного, чувственного, этического, эстетического пространства), как и образы внутренних и внешних действий, волевых усилий, интенций, служат воплощением того, как индивиду, говорящему субъекту дано жизненное пространство в его различных ипостасях. Составители сборника «Логический анализ языка. Языки пространств» показали, как «язык предметного пространства опредмечивает непредметные сущности» [8: 108], как пространственные отношения используются «для моделирования невидимых миров... мира человека, в том числе его психической сферы» [2: 368].

В «личную сферу» О. Мандельштама включаются самые разнообразные виды пространств, начиная от тех, которые отражают физический контакт человека с миром, что вообще характерно для акмеизма, и кончая предельно широким пространством культуры, вселенной, универсума. Образцом и проводником в эти пространственные сферы для поэта служит Ф.И. Тютчев, на родство философских систем этих двух поэтов, разделенных почти столетием, указывает В.Ю. Прокофьева в анализе «языка пространства, сжатого до точки», узора как метафоры мира в поэзии О. Мандельштама [7].

Не менее интересен, хотя и менее исследован язык пространства в прозаических текстах О. Мандельштама. В его высказываниях содержатся прямые указания на пространственные потенции слова как инструкции по ожиданию возможных смыслов. Слово предстает как инобытие других видов человеческой деятельности, и его умозрительное пространство программирует семантику иных миров и событий, сценарии их развертывания. Так, необходимость доверия к слову обосновывается его ролью в драматургии: «Истинный и праведный *путь* к *театральному осязанию* лежит *через слово*, в *слове скрыта режиссура*. В театре для того, чтобы двигаться, нужно *говорить*, потому что он весь дан *в слове*» («Художественный театр и слово») [6]. Здесь автор прибегает к базовой в процессах освоения мира метафоре

пути, движения от источника к цели. Еще более отчетливо роль пространственных характеристик в моделировании театральной игры как игры со словом выступает в оценке актера и его действий на сцене: «Яхонтов — единственный из современных актеров — *движется в слове, как в пространстве...* Это *возвращение к слову*, воскрешение его самобытной силы и гибкости» («Яхонтов»). Ср. там же: «Слово для Яхонтова — это второе пространство».

Характеризуя поэтику акмеистов, С. Аверинцев отмечал: «Свой семантический вес знак получал главным образом внутри знаковых совокупностей, обладавших статусом второй реальности, а не в проекции на объект» [I: 144], с чем он связывает перекодировку значений слова во внутритекстовом пространстве. Образно-схематические модели движения в пространстве (источник — путь — цель) служат одним из способов организации внутритекстового пространства смыслов, представления мотивов и интенций автора. Часто эти модели используются О. Мандельштамом при характеристике поэтики предшественников и современников: «Для того, чтобы *прийти к цели*, нужно принять и учесть *ветер, дующий в несколько иную сторону*. Именно так и закон парусного *лабиринта*» («Разговор с Данте»). Здесь, как видим, движение в ментальном пространстве моделируется по типу лабиринта парусника в водном пространстве. Раскрывая промежуточную роль языка мысли в построении виртуальной семантики, семантики текстовых миров в лирике Адалис, О. Мандельштам прибегает к той же образно-схематической модели, сближая пространства физического и умоглядного эмоционального восприятия: «*Прелесть стихов Адалис — почти осязаемая, почти зрительная* — в том, что на них видно, как *действительность*, только *проектируемая*, только *задуманная*, только *начертанная*, только *начерченная*, *набегает на действительность* уже материальную... В лирике это соответствует состоянию человека, который набрел *на правильную мысль*, уверен, что ее *выскажет*, именно поэтому боится ее потерять и всех окружающих убедил и заразил своим волнением» («Адалис»).

Излюбленная акмеистами идея изоморфизма законов семиотического мира и естественной среды объясняет самые разнообразные свойства не только поэзии, но и прозы О. Мандельш-

тама. Это и выбор им метафорических моделей, тяготеющих к предметному миру физически воспринимаемого пространства в его трехмерности, и смена пространственных кодов в истолковании реалий культуры, и синхронизация пространства автора и адресата, и внимание к пространству научного знания (отсюда близость идей О. Мандельштама к веяниям не только начала XX века, но и современным концепциям универсального эволюционизма, развиваемым синергетикой), и развитие идей единства культуры и гуманизма.

Среди метафорических моделей особенно показательны те, которые связаны со схемами человеческого тела (верх — низ, перед — зад и др.) и ближайшим к человеку домашним (своим) или одомашненным пространством. Близкое представлением школы Всеединства и современной синергетике «ощущение мира как живого равновесия» («Утро акмеизма») делает понятным обращение О. Мандельштама к родственному коду в истолковании самых разнообразных явлений культуры. Это касается раздумий и о поэзии — «но вся современная русская поэзия вышла из *родового* символического лона» («Выпад»), и о судьбах языков: «Так в поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой *через головы пространства и времени*, ибо все языки связаны *братским союзом*, утверждающимся на свободе и *домашности* каждого, и внутри этой свободы *братски родственны* и *по-домашнему* аугаются» («Заметки о Шенье»). Горькой иронией пронизаны слова автора о современной ему филологии: «Чем была *матушка-филология* и чем стала. Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-крев, стала всетерпимость» («Четвертая проза»). Родственный код сочетается здесь с явлением текстовой паронимической аттракции. «Европейской семьей» для него является и литература: «Стихи Блока дают последнее убежище *младшему в европейской семье* сказанию-мифу» («А. Блок»). Общность европейского сознания служит опорой и в раздумьях поэта о судьбах этноса: «Вне общего *материнского* европейского сознания невозможна никакая малая народность» («Пшеница человеческая»).

Автор использует и другие метафорические модели народного культа земледелия как отражения мифологического сознания, сакрализации плодоносной земли (ср. *земля-матушка* в

фольклоре): «Здесь пласты времени легли друг на друга в заново *«вспаханном»* поэтическом сознании и *зерна* старого сюжета дали обильные *всходы...*» («А. Блок»). Ср. другой аспект использования родственного кода в осмыслении поэтики Блока и его связи с литературной традицией: «он чрезвычайно сильно чувствовал стиль как *породу*, поэтому жизнь языка и литературной формы он ощущал не как ломку и разрушение, а как *скрещивание, спаривание* различных *пород, кровей* и как прививку различных плодов к одному и тому же дереву».

Обилием биологических метафорических моделей, включая растительные, Мандельштам обязан общенаучным веяниям начала века. Его постоянно занимал вопрос, «как быть с нашей поэзией, позорно отстающей от науки» («Разговор о Данте»).

Концепт дома, жилища человека предстает базовой логоэпистемой в русской языковой картине мира (см. [3]). В статье «Гуманизм и современность» тип человеческого жилища связывается с необходимостью защиты от «землетрясений, подземных толчков» (так в пространственных образах определяются революции, уподобляясь стихийным бедствиям). В ассоциативное поле концепта *жилище, дом* здесь включаются лексемы не только своего языка, но и других европейских языков, представляя ближайшее, внутреннее пространство, освоенное человеком, «свое» как базовую общекультурную ценность. Ср.: *человеческое жилье, плоские жилища, плоскость, английский Ноте, немецкий Gemüt, русские печки, вьюшки, заслонки, свободный дом* и др. «Подземные толчки истории» (пространственная метафора чужого, враждебного мира. — Н.С.) ведут к хаосу; «Хаотический мир ворвался — и в английский Ноте, и в немецкий Gemüt, хаос поет в наших русских *печках*, стучит нашими *вьюшками* и *заслонками*». Автор привлекает культурно-носные пласты конкретно-бытовой лексики, маркирующей особенности национального жилья. Дом становится символом человеческого культурного пространства, противостоящего хаосу: «кто осмелится сказать, что *человеческое жилище, свободный дом человека* не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?» Провидчески звучат и другие слова О. Мандельштама, если иметь в виду события недавнего прошлого: «Никакие законы о правах человека, никакие принципы собственности и неприкосновенности

больше не страхуют *человеческого жилья, дома больше не спасают от катастрофы*, не дают ни уверенности, ни обеспечения».

Пространство дома в авторском осмыслении раздвигается до границ монументальной социальной архитектуры, эти пространства взаимнообратимы и входят в «личную сферу» говорящего: «*Монументальность надвигающейся социальной архитектуры* обусловлена ее призванием организовать мировое хозяйство на принципе *всемирной домашности* на *потребу человека, расширяя круг* (геометрическая модель метафоры. — Н.С.) его *домашней свободы до пределов всемирных*, раздувая *пламя* его индивидуального *очага* до размеров *пламени вселенского*». О. Мандельштам привлекает архетипические образы огня, пламени, тепла как атрибутов человеческого жилья. «Всемирная домашность», будучи необычным сочетанием, обрастает такими смыслами, как «домашняя свобода», «всемирная свобода», тепло и пламя домашнего и вселенского очага. Сема тепла как атрибута домашнего очага становится текстообразующей и в лексической парадигме следующего текстового фрагмента: «Грядущее *холодно* и страшно для тех, кто этого не понимает, но *внутреннее тепло* грядущего, *тепло* целесообразности, хозяйственности и телеологии, так же ясно для современного гуманиста, как *жар накаленной печки* сегодняшнего дня». Сравнение поддерживает благодаря многократному семному согласованию трех элементов прямое значение номинации тепла, на которое наслаиваются дополнительные переносные смыслы, создаваемые с помощью широкого круга определений, как согласованных, так и несогласованных.

Лексическая структура статьи обнаруживает удивительную последовательность в стремлении автора донести до читателя излюбленную мысль (особенно актуальную в наши дни, когда гуманизм признан важнейшим принципом философии и культуры в целом) о единстве культурного пространства, его мироустроительной, гуманистической сущности. В указанных ориентациях становится понятным обращение автора к строительной и архитектурной метафоре, объясняющей и законы социального строительства: «Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что *из него* нужно *строить*, а не для него». Низведе-

ние человека до уровня средства, строительного материала противоречит важнейшему принципу гуманизма, объявляющего человека высшей ценностью: «*Социальная архитектура* измеряется масштабом человека».

В терминах архитектурной метафоры развивается мысль о необходимости строить из соображений «высшей целесообразности». Говоря о «монументальности надвигающейся социальной архитектуры», автор указывает на ее неоднозначность, «амбивалентность»: «Простая *механическая громадность* и голое количество враждебны человеку, и не новая *социальная пирамида* (ср. новое в языке последнего времени значение этого геометрического термина. — Н.С.) соблазняет нас, а *социальная готика*», она осмысливается как «*архитектурный лес*», и в этом пространстве «громады» человеческого общества осуществляется «свободная игра тяжести и сил», здесь «все целесообразно, индивидуально и каждая частность адекватна с громадой». Нетрудно заметить, что в качестве источника метафоры выбраны номинации не любых архитектурных деталей, а тех, с помощью которых несвободное, деспотическое мироустройство (*пирамиды*) противопоставлено общеевропейским идеалам и ценностям (*готика*).

В контекст архитектурной метафоры включаются и имена собственные как символы негативных форм социальной архитектуры: «Если подлинное гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей *социальной архитектуры*, она раздавит человека, как *Ассирия* и *Вавилон*». Так свое, домашнее пространство расширяется до масштабов общечеловеческого, общекультурного и «адекватно» с ним. Как мы заметили, «адекватно» в статье и шире — в прозе О. Мандельштама — и различные типы метафорических моделей, демонстрируя безграничность метафорического пространства в творчестве автора. Добавим, что гуманистические ценности культуры осмысливаются и в терминах финансово-экономической сферы как «золотая валюта», «золотой запас», «золотой чекан европейского гуманистического наследия» и противопоставляются «временным идеям» — «бумажным выпускам». Общечеловеческие ценности — «прекрасные флорины гуманизма» должны, по мысли автора, в свой день стать «ходячей звонкой монетой».

Со способностью ассоциировать явления различных предметных областей Мандельштам связывает само понятие образо-

ванности: «Образованность — школа быстрейших ассоциаций. Ты *схватываешь на лету*, ты чувствителен к намекам — вот любимая похвала Данта» («Разговор о Данте»). Эта легкость ассоциативных сближений и чувствительность к намекам пронизывает всю прозу О. Мандельштама: «Любое слово является *пучком*, и смысл *торчит* из него *в разные стороны*» (там же). Здесь пространственные образы определяют не только смысловую сторону слова, переключаясь с интегральными концепциями лексического значения слова, с определением концепта как пучка ассоциаций, связываемых со словом (Ю.С. Степанов), но и его композиционно-стилистическую роль, радиус действия в текстовом пространстве: «Всякий *период* стихотворной речи — будь *то строчка, строфа* или цельная *композиция* лирическая — необходимо рассматривать как единое *слово*... Семантические циклы дантовских песней построены таким образом, что начинается, примерно, — “мед”, а кончается — “мед”; начинается — “лай”, а кончается — “лед”». Прогнозируя науку о Данте как «изучение соподчиненности порыва и текста», О. Мандельштам под порывами имеет в виду по существу те метафорические модели, которые стали предметом изучения когнитивистов в наши дни: «текстильные, парусные, школярские, метеорологические, инженерийные, муниципальные, кустарно-ремесленные и прочие порывы, список которых можно продолжить до бесконечности».

Пространственные образы сопровождают размышления поэта о природе поэтического труда и творчества, соединяя наивную геометрию пространства с научной его интерпретацией. Ср. в этом плане лексическую организацию двух текстовых фрагментов:

- 1) «Настоящий труд — это *брюссельское кружево*. В нем главное то, на чем держится *узор: воздух, проколы, прогулы*... Здесь разный подход: для меня в бублике ценна *дырка*... Бублик можно слопать, а *дырка* останется» («Четвертая проза»);
- 2) «В основе вальса чисто европейское пристрастие к повторяющимся *колебательным движениям*, то самое прислушивание к *волне*, которое пронизывает всю нашу теорию звука и света, все наше учение о материи, всю нашу *поэзию и музыку*» («Разговор о Данте»).

При этом в «поэтической материи» видится волновая процессуальность, обратимость. В характеристике поэзии Данте О. Мандельштам ближе всего подходит к современным синергетическим идеям: «Поэзии Данте свойственны *все виды энергии*, известные современной науке. Единство *света, звука и материи* составляет ее *внутреннюю природу*».

Изумительной представляется О. Мандельштаму и его «рефлексология речи», толкуемая как пока еще не созданная наука «о спонтанном психофизиологическом воздействии слова на собеседников, на окружающих и на самого говорящего», как родство «волновой теории звука и света». Опираясь на общенаучные представления, Мандельштам как бы предвосхищает идеи фоносемантики и психолингвистики.

Образы кружева, узора, материи, ткани, покрова как атрибутов материального пространства постоянно сопровождают у О. Мандельштама лексическую разработку поэтического пространства: «Образное мышление у Данта, так же, как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи, которое я предлагаю назвать *обращаемостью* или *обратимостью*». Внимание к колебаниям смысла и модификациям образа в поэзии объясняется с позиций, близких синергетике: «Дант по природе своей *колебатель смысла* и *нарушитель целостности образа* ... *сохранность черновика* — закон *сохранения энергетики произведения*» (о зыблении смысла в произведении с использованием синергетического аппарата говорит В.П. Мышкина — см. [5]). Ср. характеристику поэтики Ф.И. Тютчева в прозе О. Мандельштама с привлечением прецедентных текстов культуры: «Тютчев... источник *космической радости*, податель *сильного и стройного мироощущения*, мыслящий *тростник* и *покров, накиннутый над бездной*» («Эрфуртская программа»). В поэтических образах противопоставлены такие базовые координаты универсума и человеческого бытия, как космос, гармония, ноосфера и хаос, бездна, катастрофа.

Предвосхищая идеи постмодернизма об интертекстуальности, «смерти автора» и тексте как «новой ткани, сотканной из старых цитат», О. Мандельштам определяет существо прозы следующим образом: «Проза *ничья*. В сущности она *безымянна*. Это организованное *движение словесной массы*, цементированной чем угодно. Стихия прозы — накопление. Она вся —

ткань, морфология... Личность — в сторону. Дорогу *безымянной прозе*» («Литературная Москва. Рождение фабулы»). Великих прозаиков он называет «*подрядчиками грандиозных словесных замыслов*». Этот «*безымянный прозаик, эклектик, собиратель*» не создает «*словесных пирамид из глубины собственного духа*» и тем отличается от поэта-лирика.

Таким образом, антропоцентризм текстового семантического поля пространства в прозе О. Мандельштама раскрывается и в его заполнении объектами, вещами, включаемыми в «личную сферу» говорящего, и в избирательности этих «вещей», обусловленной эстетической концепцией автора, и в представлении пространства как окультуренного, своего, противостоящего враждебному, чужому пространству хаоса, и, главное, в том, что по воле автора пространство перемещается «в символический домен культуры» [4: 136].

Текстовый характер пространства языка и культуры как семиотических систем делает соизмеримым его с пространством человека — носителя культурноязыковой информации, передаваемой словом и текстом. История, культура, система языка становятся средой бытования человека как языковой личности, и временной континуум естественным образом конкретизируется с опорой на пространственные представления (известна метафора времени как перевернутого пространства и наоборот). Обратимость пространственно-временных отношений в выражении единства культурного пространства выступает в оценке О. Мандельштамом значимости поэзии В. Хлебникова: «Хлебников не знает, что такое современник. Он *гражданин* всей истории, всей системы языка и поэзии, какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что *ближе* — *железнодорожный мост* или «*Слово о полку Игореве*». Поэзия Хлебникова идиотична — в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова» («Буря и натиск»). Мерцание темпорально-локальных смыслов слов достигается и помещением их в соответствующие словосочетания, и пояснением с помощью однородных членов предложения несоотносительной лексической семантики, а также привлечением этимологических ссылок.

Здесь же раскрывается гармонизирующее влияние пространства языка и поэзии на творчество Б. Пастернака: «Собственно творческой *в поэзии* является не эпоха изобретения, а эпоха

подражания... Со времен Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой *гармонии*. Пастернак не выдумщик и не фокусник, а зачинатель нового *лада*, нового *строя* русского стиха, соответствующего *зрелости* и *мужественности*, достигнутой *языком*. Этой новой *гармонией* можно высказать все, что угодно... отныне она — общее достояние всех русских поэтов». Общеэстетическое понятие гармонии (текстовые синонимы — *лад*, *строй*) обнаруживает соответствие базовой идее синергетики образования порядка из хаоса.

Прозу О. Мандельштама пронизывают также идеи взаимодействия системы и среды (в широком понимании термина), выхода неравновесной динамичной системы на аттракторы своей дальнейшей эволюции. В поле зрения автора попадают научные концепции, помогающие осмыслить и природу поэтического, словесного творчества. Это, например, эволюционная теория Ламарка: «Самцы жвачных сшибаются лбами. У них еще нет рогов. Но *внутреннее ощущение*, порожденное гневом, *направляет к лобному отростку* “флюиды”, способствующие образованию рогового и костяного вещества. Снимаю шляпу. Пропускаю учителя вперед. Да не умолкнет юношеский гром его красноречия!» («Вокруг натуралистов»).

Любопытно, что идеи Ламарка получают и лингвистическую интерпретацию: “*Еще*” и “*уже*” — две светящиеся *точки* ламарковской мысли, живчики эволюционной славы...» И здесь же: «Итак, организм для *среды есть вероятность, желаемость и ожидаемость*. *Среда* для организма — *приглашающая сила*. Не столько *оболочка*, сколько *вызов*». Эмбриологический опыт распространяется и на процесс узнавания, воспоминания, сходного с развитием зачатка, «горошины на языке», которая «отвечает на *приглашение*, лишь вытягивается, оправдывая *ожидание*».

«Чувствительность к намекам», в высшей степени отличающая свободу ассоциаций у О. Мандельштама, созвучна синергетической идее о малых резонансных воздействиях, согласуемых со свойствами системы и имеющих большие следствия. Это сказывается и в той высокой оценке, которую давал О. Мандельштам поэтической форме вообще и ритму в частности как способу наложения гармонизирующего, объединяющего начала на линейную дискретность речи. Необходимость вхождения в резонанс с системой отмечается и в оценке бесперспективности и недобросове-

стности мессианства в расчете «на *невозможный резонанс* в *сознании* тех, к кому он обращается с подобным предложением» («Пшеница человеческая»).

Здесь же в метафорической форме развернута идея о несводимости нелинейной самоорганизующейся системы к сумме составляющих ее частей, о действии в ней иных, не механических законов, стирающих «случайные черты»: «Состояние *зерна в хлебах* соответствует состоянию *личности* в том совершенно новом и *не механическом соединении*, которое называется *народом*». Окультуривание пространства, расширение пространства дома и очага до вселенских масштабов, о чем ранее говорилось в иной связи, рисуется в терминах противостояния порядка и хаоса. Воплощением первого выступает экономика с ее атрибутами, а второго — политика: «*Политическая жизнь катастрофична* по существу... Ныне трижды благословенно все, что не есть *политика* в старом значении слова, *благословенна экономика* с ее пафосом *всемирной домашности*, ...все, что поглощено великой заботой об *устройении мирового хозяйства*, всяческая *домовитость* и *хозяйственность*, всяческая тревога за *вселенский очаг*» («Пшеница человеческая»).

И если политика становится символом разрушения, катастрофы, то экономика — символом накопления добра во всей его многосмысленности. Включая *добро* в ассоциативное поле концепта *порядок*, автор вслед за языком преодолевает в этом слове разрыв между верхом и низом, возвращает слово к первоначальной синкрете (с ней связан принцип диффузности значений многозначного слова, сформулированный Д.Н. Шмелевым), воскрешает «этимологическую память» слова: «*Добро в значении этическом* и *добро в значении хозяйственном*, т.е. совокупности утварей, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого *вселенского скарба* — сейчас одно и то же» (там же). Не случайно и в оценке роли поэзии для культуры в целом О. Мандельштам прибегает к слову *бесхозяйственность* как символу разрушительного начала, хаоса: «Право же, дурная поэзия *изнурительна для культурной почвы*, как и всякая *бесхозяйственность*» («Письма о русской поэзии»).

Исходный синкретизм слова, объединяющего разные виды пространств (физическое, ментальное, психологические и т.д.), как и пространство современного поэту научного знания, привле-

кает внимание О. Мандельштама при описании им фактов и своего, и чужого языка: «*Голова по-армянски “глух”*, с коротким придыханием после “х” и мягким “л”... Тот же корень, что по-русски... А яфетическая новелла? Пожалуйста... *Видеть, слышать и понимать* — все эти значения *сливались когда-то в одном семантическом пучке*. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вожделения, лишь потребности и опасения. Понятие *головы* вылепилось десятком тысячелетий из пучка туманностей и *символом* ее стала *глухота*. Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить...» («Путешествие в Армению»). Слово, таким образом, предстает как средство упорядочивания, накопления и сохранения культурного знания, как наименование концепта, развившегося из единого архетипического образа, зародыша.

В неявном межъязыковом сопоставлении выступают и культуроносные пласты формы слова, являясь маркерами культурного и географического пространства: «И наконец, Россия... *Защекочут* ей (певице. — *Н.С.*) маленькие уши: «*Крещатик*», “щастие” и “щавель”». Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный *звук “ы”*. («Египетская марка»). Ср. еще: «Армянский язык — неизнашиваемый — *каменные сапоги*. Ну, конечно, *толстостепенное слово, прослойки воздуха и полугласных*. Но разве все очарование в этом?» («Путешествие в Армению»). И далее следуют попытки осмыслить очарование чужого языка, тягу к нему с опорой на его звуковую материю: «Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может, даже — на какой-то глубине постыдные. Был *пресный кипяток в жестяном чайнике*, и вдруг в него бросили *щепоточку чудного черного чая*. Так было у меня с армянским языком». Бытовая метафора подчеркивает общность гедонистических переживаний, вызванных совершенно разными причинами. О. Мандельштама привлекают и особенности ментальности этноса. Они описываются с опорой на базовое в народной культуре противопоставление «свое — чужое», повлекшее создание окказионализма *чужелюбие*: «*Чужелюбие* вообще не входит в число наших добродетелей. Народы СССР сожительствоуют, как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока крошится мел» (там же).

О. Мандельштам отмечает «чудовищно уплотненную реальность» в поэзии, и эта реальность — «слово как таковое» («Утро акмеизма»). Эти смысловые сгущения возникают в поэтическом слове с учетом всех элементов его структуры и пространств, аккумуляруемых им.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Аверинцев С.* Судьба и весть О. Мандельштама // Осип Мандельштам. Соч.: В 2 т. Т. 1. 1990.
2. *Арутюнова Н.Д.* Два эскиза к «геометрии» Достоевского // Логический анализ языка. Языки пространств. — М., 2000.
3. *Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* Дом бытия языка. Учение о логозписистеме. — М., 2000.
4. *Лейвен-Турновцова ван И.* Панстратические и пантопические аспекты семантизации отклонений от нормы в стандарте и нонстандарте европейских языков // Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
5. *Мышкина В.П.* Внутренняя жизнь текста. — Пермь, 1999.
6. *Мандельштам О.* Соч.: В 2 т. Т. 2. — М., 1990. Здесь и далее цитируется по этому изданию.
7. *Прокофьева А.Г., Прокофьева В.Ю.* Анализ художественного произведения в аспекте его пространственных характеристик. — Оренбург, 2000.
8. *Рябцева Н.К.* Размер и количество в языковой картине мира // Логический анализ языка. Языки пространств. — М., 2000.
9. *Сулименко Н.Е.* Рефлексия над словом в прозе О. Мандельштама: лингвистические уроки // Стереотипность и творчество в тексте. — Пермь, 2002.

1.3.4. Лексика в процессах текстопорождения: когнитивно-дискурсивные стратегии

Известное положение о том, что собственным феноменом лингвистики является коммуникативная функция языка, знаковая система коммуникации [8, 9], безусловно, справедливо, но

отличается известной односторонностью. Поскольку всякая коммуникация содержательна, когнитивные аспекты текстопорождения и роль лексики в процессах речемыслительной деятельности не могут не привлекать внимания лингвистов, учитывающих, что когнитивные аспекты языка связаны с когнитивными структурами человека, его тезаурусом.

В пользу единства когнитивных и коммуникативных факторов лексической организации текста свидетельствует, например, разный ассоциативный потенциал слов в лексической системе языка (преимущество в этом плане отдается словам базового уровня в системе языка, часто простым; производным [6]). Кстати, именно они, будучи выразителями прототипической информации, организуют фреймы и для начальной стадии обучения языку в школе. Ср.:

- 1) *На зеленых широких лугах, возле светлой реки от зари до зари работают в сенокос люди. Густыми рядами ложится высокая пахучая трава. Медом, полевыми цветами пахнет в жаркий день свежее сено* [7: 22];
- 2) *Пришла зима. Выпал пушистый снег. Мороз сковал землю. На реке появился лед. Вышли гуси со двора и пошли на пруд. Пришли гуси на берег, а воды нет. Стоят гуси на берегу и кричат* [5: 76].

Ключевым в осмыслении взаимосвязи когнитивных и коммуникативных явлений текстопорождения становится понятие концепта, соотносимого со способами концептуализации явлений человеком. Выступая ядром лексического значения в системе языка, концепт имеет свои параллели в тексте: применительно к смыслу текста он выступает как «концепт денотата» (Е.С. Кубрякова). Актуализация значения, его осмысление в тексте, т.е. наделение смыслом, выступает как адаптация к условиям и потребностям коммуникации, в числе которых — концептуализация денотата в условиях речевого акта с его составляющими: я-здесь-сейчас. В связи с этим уместно вспомнить слова М. Бахтина: «Всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [2: 406].

Наблюдения над способами концептуализации действительности в различных условиях применения языка проливают свет на уже давно известные явления, например, квалифицируемые как лексические ошибки, нарушения лексических норм в построе-

нии высказываний и т.д. Это относится прежде всего к явлениям детской речи, так как «только через понимание генезиса значения мы поймем внутренние закономерности становления и развития языковой способности человека» [10: 6]. Генезис значения просматривается:

- в случаях родовидовых смешений: *Я хожу в школу в платье. В штанах нельзя. Ну, мальчики-то, конечно, в штанах ходят* (штаны-брюки);
- в неожиданном соединении вещественных существительных со словами иного семантического круга при создании «концепта денотата»: *Нам дали на завтрак хлеб и масло, а ножей не было, мы намазали вилкой, и получилось масло в клеточку*;
- в нерасчленении классов конкретных и абстрактных имен: *У меня из зуба шло кровотечение*;
- в ситуативной конкретизации отвлеченно-переносных значений, еще не освоенных ребенком: *Торт такой высокий, давай его есть снизу, и он начнет унижаться... Папа приедет и унизит мой велосипед*; — *Как ты написала быквы? Ничего, только наклонности не всегда хорошие*.

Показательно, что освоение соответствующего паронима влечет за собой и творческое его использование, свободу в обращении со словом: *Ты меня достал с этим наклоном, я теперь и печатные буквы пишу с наклоном, и рисую, и даже хожу с наклоном*. Семантически освоенное слово стало средством коммуникативной самозащиты, будучи употреблено в функции экспрессивно-иронического повтора.

Явления ранней категоризации обнаруживают взаимосвязь разных уровней в структуре языковой личности, хотя в каждом отдельном речевом акте яркость их проявления неодинакова. Так, лингвистически правильные высказывания могут нести информацию об особой картине мира ребенка, о детской интерпретации культурных концептов, таких как дружба, родственные отношения, социально-ролевой и другие статусы личности: *были бы мы с Юлей сестрами, мы бы не только играли, но и спали вместе; Мы с Юлей друзья, как Бонни с*

Мишкой (соседские коты. — Н.С.) Или: *Ой, у тебя такая хорошая комната, а ты в ней все диссертации пишешь, придут люди и увидят, что ты секретарша; Не люблю мужчин, они кричат на женщин. Это на кого же? На маму и на меня* (осознание своего и чужого полового статуса и связанных с ним коммуникативных прав и привилегий. — Н.С.); *Я буду беречь деда Матвея, не буду совать ему в уши апельсиновые корки* (текст обнаруживает возрастные представления о социальных нормах поведения: ребенок осознает, что его поступок не просто озорство, а хулиганство).

Ассоциативно-вербальный уровень в структуре языковой личности, взаимодействуя с тезаурусным, раскрывает механизм овладения не только знаниями о мире, но и языковыми, в частности, лексическими, семантическими знаниями. В текстовых построениях обнаруживаются отдельные элементы вербального ассоциативного поля слова, индивидуальные ассоциации, связанные с его освоением и могущие фиксировать элементы жизненного опыта, предметно-практической деятельности ребенка; проявления его метаязыковой деятельности, рефлексии над словом. Ср.: *Поставь антресоли, повесим шторы*. При всей причудливости связей слов *антресоли* и *стремянка* они, помимо фоносемантического сходства (*трес — стре*) обнаруживают и достаточно легко предсказуемые связи: помещение наверху — средство для работы наверху. Или: *Что мы проехали, похороны?* Со словом кладбище последнее сближается также по стандартным связям: процесс — место его проведения.

Узуальные лексические парадигмы, например, наименования пищи для животных, создают базу для сказочного образа, содержащего фрагмент концептуальной картины мира ребенка: *Я придумала рассказ. Встретился комбикорм с вискасом. Что ты, комбикорм, плачешь? — Как же мне не плакать? Всех цыплят сделали кошками, и я никому не нужен*.

Воображение как элемент когнитивной структуры и опирается на опыт ребенка, и служит средством расширения опыта. Эти особенности воображения фиксируются в детских высказываниях типа:

- 1) *Смотрите, какая у нее антенна* (о задней лапе кошки, которую она подняла при умывании. В другом случае о той же ситуации — «это не лапа, а леденец на палочке»);

- 2) (о перламутровом блюдецке с радужными разводами)
Оно похоже на пролитый бензин.

Не менее важны для лексической интерпретации когнитивных и семантических процессов и другие особенности воображения, отмечаемые П.С. Выготским: «Эмоция обладает... способностью подбирать впечатления, мысли и образы, соответствующие этому чувству... впечатления и образы, имеющие общий эмоциональный знак, т.е. производящие на нас сходное эмоциональное воздействие, имеют тенденцию объединяться между собой, несмотря на то, что никакой связи ни по сходству, ни по смежности между этими образами не существует налицо» [3: 14]. В обратном случае воображение влияет на чувство.

Говоря еще об одной форме связи фантазии с реальностью — о создании существенно нового, не бывшего в опыте человека, не соответствующего реально существующему предмету, — Л.С. Выготский замечает: «...однако, будучи воплощено вовне, принявши материальное воплощение, это “кристаллизованное” воображение, сделавшись вещью, начинает реально существовать в мире и воздействовать на другие вещи. Такое воображение становится действительностью» [3: 16]. Подобной действительностью становится и необычное слово, и необычное соединение слов, раскрывающее порождающие способности не только мышления, но и языковой системы определенного социума. Ср. в детской речи:

- 1) *Смотри, какая у меня выпухоль на пальце* (соединение слов и стоящих за ними образов опухоли и выпуклости);
- 2) *Обедать будешь? — Ноушки* (комбинация английского слова и русского *нетушки*);
- 3) *Мы уже были чистыми друзьями, а она ушла без меня купаться*;
- 4) *Юля такая полная, как колхозный президент*. Последний пример обнаруживает такое состояние сознания, для которого слово *президент* ближе и понятнее, чем слово *председатель*, а это сигнал смены приоритетов «взрослой» жизни. Случаи рефлексии над словом отражают попытки ребенка упорядочить и собственно лингвистические знания, хотя и не всегда достоверные: *У меня сегодня*

ня отметка на букву «а» (отлично. — Н.С.); *Дай я тебе носок зашью.* — *Бабушка, когда ты научишься правильно говорить: не зашью, а заштопаю;* *Как зовут Гулину* (кошкину. — Н.С.) *маму?* — *Путана.* — *У нее шерсть, наверное, путается все время?*

Когнитивный, тезаурусный уровень в структуре языковой личности обнаруживает себя в тематизации текста, в обозначении определенных предметных областей как фрагментов опыта, хранимых в долговременной памяти и актуализируемых в речевом акте с опорой на ключевые слова текста. Однако и здесь концепт как ядро системного лексического значения и «концепт денотата» как основа смыслопорождения не совпадают. Ср. в этом плане текстовую интерпретацию слова *имидж*:

— *Кстати, об имидже. Что кроется за эти модным ныне словом?* — *Слово «имидж» буквально переводится с английского как «образ». Это то, каким человек — в нашем случае политик — предстает перед телевизионной аудиторией. Не то, что он представляет собой на самом деле — чтобы узнать это, с человеком надо съесть не один пуд соли, а то, что средний телезритель может вынести из просмотра короткометражного выступления кандидата по ТВ. У всех людей существует устойчивый стереотип привлекательности, и умение вписаться в него может определить успех... Имидж — это все-таки очень основательный слепок с личности, и даже самые гениальные имиджмейкеры не могут сделать из монстра невинную овечку* (АИФ. 1994. 5 февраля).

В тексте интервью с психологом выявляются не только лингвистические знания (о престижности, новизне слова, его иноязычном происхождении), призванные привлечь внимание читателя, но и знания, существенные в данный момент применительно к данной ситуации с точки зрения данных участников диалога. Имея функцию накопления общественного опыта, слово оказывается диалогичным по самой своей природе: его ассоциативное поле, синтезируя разнонаправленный опыт, многообразные личностные смыслы, выступает как дискретно-континуальное образование с нечеткими границами.

Ассоциативное поле слова составляет его коммуникативный потенциал, бесконечный текст — потенцию, реализуемую в массе конкретных текстов, продуцируемых как продукт совмест-

ных усилий участников коммуникации. В этом смысле в тексте актуализируется лишь часть темного потенциала лексического значения слова с отнесением, погашением коммуникативно ненужной части и привнесением элементов вертикального контекста, и прежде всего — контекста культуры как основы выводного знания. В нашем примере истолкование концепта *имидж* предполагает опору на такие пресуппозиции, как несоответствие или неполное соответствие кажущегося и действительного, внешнего и внутреннего в человеке, присутствие в массовом, обыденном сознании определенных эталонов, стереотипов привлекательности, важных при визуальном, особенно кратковременном при ограниченности эфирного времени, восприятии. Ограниченным при смыслообразовании предстает по сравнению с узуальным значением состав носителей имиджа. Они объединяются в текстовую парадигму, коммуникативно-семантическую группу, объединенную общей темой.

Тематическое, ключевое слово *имидж* организует текстовое ассоциативное поле, выступая его стимулом: человек, политик, кандидат, личность, монстр, невинная овечка. В системе внутритекстовых связей носитель имиджа обретает разный ролевой статус, выступая в физической, психологической, профессиональной, общественной, этической ипостаси. Ср. с толкованием данного слова в «Современном словаре иностранных слов»: ИМИДЖ — (англ. букв. образ) — целенаправленно сформированный образ (какого-л. лица, явления, предмета), выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-л. в целях популяризации, рекламы и т.п. [11].

Фрагмент картины мира специалиста, делового человека продуцирует иное ассоциативное поле того же слова, ибо при тематической общности им обозначается иной фрагмент опыта: *Имидж — представление покупателей (заказчиков) о престиже фирмы, качестве изготавливаемых ею товаров и оказываемых услуг, репутации руководителей.* Ассоциативное поле складывается преимущественно из экономических ассоциатов к слову-стимулу: сфера предпринимательства, качество продукции, финансовое положение, потребитель, безотходные, экологически чистые технологии, социальное благополучие, благотворительные акции и т.д. [10].

Как видим, вхождение слова в лексическую систему языка во многом обусловлено тем безбрежным морем смыслов, которые могут с ним связываться в различных условиях коммуникации при необходимости отразить разные способы концептуализации действительности. Все это расширение смыслового пространства оказывается возможным при опоре на знак, слово как орудие продления человеческой памяти: «Все то, что помнит и знает сейчас культурное человечество, весь опыт, который накоплен в книгах, памятниках, рукописях, — все это огромное расширение человеческой памяти, являющееся необходимым условием исторического и культурного развития человека, обязано именно внешнему, основанному на знаках, человеческому запоминанию» [4: 95]. При этом Л.С. Выготский и А.Р. Лурия замечают, что у культурного человека память, если иметь в виду ее когнитивные функции, сведена к подчиненной функции «сохранения результатов, приобретенных логической разработкой понятий» [4: 82], и этим отличается от эйдетической, конкретнообразной, не отделенной от восприятия памяти примитивного человека и ребенка, господствующей над ними, часто «заслоняя субъективными построениями объективную картину мира» [4: 87].

Таким образом, логическая разработка понятия, концептуализация мира, лежит в основе когнитивных структур человека (памяти) и семантических структур языка (ср. определение М.В. Никитиным лексического значения как «концепта, связанного знаком»). Их взаимодействие рождает нетривиальные смыслы, «концепты денотата», неожиданные по поводу данной реалии внутритекстовые связи, предполагающие активность адресата в установлении выводного знания.

Элементы лексической системы языка, ориентированной на наивное обыденное сознание, налагаясь на фрагменты личностного тезауруса, рождая новые смыслы, меняют в текстопорождении и свое собственное качество. Ср., например, смену паронимических отношений слов *зрение-прозрение* на ситуативно-синонимические в следующем текстовом фрагменте: «Где только мы не ищем понимания сегодняшней жизни!.. А Савва Кулиш своим фильмом («Железный занавес». — Н.С.) направил наши поиски совсем в другую сторону — внутрь себя. И оказалось, что собственная жизнь, любой ее отрезок, восстановленный до мельчайших деталей, увиденный как бы двойным

зрением — зрением памяти и зрением опыта, — дает не только понимание: инструмент исследования (двойное зрение) становится прозрением... Священна неприкосновенность любой человеческой жизни» (АИФ. 1995. № 7).

В пределах рамочной конструкции с градационным повтором (понимание-прозрение) ментальное зрение (зрение памяти и зрение опыта) моделируется по типу визуального, причем «память» в сочетании со словом «зрение» не ограничивается от восприятия: «Не отрывая глаз от экрана, ...я начинала — в душе — создавать параллельно иное кино, свое, собственное, не менее потрясающее, кино о себе» (АИФ. 1995. № 7). Метафора здесь выступает инструментом приобретения нового знания на основе соотнесения «сигнификативного измерения (метафорической модели) и денотативного измерения (область объектов метафорического осмысления)» [5]. В нашем случае соотносится концепт *зрение* с концептом *понимание*.

Слово выступает мостиком, соединяющим научную и наивную картину мира носителей языка, этому способствует во многом рефлексия над словом в диалогической речи дилетанта и специалиста, учитывающего возможности адресата и его право на незнание существа дела. Просветительский характер мета-языковой деятельности отчетливо выступает в ответах на вопросы читателей в средствах массовой информации. Ср., например, в «АИФ»: — *Я православный верующий. Но нигде не могу найти ответа: почему наша вера называется православной?* (Ю. Хмелев. Новосибирск). — *Православие (буквально «правильно славим господа Нашего Иисуса Христа») в неприкосновенности сохраняет символ веры в Бога как творца, его триединство, искупление, воскресение из мертвых, крещение, загробную жизнь... Католические же (буквально «всеобщие, вселенские») догматы, установленные позже, после окончательного раскола церкви в XI в. (о непогрешимости папы, о чистилище, о непорочном зачатии Девы Марии и т.п.), православными церквями объявлены ошибочными, противоречащими Священному писанию и Священному преданию.*

Когнитивные предпосылки успешной коммуникации выступают и в разговорных диалогах. Так, лексическими средствами коммуникативной самозащиты выступают быстро найденные во фрейме ассоциаты, в реакциях на ошибочные, «не по адресу»

телефонные звонки: *Это прачечная? — Нет, баня; Можно товарища Соловейчика? — У нас здесь одни дрозды; Деньги давать будут? — У нас их куры не клюют.* Любопытна в плане ассоциативных возможностей ребенка его реакция на последнюю реплику: *Они про наших кур спрашивают?*

Элементы когнитивной информации — излюбленные образы, клише, проекции общественных установлений, социальных приоритетов обнаруживают ситуативные номинации разговорной речи. Ср., например, наименования кота (кошки) в бытовых ситуациях:

- 1) *Ну, что, адъютант его превосходительства* (обращение к коту, сопровождающему хозяйку на кухню, чтобы поесть);
- 2) *Ты у нас директор холодильника;*
- 3) *Ты что каждую машину взглядом провожаешь? Разве ты инспектор ГАИ?;*
- 4) *Это не кошка, а ведьма, нечистая сила, экстрасенс какой-то;*
- 5) *Не коты, а ракетеры, мафия.*

Особый интерес вызывает роль слова в описании семантики не наличного, а возможных миров, порождаемых воображением, творческой фантазией автора, обычно в книжных подсистемах языка. Описание часто выражается в антропоцентрическом ключе, пронизывающем ассоциативное поле всего текстового фрагмента: *Она* (Клавдия. — Н.С.) *хирела на глазах, если бы чьи-нибудь глаза за ней смотрели, но два ее попутчика решили уйти и ушли, а Клавдия себя не видела и не знала, что с ней* (Л. Петрушевская. Богема). Прагматический эффект возникает в результате разрушения антропоцентрической семантики ключевого для данного текста фразеологизма, словарное значение которого включает позицию наблюдателя: НА ГЛАЗАХ ЧЬИХ, У КОГО. 1. Так, что видно, заметно, известно и т.п. кому-либо. В текстовом осмыслении фразеологизма и слова-прототипа *глаза* в них отрицаются ядерные, функциональные признаки — визуального, и как следствие, ментального зрения: *глаза не смотрели, себя не видела и не знала.* Ср. также компоненты значения фразеологизма и метонимическое употребление глагола

смотреть-следить, ухаживать («за ней»). Единственным наблюдателем одиночества, бездомности, распада персонажа оказывается автор: его глазами видится жизнь, он формирует определенную картину мира читателя.

Антропоцентризм проявляется в организации лексической структуры текстов данного автора по-разному: в приложении «человеческих» номинаций к иным предметным областям живого и неживого, в отказе именовать лицо принятым носителями языка способом. Но в том и другом случае скрытое сравнение денотатов, лежащее в основе необычного соединения слов в тексте, проводится по человеческой мерке, ср.: 1. *Она несла на плече смущенную рвань в виде дворняжки с грязными по локоть ногами, а рядом ухоженный, тоже глубоко смущенный пудель...* (Л. Петрушевская. Дама с собаками); 2. *Теперь все они живут с бабушкой со стороны статуи Свободы* (так ранее в тексте охарактеризован муж. — Н.С.), и *мало этой бабушке мучений видеть больного сыночка и сироту внуку, она ведь мужа потеряла три года назад, горькая вдова* (Л. Петрушевская. Мистика). Сема бездушия, бесчеловечности, эгоизма усиливается помещением номинации «статуя Свободы» в круг терминов родства. Что касается первого примера, то ассоциация *собака* на слово-стимул *нога* — представлена и в «Русском ассоциативном словаре», хотя обратной реакции не зафиксировано, что говорит о нестойкости ассоциации, низкой ее частотности (здесь возможно и влияние фразеологизма «как собаке пятая нога»).

Влияние сходства формы на концептуальное сближение слов также отражается в данном словаре и следующем тексте: *Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой* (Л. Петрушевская. Свой круг). В подобных сближениях выступает континуальность семантики слова, гибкость и подвижность ассоциативно-вербальной сети носителя языка, ее адаптационные возможности. Сказанное относится и к межчастеречным сближениям, явлениям межкатегориального перехода, связывающим лексическую и грамматическую семантику, отражающим «размазанность» грамматики по ассоциативно-вербальной сети (если перефразировать выражение Ю.Н. Караулова). Ср.: *У Марии по пятницам сбор гостей, все приходят как один, а кто не приходит,*

то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише... (там же); у другого автора: *Были они* (Сковорода и Гоголь) оба «странными людьми» не только из-за странностей характера, но и из-за своей страннической, скитальческой, бродячей жизни с неотвязной ее спутницей — бедностью (Ю.Я. Барабаш. Г.С. Сковорода и Н.В. Гоголь: К вопросу о гоголевском барокко).

В процессах текстообразования коммуникативные ориентиры слова, как было показано, взаимодействуют с когнитивными.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора: Материалы к словарю. — М., 1991.
2. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 1991.
4. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. — М., 1993.
5. Закожуришкова В.Л., Костенко Ф.Д., Рождественский Н.С. Русский язык: Учебник для I класса трехлетней начальной школы. 10-е изд. — М., 1990.
6. Ольшанский И.Г. О новых тенденциях и области семантических исследований // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. Программа международной конференции. Ч. II. — М., 1995.
7. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник для 3-го класса. — М., 1993.
8. Сидоров Е.В. Проблемы речевой системности. — М., 1985.
9. Сидоров Е.В. Траектория лингвопрагматики: от эгоцентризма к принципу совокупной бинарности // Лингвистика на исходе XX века... Ч. II.
10. Словарь делового человека. — М., 1992.
11. Современный словарь иностранных слов. — М., 1993
12. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.Н. Молоткова. — М., 1986.
13. Шахнарович А.М., Юрьева Н.М. Психолингвистический анализ грамматики и семантики. — М., 1990.

1.3.5. Лексические новации в пространстве дискурса

В процессе становления открытого общества, развития глобализации, распространения сети Интернет возникла новая лингвистическая среда и направления ее изучения. Одним из аспектов исследований стал лингвокультурологический анализ, обращенный к системе дискурсивных практик, обслуживающих различные виды деятельности этноса.

Рекламный дискурс в сфере СМИ служит одним из основных поставщиков лексических новаций, активно используемых в различных дискурсивных практиках и подвергаемых модификациям в соответствии с теми или иными стратегиями и типами знания, востребованными этими практиками. Взаимопроникновение дискурсов особенно ощутимо в художественном тексте с первичной для него эстетической функцией, позволяющей ввести их ансамбль в широкое открытое пространство культуры.

Объектом нашего исследования в заданных ориентациях послужил текст произведения В. Пелевина «Generation “P”» [2], в лексической структуре которого представлены и те новообразования, которые зафиксированы неологическими изданиями, включая явления семантической деривации, и те, которые стали авторскими «брендами». При этом приоритетная роль в лексическом структурировании текста отводится новациям рекламного дискурса, обращение к которому мотивировано всеми элементами композиционной структуры художественного текста: темой, сюжетом, типами повествования, замыслом, образным заданием, совокупностью жанрово-стилевых приемов и т.д.

Так, согласно авторской мысли, одной из визитных карточек западного мира в отечественном сознании оказался «**клип**, рекламирующий “**Пепси-колу**”, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры». Как видим, употребление выделенных слов в художественном тексте получает культурологическую интерпретацию, давая основу авторской номинации, вынесенной в заглавие с использованием иноязычного вкрапления и ставшей символом целой эпохи в жизни страны: «Для нас важно только то, что окончательным символом поколения “**П**” стала обезьяна на **джипе**». Сквозная ироничность автора относится к предше-

ственникам и оппонентам этого поколения: «так называемые **шестидесятники**». Ср. отмечаемое СНСиЗ-80 [1] новое значение выделенного слова, развившееся у него в итоге семантической деривации: «ШЕСТИДЕСЯТНИК... Тот, кто вступил в общественно-культурное движение в СССР в 60-х гг. XX в. (после XX съезда КПСС), выражая прогрессивные устремления своего поколения. — От **шестидесятник** в знач. «прогрессивный общественно-культурный деятель 60-х гг. XIX в. России».

Постмодернистский дискурс, охотно используя «текст-в-тексте», нарочито соединяет новое и архаичное, библейское: «Именно этот **клип** дал понять большому количеству прозябавших в России **обезьян**, что настала пора пересаживаться в **джипы** и входить к дочерям человеческим». За словом обезьяна в его индивидуально-авторском употреблении стоят не только те концептуальные признаки, которые отмечены МАС (склонность к подражательству, гримасничанью, внешнее уродство), но и новые, характеризующие поколение «П»: примитивизм, грубость, невежественность, духовная неразвитость, отсутствие нравственных устоев и т.п. Появление этих концептуальных признаков связывается не с «антирусским заговором», а с общемировой тенденцией, нашедшей, например, отражение в соответствующем названии книги А. Битова «Ожидание обезьян», привлекаемом в анализируемый текст в порядке интертекстуального включения.

Обращенность к рекламному дискурсу в художественном тексте связана не только с тем, что он активно внедряет и популяризирует новообразования эпохи глобализма, но и с необходимостью речевой характеристики персонажей, участвующих в рекламном бизнесе, создающих рекламные ролики, концепции, слоганы и т.п., которые, в свою очередь, подчиняют себе сознание, систему ценностей, стиль мышления и способ выражения героев. Эти деформации часто ведут к стилевому снижению как отражению кризисного сознания, как проявлению цинизма и негативизма.

Сниженные новообразования бытуют в соседстве с книжными не только как прием авторского сатирического изображения, но и в прямой речи персонажей: «Но вся **фишка** в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха». Ср. в рекламном слогане Татарского: «Христос **спаситель**. Солидный **господь** для солидных **господ**» — и предшествующей его созда-

нию молитве: «Я ведь ничего не умею, кроме как писать плохие **слоганы**. Но Тебе, **Господи**, я напишу хороший, честное слово. Они ведь тебя совершенно неправильно **позиционируют**. Они вообще не **въезжают**. Взять хотя бы последний **клип**, где собирают деньги на эту церковь. Там стоит такая бабуля с ящиком, и в него сначала кладут рубль из “запорожца”, а потом сто **баксов** из “мерседеса”. Мысль понятная, но как **позиционирование** это совершенно не **катит**. Ведь тому, кто в “мерседесе”, **западло** после “запорожца”. **Коню ясно**. А как **target group** нам нужны именно те, кто в “мерседесах”...» Или: «**Кока-колокол и Пепси-колокол... кока-колготки, кока-колбаска, кока-Колыма**». Здесь словесное трюкачество, игра на созвучиях совершенно вытесняет из сознания персонажа содержательные последствия такого смакования, ставшего самоцелью. Ср. еще: «Мировой **Pantene-pro V! Господи, благослови!**»

Лексика сценариев рекламных клипов мало чем отличается от лексики криминальных кругов, она охотно используется в языковой игре персонажа, ставя под сомнение его законопослушность: «Голос за кадром»: «**Братан развел его втемную**. Но **слил** не его, а всех остальных. **Нескафе Голд. Реальный взрыв вкуса**».

Разрабатывая рекламную концепцию для сигарет «Парламент», «Татарский понял: история парламентаризма в России увенчивается тем простым фактом, что слово “**парламентаризм**” может понадобиться разве что для рекламы сигарет “**Парламент**”, — да и там, если честно, можно обойтись без всякого парламентаризма». Столкновение имени собственного — названия сорта сигарет и нарицательного наименования органа власти в построении сценария рекламного клипа послужило основой создания глубокого подтекста: «**Плакат** представляет собой фотографию набережной Москва-реки, сделанную с моста, на котором в октябре 93 года стояли исторические танки. На месте **Белого дома** мы видим огромную пачку “**Парламента**” (**компьютерный монтаж**). Вокруг нее в изобилии растут пальмы. **Слоган** — цитата из Грибоедова

И дым отечества нам сладок и приятен
ПАРЛАМЕНТ»

Еще один рекламный сценарий, включающий новации, связанные с разными типами дискурса, и рассчитанный на массового ад-

ресата со свойственными ему типами знания и мышления, строится с использованием близких по звучанию слов, нарочито приводимых составителем текста в смысловое соответствие, создающее эффект обманутого ожидания: «**Вещизм.** Как ныне собирается **Вещий** Олег — т.е. за вещами в Царь-град. Первый баракольщик (еще и бандит — **наехал** на хазаров). Возможен **клип** для **чартерных рейсов** и **шоп-туров** в Стамбул: **Дамы и господа!** На том стояла и стоит земля русская! Вариант — “Вернуться к Истоку”».

Элементом композиционной структуры художественного текста выступают диалогические построения и слова автора, вводящие реплики диалога. Эти текстовые фрагменты часто строятся с помощью новаций — сигналов эпохи научно-технической и сексуальной революции, социального переустройства общества, создавая эффект современности описываемых событий. Новое заимствование требует уточнения своей семантики применительно к реалиям русской жизни и особенностям ментальности заимствующего этноса, и несоответствие коннотаций слова в языке-источнике и заимствующем языке в итоге такой текстовой конкретизации не влечет за собой когнитивных лакун, хотя и служит основой имплицитной, подтекстовой информации: «Пойдешь ко мне в штат?.. — Кем? — спросил он. — **Криэйтором.** — Это творцом? — переспросил Татарский. — Если перевести? — Ханин мягко улыбнулся: — Творцы нам тут... не нужны... **Криэйтором, Вава, криэйтором.**».

Диалог персонажей может строиться на игре многозначностью слова и его ассоциативно-деривационными сближениями с лексическими новациями: «— Не надо только становиться в позу, — поморщился Ханин. — Да нет, — сказал Татарский, успокаиваясь, — вы меня не так поняли. **Поза** сейчас у всех одна, просто надо же себя правильно **позиционировать**, верно? — Верно». Или: «**Семейный доктор** между тем поднял руку в приветливом жесте, и Татарский заметил в его пальцах короткую пластиковую соломинку. — **Подсаживайтесь,** — сказал он глуховатым голосом. — **Давно подсели,** — ответил Морковин. Видимо, слова Морковина были обычной в этом месте присказкой, потому что хозяин кабинета с долей снисходительности кивнул головой».

Лексические новации разного рода (внешние заимствования, кальки, иноязычные вкрапления, внутренние вхождения),

отмечая узлы значимого для авторской концепции фрейма «вхождение в бизнес» и организуя микротему соответствующего текстового фрагмента, выполняют важную когнитивную и сюжетно — композиционную функцию: «— ...**совок** уже почти ничего не производит сам. А ведь людям надо что-то есть и носить? Значит, скоро пойдут товары с Запада. А одновременно с этим хлынет волна рекламы. Но эту рекламу нельзя будет просто перевести с английского на русский, потому что здесь другие... как это... **cultural references.**... Короче, рекламу надо будет срочно адаптировать для русского потребителя... Мы с тобой берем и загодя — понимаешь? — загодя подготавливаем **болванки** для всех серьезных **брендов.** А потом, как только наступает время, приходим с папочкой в представительство и **делаем бизнес.** Главное — вовремя обзавестись хорошими мозгами!». Согласно СНСиЗ-80, БОЛВАНКА в новом своем значении — «Условный набросок текста или музыки, заготовленный для удобства дальнейшей творческой работы (переносно, в разговорной речи)», а слово СОВОК фиксируется «Толковым словарем русского языка конца XX века. Языковые изменения» [4] в трех значениях, одновременно и нерасчлененно реализуемых в художественном тексте: «1. О Советском Союзе, советском строе. 2. О чем-л., свойственном Советскому Союзу, советскому строю. 3. О советском человеке».

Лингвоцентризм и своеобразный «культуроцентризм» мышления и способа повествования многократно обнаруживают себя в привлечении лексических новаций, в метаязыковой деятельности и интертекстуальных включениях. Так, текстовые внутренние вхождения из сферы специальной речи часто сопровождаются появлением новых концептуальных признаков, нетривиальных смыслов. Например, ментальность «совка» характеризуется как «**вялотекущий психический перитонит**, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств». Ср. также описание «странной дисфункции речи», истолкование «вавилонского столпотворения» как смешения языка, а не языков под воздействием «**мухоморной настойки**» и вопрос-размышление: «А что такое, вообще, «столпотворение»? Похоже на **столоверчение.**».

Метаязыковой анализ новообразований получает в тексте разную направленность при их осмыслении в «**докомпьютер-**

ную, самиздатовскую эру» и в эпоху предпринимательства. В первом случае персонаж понял слово «Тихамат» «как некую разновидность сопромата пополам с истматом, настоящую на народной мудрости насчет того, что тише едешь — дальше будешь», а затем оказалось, что «Тихамат то ли имя древнего божества, то ли название океана, то ли все это вместе. Татарский понял из сноски, что слово можно было примерно перевести на русский как «Хаос»». Основа такого осмысления текстовой новации — разветвленность ассоциативного поля корневой морфемы «тих», а также аллитерация на «х». Ср. эпидигматическую опору в интерпретации смыслов и других авторских новообразований как отправного момента для ориентации адресата в ментальном пространстве создателя художественного текста и его персонажей: «**Небухаданаззер**» показалось ему отличным определением человека, который страдает без **опохмелки** (ср. жарг. бухать. — *Н.С.*). Как видим, многие из новообразований оцениваются с точки зрения носителей иного мировоззрения, иной культуры, подвергаясь рефлексии и с позиций наивной лингвистики, так и с позиций металингвистики. Ср. еще: «Даже мирное слово **дизайнер**» казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту, до первого серьезного обострения международной обстановки».

Такое стереоскопическое видение слова позволяет отметить неожиданные для читателя концептуальные признаки обозначенной словом ментальной репрезентации: мирное слово, сомнительный неологизм, лингвистический лимит. Лингвоцентризм, литературоцентризм, культуроцентризм в лексическом структурировании художественного текста обнаруживает себя в разветвленности текстового ассоциативно-семантического поля номинаций соответствующего концепта, включая концепт «неология», актуальный для языкового сознания личности ввиду его связи с активно протекающими в обществе и языке процессами: «Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя **Вавилен**», которым Татарского наградила отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы **шестидесятничества**. Оно было составлено из слов «Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин». В это поле включается и неологизм **спутник**» как символ несбывшихся надежд, получающий сексологическую интерпретацию: **«четырех-**

хвостый сперматозоид так и не наставшего будущего». На основе параномастической аттракции и интереса героев к восточной мистике, **манихейству** Вавилен постепенно превращается в Вавилон, становясь словом-стимулом для дальнейшего сюжетно-композиционного и образно-тематического развертывания текста. Другим аттрактором имени собственного СССР в текстовом ассоциативно-семантическом поле стало новообразование **«попасть в нирвану»** в значении «перестать существовать».

Обращение к «наивной лингвистике» в диалогической речи персонажей связывается с необходимостью обрисовать их культурноречевую компетенцию в целом, смешение в речи элементов различных дискурсивных практик: **«Короче**, по этому договору досталось обоим. Богиню (Иштар. — *Н.С.*) лишили тела, **опустили чисто до понятия**. Она стала золотом, но не просто металлом, а в переносном смысле. Понимаешь? — Не очень. — Не мудрено, — вздохнул Азадовский. — **Короче**, она стала тем, к чему стремятся все люди, но не просто, скажем, грудой золота, которая где-то лежит, а всем золотом вообще. **Как бы идей**. — Теперь понял». Таким способом в диалоге передаются различные смыслы, связанные с концептом, обозначенным словом «золото», и разные ценностные предпочтения носителей языка.

Сакральный символизм культа богини Иштар отмечен словами золотая маска, зеркало, мухомор, **зиккурат**, причем последнее получает неоднозначное толкование, являясь одним из ключевых в организации семантического поля текста и его сюжетного движения: «Неизвестно, что имелось в виду: церемониальное восхождение на реальную постройку в Вавилоне или **галлюцинаторный опыт будущего халдея**». Галлюциногенные реакции, измененное состояние сознания лингвистически связываются с явлениями речевого распада и сменой в нем гештальтно-концептных форм ментальных репрезентаций. Ср.: «— Мне бы **захпить котелось поды**» и «он заметил, что бегают не вокруг **Гиреева, а вокруг обломка сухого ствола в человеческий рост... Гусейн** — это **столб с прибитым плакатом** “Костров не жечь!”, плохо различимым в полутьме. Это его расстроило — как оказалось, **Гиреев и Гусейн** заодно».

Семантические новообразования достигаются в художественном тексте также индивидуально-авторской семантизацией общепринятых номинаций и выбором определенных метафорических

моделей, гештальтов для прояснения абстрактных концептов. Так, «**вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией**», а вечность как ментальное пространство и крах веры в «сомнительную вечность» коммунистической идеи рисуются на основе компьютерной, автомобильной, ландшафтной метафорической модели: «Само **пространство**, куда были направлены эти прежние взгляды (взгляд ведь всегда куда-то направлен), **стало сворачиваться и исчезать**, пока от него не осталось только **микроскопическое пятнышко на ветровом стекле ума**. Вокруг **замелькали** совсем другие **ландшафты**».

Символический смысл придается и когнитивному термину в описании бытовых артефактов отечественной культуры: «остроносые ботинки на высоких каблуках, сделанные из хорошей кожи», но «простроченные голубой ниткой и украшенные большими золотыми пряжками в виде арф», иронически оцениваются как «**наш гештальт**».

К числу новаций следует отнести и многочисленные встречающиеся в тексте кальки с английского, выступающие в системе интертекстовых связей политического и художественного дискурсов: «стоило ли менять **империю зла** на **банановую республику** зла, которая импортирует бананы из Финляндии». Ср. в СНСиЗ-80: «2. И. зла. Об СССР и странах социализма (с позиций американской пропаганды второй пол. 80-х гг. (*газ.-публ.*)); в СНС русского языка 1950—1980 гг. [3]: «Б. Республика. О некоторых государствах Центральной Америки, ставших сельскохозяйственным придатком США».

Элементы структуры художественного текста оправдывают обращение его автора к лексическим новациям разных типов дискурса и создание на их основе своих собственных новообразований, особенно это касается сферы информационных технологий: **медиакратия, телекратия, вауеризм, вау-символ, вау-импульс, заппинг, рекламный врез, прайм-тайм, PR-сервис, PR-шестерка, суггестивные шизоблоки, таблоиды, компьютерный монитор, ксерокс, видеоряд, визуальная неинформативность, граффити, щитовая реклама, лазерный принтер, мышка, терминал, курсор, меню, видеопроектор, рендер-сервер, эксклюзив, панель управления, исходник, копирайтер, раскадровка, логотип, скрытая камера, скелетон, лазерный сканер, мыльный текст, снимок-прототип, цифровая сетка, анимация, анимационная вставка** и мн. др.

Не менее значимы в тексте новации общенаучного дискурса: **парадигматический сдвиг, когнитивный диссонанс, код поведения, культурный символ, бархатная революция, политкорректность, монетаристическая феноменология, транскультурный архетип, визуально-психические генераторы, техномодификация, виртуальный субъект, клетки-монады, кумулятивный эффект, клон, метаболит, психоделик, морфины, опиаты, оральный, анальный, латентный гомосексуалист, неясная сексуальная ориентация, народные архетипы, фильм-антиутопия, поп-культура, социальный локатор, русская идея, альтернативная музыка** и мн. др.

Многие негативные явления современности также рисуются в словах, ей присущих. Отсюда такое обилие новаций, связанных с наркоманией, криминалом, сферой паранормальных явлений: **глюк, глючить, колбасить, доза, отходняк, дозняк, кокаин, спид, ЛСД, кислота, разбодяженный кокаин, переклинивало, тебя кумарит, охранники, телохранители, мафия, террорист, ваххабит, боевик, метелили, кинули, грохнуть, братва, чурки, быковать, валить, крыша, лохи, ботва, телега, базар, пара важных терок, профессиональная «феня», гэбисты, мусора, наехали, стрелка, перевести стрелку (на кого. — *Н.С.*), не гони волну, вышел из штопора, разводит и грузит, отступные, контрольный выстрел, реально крутой чечен, бомжеватый, отмажемся, черный нал, медитация, мантра, спиритический сеанс, просветленный дух, сансарическое существо, оккультная группа, сайентолог, кармическое видение, астральное тело, летающая тарелка, планшетка, кристалл** и др.

Вместе с тем очень активны внутренние вхождения из религиозного дискурса: **Библия, Храм Христа Спасителя, Господь, Будда, буддизм, лама, Аллах, апофатическое богословие, хасид, феска, богоугодное дело, мечеть** и др.

И конечно, серьезный поставщик разного рода новаций для художественного текста — экономический и бытовой дискурсы, связанные с первичными, базовыми сферами человеческой деятельности и ее артефактами: **менеджер, офисное пространство, лэйбл, фермеры и малый бизнес, кредит, российская экономическая политика, рыночная экономика, свободный рынок, коммерсант, твердая валюта, рыночная демократия, средний класс** (в посвящении к книге — «Памяти среднего класса»), **спонсор, кредит, растоможенный, имиджевая политика, дист-**

рибьютор, брокер, бренд-нэйм, бутик, рекламный бизнес, скидывать товар, проплатить, годовая потребительская корзина, контракт, контора, заказчик рекламы, фирма-эмитант, корпоративная экономика, сэйл, рекламное агентство, бабки крутятся, баксы, гринь, песо, банкрот, малое предприятие «Эверест» (авторский каламбур — *Н.С.*), бармен, пицца, шаурма, гамбургер, барбекю, кола, текила, бухло, китайский ресторан, тонированные стекла, кроссовки, кеды, «лавэ», прикид, прокладка, силиконовый протез, пирсинг, галогенные лампы, мобильная связь. Приметами нового образа жизни поколения «П» выступают названия новых сортов напитков и марок автомобилей: «Смирновская», «Абсолют», «Кока-Кола», «Спрайт»; «мерседесы», «тойоты», «джип «чероки», «БМВ», «линкольн», «мазда», «чайка», «кадиллак» (ср. их номинации в разных дискурсах: **иномарки, тачка**).

И это далеко не все виды дискурсивных практик, которые дали жизнь новообразованиям (узуальным иokkaзиональным), организующим лексическую структуру художественного текста и служащим для адресата ориентирами в ментальном пространстве автора как представителя определенной культуры.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 1980-х годов. — СПб., 1997.
2. Пелевин В. Generation «П». — М., 2004.
3. Словарь новых слов русского языка 1950—1980 гг. — СПб., 1995.
4. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения. — СПб., 1998.

1.4. ТЕКСТ И КАРТИНА МИРА

1.4.1. Мир образов и образ мира в лексической структуре текста

Понимание картины мира (КМ) как подвижной, динамичной системы образов и представлений, определяющей поведение

людей, позволяет связать отдельные образы текстового пространства со всей КМ этноса, социальной группы, отдельной языковой личности, с их культурой. Эти образы, объективируемые в лексическом пространстве текста, служат отражением определенных фрагментов целостного образа мира, реализуемых в семантике возможных миров, в различных типах дискурсов, в различных культурных кодах. Согласно данным «Философского словаря» [11], картина мира целиком определяет своеобразие восприятия и интерпретации любых событий и явлений, служит фундаментом действий человека в мире.

Когнитивно-культурологический подход предполагает принципиальную неразграниченность для нашего сознания лингвистических и энциклопедических знаний; фильтрующая информация роль картины мира обнаруживает себя в управлении поведением человека, своим и чужим, в рефлексии и саморефлексии. По словам Л.С. Выготского, «сознание есть орган отбора, решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы можно было действовать. И в этом его положительная роль — не в отражении (отражает и непсихическое; термометр точнее, чем ощущение), а в том, чтобы не всегда верно отражать, т.е. субъективно искажать действительность в пользу организма» [3: 347].

Значимость истоков, корней формирования сознания и связанной с ним картины мира как целостного его образа подтверждается и новейшими исследованиями: установлено, что при усложнении степеней рефлексии «мышление как адаптивный процесс исчезает, т.е. перестает служить своему прямому назначению... общий закон развития состоит в том, что всякая неудача, всякий провал ведут к регрессу, вызывают возвращение к корням. Изпод рациональной оболочки проступают бессознательные архетипы магического поведения» [10: 331, 246]. Вместе с тем, «высочайший взлет духа, приводящий к прозрению судеб мира, рождается из высочайшей культуры мышления. Последнее, сделав виток, снова приходит к осознанию необходимости видеть мир в его первозданной чистоте... Так что “Спаситель” мира и его “Губитель” сидят в одной шкатулке!» [10: 339]. Примером такого витка мышления на пути к прозрению судеб мира может служить правозащитная деятельность А.Д. Сахарова, не пожелавшего остаться в истории только отцом водородной бомбы, т.е. представителем технократической, левополушарной цивилизации в одном из ярчайших ее проявлений.

Формирование всех структур мозга человека, и древних, и новых, под влиянием его потребностей, мотивационной сферы стало предметом внимания ученых-специалистов по нейронаукам, интересующихся когнитивными проблемами [8].

Математическая теория интеллекта также утверждает, что на базе врожденных структур-архетипов возникают модели конкретных объектов и ситуаций, а связь инстинктов с концепциями осуществляют эмоции. На этой основе выдвигается гипотеза о гибели древних цивилизаций, культур как следствии нарушения синтеза языка и мышления, превалирования дифференцирующих тенденций, отрывающих творчество от потребностно-мотивационной сферы человека [9]. Оспаривая тезис структуралистов о произвольности языкового знака, автор формулирует мысль, неоднократно подкрепленную фактами истории языка (в трудах А.А. Потебни и др.) и современными исследованиями, отводящими особую роль корню слова в формировании концепта [В.В. Колесов]: «новые слова в языке возникают вовсе не как случайные сочетания звуков, а в результате медленного процесса дифференциации слов, происшедших когда-то от *общего корня понятия*» [9: 209]. Приведенная аргументация раскрывает новые грани отношений мира отдельных образов ментального пространства и образа мира, картины мира в целом.

Если рассматривать контекст в широком культурологическом плане, как среду бытования языка и его единиц, связь лингвистических и энциклопедических знаний становится еще более очевидной. По утверждению М. Бахтина, «слово не забывает своего пути и не может до конца освободиться от власти тех конкретных контекстов, в которые оно входило» [1: 418]. Эта память слова отчетливо выступает в случаях рефлексии специалиста, профессионально работающего со словом. Приведем фрагмент переписки Л.К. Чуковской с поэтом Д. Самойловым:

«Я старше Вас на 15 лет, и потому дореволюционное словопотребление *помню* (курсив автора. — Н.С.), а Вы знаете его только из книг и допускаете некоторые невозможности. Так, например, слово *“переживать”* не употреблялось так, как употребляет его м-ме Алевтина; переживать можно было и горе и радость, оно употреблялось всегда с дополнением (“Я пережил потрясение, счастье, смерть отца”); это только теперь “она так переживает” значит: расстраивается, волнуется, огорчается:

“Она переживает, что ее сын провалился”, “Как? Ваша жена еще переживает?” и т.д. Это современное мещанское выражение — уже повсеместное — а не тогдашнее... было: “это человек *обязательный*” в том смысле, что положиться можно, а вместо теперешнего “*обязательно*” было *непреренно* (курсив автора. — Н.С.)... не говорили “*представляет*” без “себе”, если без — то “вообразите”; не говорили “к *примеру*”, но только “*например*”. Тут можете мне поверить на слово... Слово *гардероб* не значило тогда шкаф для платья (он назывался “*платьяной шкаф*” или “*зеркальный шкаф*”), а гардероб — это было *самое платье* (курсив автора. — Н.С.), т.е. вся ваша одежда в совокупности: “мой гардероб весьма скуден, убог или богат». Кроме того, слово «*забрать*» означало отнять, отобрать насильно или арестовать: «его забрали». А сейчас стали говорить: «я забрал свою шапку» вместо «взял».

Приведенные фрагменты иллюстрируют действие в языке не только собственно лингвистических закономерностей (расширение значения, метонимический перенос по пространственной смежности, семантическое стяжение и др.), но и общих тенденций к стилистическому снижению, опрощению и даже, согласно авторской рефлексии, «омещаниванию» языка, к отходу от норм интеллигентной речи. Показательно, что разговорное «к примеру» проникает даже в научные тексты начинающих лингвистов-исследователей.

Об активном влиянии историко-культурной среды на осмысление слова свидетельствуют и целенаправленные, отрефлектированные явления произвольной этимологизации: «*Аэроплан* — наркотик, продаваемый в самолетах. *Галстук* — информатор в галстук. *Гейша* — завязавший со своей нетрадиционной ориентацией. *Джек-пот* — Джек-Потрошитель на наших улицах. *Лишайник* — член комиссии по делам несовершеннолетних. *Муфтий* — слесарь по трубам. *Пролетарий* — прогоревший бизнесмен. *Страхование* — просмотр фильма ужасов. *Феномен* — мужчина, пользующийся феном. *Штукатурка* — Турецкая тысяча» (Павел Козлов. Очень толковый словарь-П).

В пользу единой природы всех видов информации, укоренности языка в человеческом бытии и деятельности говорит их общая ассоциативная составляющая, связь с такими видами мыслительных операций, как сравнение, классификация, обоб-

щение [6: 261], участие аналогии, отождествления, противопоставления в процессах речемыслительной деятельности. Кроме того, с номинацией реалии в разных языках связаны различные ассоциации со словом в зависимости от условий культуры, быта, географии и т.д., и это различие в номинативной деятельности отчетливо обнаруживают явления лакунарности, например, в случаях видо-родовых замен в языке перевода, не располагающем однословными номинациями для передачи дифференциальных признаков лексического значения слова исходного языка.

Ср. фрагмент текста Н.В. Гоголя: «бережлива старушка, и *салону* суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться племяннице внучатой сестры...». Подчеркнутая номинация переводится на немецкий язык словом “Mantel”: 1. Пальто, плащ, шинель [2]. В академическом семнадцатитомнике «салоп» толкуется как «верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук или небольшими рукавичками, теперь вышедшими из употребления». Как видим, здесь не отмечена и утрата ассоциаций, связанных со словом русского языка, в связи с изменением историко-культурного контекста.

По словам Л. Перловского, английское слово «прайвэси» (privacy) трудно перевести на русский язык, потому что оно содержит концепцию, почти не существующую в русской культуре — концепцию человеческой личности, независимой от других людей, государства и социальных институтов [9: 222]. Автор объясняет это тем, что в 1213 г. в Англии была принята «Хартия вольности», декларировавшая права частной собственности, и через два века не осталось здесь лично несвободных крестьян, в XVII веке Дж. Локк впервые в английской культуре дал идею равенства всех перед законом. «А на Руси еще в первой половине 18 века секли дворян, до конца 19 в. — крестьян, а о правах личности после 1917 года не могло быть и речи... Слово “коммунизм” в России соединилось с понятием коллективности, соборности, “все вместе”, и это было частью русской культуры... Слова языка в какой-то мере определяют сознание» [9: 222]. Так в популярной форме излагается мысль Бердяева и об истоках русского коммунизма и положения, связанные с гипотезой лингвистической относительности Сепира —

Уорфа. В тексте выражена надежда, что «слово “прайвэси” или другие слова, звучащие по-русски, но с таким же смыслом — сочетающим понятия индивидуальной личности, свободы и ответственности, — войдут в русский язык и станут неотъемлемой частью сознания» [9: 222].

И если «инстинкт к знанию соединяет концепции мысли с предметами и действиями», то мысль безусловно имеет для человека смысл и он «хочет выразить мысль словами... Например, русский человек, мысля о национальной гордости, говорит: «русский дух, Евразия», а слушающий воспринимает эту мысль как “Порабощение стран Восточной Европы”. В этом примере у говорящего и слушающего различный жизненный опыт и одна фраза вызывает различные эмоции и имеет для них различный смысл» [9: 227].

Различие в типах ментальности этносов может проявляться и в эмоциях героев художественного текста по поводу словупотребления оппонента, в разных стратегиях обращения к слову-маркеру автора и персонажа, в нарушении принципа толерантности в межкультурном взаимодействии: «Все было не по ней (американской свекрови. — *Н.С.*), все не так: и зачем Танечка чад напускает на кухню, если можно сходить поужинать в *ресторан*, и почему *получку отбирает* у супруга вплоть до последнего *цента*, и как она *смеет* говорить про него — *козел...*» (В. Пьецух. Три рассказа).

Разные ассоциации могут быть связаны со словом и у носителей одного языка в зависимости от их духовного облика, субкультуры, групповой принадлежности и становления значения в онтогенезе. Так, сходные с отмеченными выше различиями в межкультурной коммуникации признаки становятся дифференцирующими значения слов в детской речи, в диалогах со взрослыми:

«— Хлеба хочешь?

— Да.

— Тебе корочку?

— Нет, хлеба».

Или разожгли костер:

«— Это огонь или пожар?

— Это костер. (Про себя уточняет: “Нет, это не огонь и не пожар, а костер”»).

Другой диалог:

« — Наденешь пилотку?

— Нет, шапку.

Спустя некоторое время: “А пилотка что ли, тоже шапка?”»

Современная языковая личность может принимать или не принимать внешние и внутренние заимствования, более того, они привлекают внимание говорящих как слова-сигналы определенного времени, слова-хронофакты. Так, индивидуально-авторские ассоциации, не всегда совпадающие с метаязыковыми и личными, обнаруживает лексическая структура рассказов В. Пьецуха, дающего в подстрочнике толкование тех ассоциаций, которые слово вызывает: «Переворот этот заключался в том, что ничего не стало стыдно — ни голого меркантилизма, ни жестокости, ни тяги к подлым* удовольствиям, не говоря уже о том, что стало не стыдно не знать простых истин и не читать».

*В старорусском смысле — неблагородный, подлежащий угнетению за низкие умственные способности и отсутствие понятия о добре».

Опровержение философом Петушковым теории Фейербаха сопровождается рефлексией персонажа по поводу правомерности использования молодежных жаргонизмов: «Марксисты отдыхают*», так как если на первый подвопрос (человек ли создал Бога в своем сознании, или Бог воспитал человека из пустяка. — *Н.С.*) ответить утвердительно, то становится очевидной первичность сознания относительно Божия бытия. Фейербах безапелляционен в том смысле, что человек создал Бога в своем сознании. Нам, в свою очередь, ясно, что Бог воспитал человека из пустяка...

* Позже он убрал этот *вульгарный молодежный неологизм* и долго мучился в раздумье, чем его заменить».

Ср. еще: «Как раз в тот день, когда философ Петушков принял за опровержение Фейербаха, а Воронков созвонился с профессиональным мокрушником* Пружинским на предмет устранения Севы Адинокова, вдова Новомосковская написала ниже следующее письмо...»

*убийца на русской фене, безобразно грубом, но редко определенном языке» (В предчувствии октября).

Здесь можно говорить и о мире образов как отражении образа, картины мира (автора и персонажа) в связи с их персо-

носферой, семантикой имен собственных и заглавия текста: «Искусство само образует один из виртуальных миров, составляющих часть окружающей человека среды его обитания (надо добавить — и провоцируемых этой средой. — *Н.С.*) [10: 94].

Таким образом, даже элитарная языковая личность не только оказывает влияние на среду обитания, но и испытывает обратное влияние этой среды: еще Л.С. Выготский знал, что регулирование посредством слова чужого поведения постепенно приводит к выработке вербализованного поведения самой личности [4]. В этих процессах ею используются продуктивные модели современного словообразования: сложение с использованием иноязычных составляющих, семантическая деривация, обратное словообразование, как в следующих фрагментах из повести М. Чулаки «Новый аттракцион»: «Степан Васильевич теперь снова возвращался без охраны, и снова его охватывала *подъездодобия*... Старые продавщицы знали и уважали и самого Степана Васильевича, и его жену Валентину Егоровну, всегда откладывали для них, если “*выбрасывали*” вдруг какую-нибудь редкую копченую колбасу или красную рыбу. А теперь и продавщицы почти все сменились, и откладывать нет никакого смысла, все повывставлено в изобилии — а купить не на что. И слово “*выбрасывать*” вернулось к первоначальному обыкновенному значению — всего лишь избавляться от ненужной вещи (рефлексия над словом обнаруживает динамику концептуальных признаков, стоящих за словом, — одноразовости, случайности, хаотичности, пренебрежения к покупателю, и отражение этой динамики в явлении многозначности. — *Н.С.*)... Бывает, от таких ударов по башке способности открываются. Ванга болгарская тоже — едва не померла сначала, зато начала потом *ясновидеть*. Вот и я попробую... Степан Васильевич ободрял Ивана, но не хотел бы оказаться в таком положении. И не надо потом никакого *ясновидения*... Читатели-то как раз ценили и зачитывали его книги до *полураспада*, когда выпадала половина страниц, зато критики высокомерно третировали за простой прямой смысл: им подавай выверты и намеки с двойным подтекстом».

Неоправданные, не предусмотренные даже элитарной языковой личностью ассоциации могут быть объектом рефлексии специалиста-филолога: «Украшающие недостатки». Но о самом Генисе: «Точность для Довлатова была *высшей мерой*». Но ведь не расстрелом? Или: «Вечером в нью-йоркском Централ-парке

“нас окружила *стайка* чрезвычайно рослых негров”. Бывает стайка воробьев, но не СТАЙКА орлов или страусов». (К. Ваншенкин. В мое время). Автор отмечает и жанровое несоответствие ассоциативного строя текста, расцениваемое как пародия на жанр. Пародийная струя создается многократным повтором слов с семой «неопределенности» и лексем излишне общей семантики, не раскрываемой в лексической структуре текста. Нарушение норм жанра мемуаров ведет к тематической ущербности текста, его информационной недостаточности (вспомним принцип максимума информации); а также к попранию системы этических ценностей адресата, утверждению цинизма.

«Мемуаристы.

В чем смысл всяких мемуаров? Естественно, не в общих словах, а прежде всего в подробностях. Чем наблюдательней мемуарист, тем интересней, достоверней его воспоминания. “Документальный рассказ” без каких-либо деталей, черт и черточек — пародия на мемуары.

Людмила Давидович вспоминала: “Говорить о Викторе Драгунском можно долго и интересно”. Посмотрим, что же у нее получилось: «Это было в 1947 году. Я пришла в гости к моим *большим друзьям*, журналистам из “Комсомолки”, и туда же пришел *довольно молодой человек*, которого я раньше *где-то* видела, но не была с ним знакома. Шел *какой-то* довольно оживленный разговор, а потом *этот человек что-то* сказал, раздался взрыв смеха. *Все*, что он рассказывал, было *интересно и очень остроумно*... *Весь долгий* вечер он был в центре внимания. Было *какое-то* удовольствие от общения с ним”.

Я уже не говорю, как это написано. Она “пришла”, он “пришел”, разговор “шел”. “Довольно молодой человек”, “довольно оживленный разговор”. Главная особенность этого “мемуара” в полном отсутствии конкретного: “где-то — видела”, “какой-то разговор”, “что-то сказал”, даже удовольствие было “какое-то”. И все это якобы “интересно и очень остроумно”.

Или вот — прочел в воспоминаниях об Арсении Тарковском: “Я, очень обрадованный тем, что увидел старика *на своих двоих* (разрядка моя. — К.В.) гуляющим по улице...”. Но ведь мемуарист знает, что поэт потерял на войне ногу, отнятую очень высоко, и в течение десятилетий передвигался на протезе или на костылях, — и то и другое было для него мучительно!

И ведь мемуарист всю жизнь имеет дело со словом! Как же так? Может быть, все-таки внимательней себя перечитывать? Из той же книги — об актрисе: “Это была *самка-пантера в хорошем понимании* этого слова”. Добавить нечего» (там же). Неожиданное текстовое столкновение смыслов слова и фразеологизма, содержащего сближенные со словом компоненты, выявляет авторские стратегии (графически подчеркнутые) в развертывании сюжета и раскрытии смысла заглавия произведения как тематической свертки текста: «*Собрат-долгожитель приказал долго жить* (курсив автора. — Н.С.). Но это не могло быть просто так. Это не могло быть случайно. Ведь с какой *наследственностью!* С какими *генами!* И всего *каких-то 68* (курсив автора. — Н.С.). Бред!» (В. Маканин. Долгожитель).

Интертекстовая переключка как проявление единства культурного пространства участвует в осмыслении значимых элементов композиционной структуры художественного текста — его заглавия и ассоциативно-семантических полей, связанных с ним или — шире — с мотивационной сферой языковой личности главного персонажа, сближенного с автором, выявляемой в противопоставлении речевых оценок другому языковому вкусу в диалоге-споре. Ср. в этом плане два разных текстовых фрагмента, имеющих черты композиционного и лексического сходства с предыдущим:

«Другая жизнь.

У Юрия Трифонова есть превосходная повесть “Другая жизнь”... Как только его книга вышла и критика стала восторгаться сочетанием этих двух слов почти как формулой, я спросил у него, помнит ли он мою повесть... написанную за семь лет до “Другой жизни”... “Ты знаешь, критики обратили у меня внимание на эти слова, *потому что я вынес их в заголовок*”. Трудно не согласиться» (К. Ваншенкин. В мое время);

«— Лопают много, ее (собаку Феню. — Н.С.) надо Фенелопой называть, — примирительно обобщил Степан Васильевич. — Потому что у щенков сытости нет. Тем более, если бездомность в *генах*. Валя как ухватится за одно слово, так и не может отвязаться. “*Гены*”, видите, ли. А на самом деле *наследственность* штука совсем непонятная» (М. Чулаки. Новый аттракцион).

Интертекстуальные связи слов вводят, казалось бы, в совершенно чуждое им культурное пространство, оставаясь недосыга-

емым образцом в последующих интерпретациях, потому что «центральным моментом в восприятии является процесс идеализации, сотворчества, трансцендентальный скачок от реального к идеальному. Этот скачок субъект совершает на основе внутренне присущего ему стремлению к максимуму информации. Это скачок к идеалу — ближайший родственник иллюзии восприятия... прекрасной (доставляющей эстетическое наслаждение) будет не всякая реальность, а лишь достаточно близкая к идеалу, лежащая в сфере его притяжения» [10: 172]. О том, что идеал выступает аттрактором для сотворчества, свидетельствуют современные поэтические тексты:

Возле разбитого вокзала
Нешадно радио орало
Вороньим голосом. Но вдруг,
К нему прислушавшись, я понял,
Что все его слова я помнил.
Читали Пушкина...
И вдруг бомбежка. «Мессершмитты».
Мы бросились в кювет. Убиты
Фугаской грязный мальчуган
И старец, грозный, величавый.
«Любви, надежды, тихой славы
недолго тешил нас обман».

(Д. Самойлов)

На холмах Грузии лежит такая тьма,
что я боюсь, что умру в Багеби.
Наверно, Богу мыслилась на небе
Земля как пересыльная тюрьма.

(Александр Еременко)

Где, медленно пройдя меж пьяными,
всегда без спутников, одна,
дыша духами и туманами,
присаживаюсь у окна.
И веет древними поверьями
мой эксклюзивный секонд-хэнд,
и челка, травленная перьями,
и «Прима» в пачке из-под «Кент».

Чтоб незнакомец упакованный
за чаркою очередной,
внезапной близостью окованный,
увидел в барышне сюрной
с физиономией зареванной
не эту мелкую деталь,
но некий берег очарованный
и очарованную даль.

(Полина Иванова. Цит. по: [5]).

Информационная насыщенность слова и лексической структуры текста выступает следствием обработки его единиц разными типами дискурсов и отраженных в них функциональных стилей, а следовательно, разными типами мышления, знания, наборами значений и смыслов, связанных с различными ситуациями деятельности и коммуникации.

Так, рождение окказионального термина «монодиалополилог» в прозе В. Аксенова связано с обусловленностью текстового фрагмента научно-популярным стилем и жанровыми особенностями лекций, прочитанных для американских студентов. Текст требует активности адресата в постижении авторского мнения о философском содержании терминов материализм, идеализм, реальность. Ср. «Воображение и реальность».

...Вот пример монодиалополилога в седьмой аудитории Банг-Холла, дверь которой была всегда открыта на галерею, в условный воздух зимнего сада.

«— Когда вы говорите «из ничего», вы, должно быть, не имеете в виду полнейшую пустоту? Конечно. Катаев прав — ведь пустоты не существует, ведь мир же *материален*. Вы помните, он приводит надпись на памятнике Канту, появившуюся сразу после взятия Кенигсберга: «Теперь ты видишь, Кант, что мир материален». Однако мне кажется, что у господина Катаева сквозь продуманный *материализм* просвечивает стихийный *идеализм*... Но почему же? *Ведь фантазия художника — это тоже реальность*. Фантазия, быть может, не менее реальна, чем шелест листьев. Простите, но это более таинственное явление, более или менее, не правда ли? Вы шутите, сэр? О нет, я иногда полагаю, что *реальные явления*, окружающие нас, такие, как закаты, течение рек, камни, птицы, песок, не *менее таинственны, чем фантазия*. Здесь упоминается также ю-эф-оу

(UFO), т.е. «неопознанный летающий объект». Вы ведь знаете, что существует гипотеза, по которой UFO — это знаки или тела, проникающие к нам из иного измерения. Одной талантливой поэтессе и не менее талантливому прозаику кажется, что наши сочинения уже существуют в мире, и даже без нашего участия, художник лишь *называет еще неназванное*, он проникает в иное измерение и *называет* прежде невидимые тела, дает им форму, цвет и звук. Он *подменяет ими жизнь*, по мнению некоторых. Литература не всегда этична. Иногда она дурачит и подменяет собою жизнь... Я полагаю, что предметы искусства не подменяют жизнь, но становятся в ней новыми *телами*, т.е. украшают жизнь и раздвигают ее границы.

Увы, они теряют часть своей таинственности, не так ли? Совершенно верно или наоборот — правда? Быть может, *названные, они становятся еще более таинственными*? Кто сказал, что *названные нами предметы менее таинственны, чем неназванные*? Вы называете небольшое существо с длинной шерстью, хвостом и круглыми глазами cat, мы называем это существо кот, но разве менее таинственным становится это пушистое существо от *названий*? Нам (еще, пока) не под силу проникнуть до конца в истинную суть предмета — в этом и есть главное мучение искусства» (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп).

Общекультурную значимость разных видов информации, замыкающейся на слове, обнаруживает диффузность и энциклопедичность семантики идентифицирующих слов, прежде всего конкретных имен, имен собственных, синкретичность значения которых делает их неудобными для проведения семного анализа, но оптимальным объектом анализа концептуального, культурологического.

Культурная составляющая находит воплощение и в реалиях обыденного сознания, преломляемых в именах собственных как в художественных текстах, как и текстах языка практического. Ср., например, приведенную выше мотивацию клички собаки — Фенелопа или объяснение названия языческого праздника в газете «Аномалия»:

«*Купала* — праздник летнего солнцеворота.

Летний солнцеворот, макушка солнечного лета, самое красивое время года, носит на Руси емкое *имя* — *Купала*. *Купала* вмещает в себя такие понятия, как «купать», «купель», связан-

ные с купанием, как и «купу», «купину» — большой сбор, ведь на этот праздник собирается много народа. В других славянских странах этот праздник носит название «собутка», что несет в себе тот же смысл. В это время зерно скупляется в колосья, накапливает энергию. По народной молве, дети, зачатые на *Купалу*, рождаются здоровыми, красивыми и добрыми» (№ 12 (120), 1990 г.).

А победителем конкурса занимательных историй о животных (в номинации «имя») стал автор, организовавший лексическую структуру текста рассказа с помощью окказиональных имен собственных, вызывающих ассоциации с реалиями народной культуры и современной политической, бытовой, культурной (включая языковую) жизни. Ср.: «Любимый зверь.

— Хотите увидеть его мать? — спросил торговец.

— Не-е-т! — дружно заорали мы в надежде никогда не узреть матушку нашего ужасного зверя. Ведь имя ему — *Кузька*, причем появилось оно у нас раньше, чем сам зверь. А страшен он порочной склонностью к терроризму:

— он прерывает нашу связь с внешним миром, перекусывая телефонные провода, причем зарядные устройства мобильных и компьютер тоже лишаются своих жизненных артерий;

— кусает без разбору всех не знакомых ему людей, вероятно, считая их неверными, за что и прозван *Кузьма бен Ладен*.

Еще одно имя — *Кузянова* — зверюга получил за великую любовь к литературе — он буквально пожирает книги (Толкиена проглотил за каких-то пару минут) и за страсть к разнообразным плотским утехам (горе нашим котам).

Ко всему этому мы все до сих пор не можем определить, кто же этот кошмарный, столь любимый нами зверь — кроликовый бегемот или бегемотовый кролик!» (Михаил Мишталъ).

Redя

Мой кот по кличке Redя —
Желтый, как пустыня,
Он никому не *vReden*,
Лишь хомяку противен.

Он *Redко* хулиганит,
Царапается *Redко*,

Он дремлет на диване,
Как сытый рысь на ветке.

За нрав смиренный, *Reduy*,
За *Redkyu* породу,
За цвета меди морду,
Он носит имя *Redkka*.

Матвей Мишталъ
(ДКД май 04. № 582)

Имена собственные, как видим, будучи ключевыми словами текстового фрагмента и текста в целом, организуют его ассоциативно-семантическое поле, передающее фрагмент картины мира и авторскую концепцию одного из возможных миров, формирующих образный уровень текста, и выполняют в нем не только жанровую (рассказ) и стилеобразующую функцию, но и сюжетообразующую. Это относится к текстам языка не только практического, но и к художественной речи, где композиционно-стилистическая функция имен собственных особенно очевидна: «— Почтеннейшая публика, предлагаю вашему вниманию новый аттракцион! Выступает девица собачьего племени *Фенемпа* Дикая!!! (Речь идет об аттракционе в вагоне метро, придуманном для заработка пенсионером Василием Степановичем. — *Н.С.*)... А почему Дикая? Не намек на то, что *Феня* пришла из дикого собачьего племени. И тем более — не воспоминание об актере *Диком*, который когда-то играл в кино самого Сталина. *Дикая* она стала в честь *Дика*, ведь это *Дик* (пес. — *Н.С.*) ее нашел когда-то беспомощной малюткой, а не нашел бы — не было бы выступлений в метро, поздних возвращений, пьяного в *Таврическом пруду* (топоним создает иллюзию достоверности происходящих в повести событий, служит одним из сигналов художественного хронотопа. — *Н.С.*), паралича задних лап... Вот так в жизни все цепляется одно за другое. Но пассажирской публики это решительно не касалось» (М. Чулаки. Аттракцион).

В иерархической структуре культурных ценностей этические нормы, действующие в культуре, признаются одним из важнейших критериев различения картин мира в тех или иных субкультурах (об этом уже частично шла речь в предшествующем

изложении). Борьба за «свою» этическую позицию, «свою» картину мира порождает коммуникативную стратегию самообороны, особенно в условиях бытового, семейного и т.п. конфликтного общения, где несдерживаемая эмоция получает непосредственное выражение. Ср. фрагменты из «бесед» в транспорте: очень полный пожилой мужчина уступает место женщине, а та сажает свою больную внучку. Мужчина негодует, стыдит девушку. Бабушка: «Ксюша, уступи место человеку, а то ему скоро в декрет идти, он стоять не может»; в ответ на замечание пассажира «Вот поэтому они (молодежь) и садятся нам на шею» звучит реплика: «Вам это не угрожает. Садятся на умную голову». У каждой стороны своя правда, и отсутствие толерантности к ценностям другого рождает взаимное непонимание, речевую агрессию.

Культурные смыслы, утверждающие определенные этические ценности и возникающие в случаях необычных сочетаний слов или иронического использования языковых стандартов, в явлениях текстовой семантизации слова, особенно разнообразны в художественных текстах, их образной системе. Так, для выражения нетривиальной концепции автор может возвращаться к зародышу концепта, стоящего за словом, к его первоначальному, буквальному и синкретичному смыслу, раскрывая содержание ключевого слова-номинации художественного концепта в ассоциативно-семантическом поле слова. Названный прием использован в следующем тексте для интерпретации героем смысла слова «безразличие»: «Теперь я думаю, что именно тогда, поняв, что я не буду биться с майором (из-за пропавшей дочери. — *Н.С.*), Леля стала меня презирать. Не спросив и не разобравшись, почему я повел себя так, а не иначе. Ей, видимо, скучны были все мои объяснения и доводы. Я вел себя не так, как должен был, по ее представлениям, себя вести. И этого было вполне с головой достаточно. И для *презрения*, но для того, чтобы *отгородиться* от меня, *замкнуться* в себе самой и начать обрастать *скорлупой безразличия*. *Безразличия* ко всему оставшемуся. Такие *потери* порождают иногда в людях, и особенно в женщинах, именно это *состояние*. *Устойчивое состояние безразличия*. После таких *потерь* все другое *различается* плохо. И нет никакой *потребности* что-то там такое *различать*. Все окружающее понемногу или в один момент, это у

кого как — *тускнеет, теряет свои очертания и становится неразличимым, не имеющим различий, т.е. безразличным! В полном и буквальном понимании. А слова и нужно понимать буквально.* Буквально и больше никак. И сменим *тему* на противоположную и далекую. От *потерь* перейдем к *приобретениям*» (А. Хургин. Кладбище балалаек).

Для текстовой семантизации ключевого слова задействованы и стандартные причинно-следственные связи (потеря — безразличие), и вся совокупность лексикосистемных связей (от родовых в передаче различных видов состояния персонажа до метонимических, связанных с перенесением особенностей восприятия мира на его реалии, и антонимических; а также связи синтагматические (формула спокойствия, безразличия с метафоризацией состояния отчуждения) и ассоциативно-derivационные, и рефлексия над словом, и указание на тему фрагмента как элемент его композиционной структуры, но апелляция к гендерному аспекту, к препозициям в характеристике мотивационного уровня, уровня самосохранения, и др.

Разнообразные культурные смыслы, включая и этические, просматриваются в лексической структуре художественных текстов других авторов. Так, интерпретации подвергаются культурные традиции, особенности ментальности современника, его словоупотребление, его связь с типом дискурса и статусом личности, научные термины, расширяющие пучок своих концептуальных признаков и утрачивающие однозначность и точность смысла при перенесении их в иностилевую среду: «А какие у людей были *подробные отношения*. Из-за того, что телевизоры еще не появились, моя родная тетка три года переписывалась со своим женихом, который жил в соседнем колхозе, потом два года его мурыжила, наконец, вышла замуж и развелась. Говорит мне потом: «Вот что значит *скороспелые браки*». Как-то я впопыхах не обратила внимания, что он *всю дорогу* выговаривает «магАзин»... Кеша: «А что такое, по-вашему, русский *интеллигент*? Я: Наверное, это такая степень любви к самому себе, которая обеспечивает почтительное отношение к последнему пучку...

Висяк. Этим неблагозвучным словом у наших сыщиков называется нераскрытое преступление, из тех, что вообще редко

поддаются расследованию, обогащают отчетность, но *почти не влияют на профессиональное реноме...*

По причине такой *избыточной и прихотливой витальности* (грабежи, убийства, пьянство. — Н.С.) того оказалось мало, что один Сергей Христофорович Свистунов охранял по ночам *церковное имущество...*» (В. Пьецух. Три рассказа).

Близость культурных смыслов, создаваемых в обыденном сознании миром вещей и миром слов, подтверждается и данными эксперимента по выявлению особенностей национального характера этноса. Так, элементы наивной этики проявляют себя в том, что в свободном ассоциативном эксперименте у девочек 6—7 лет (80-е и 90-е годы) шкала ценностей практически не изменилась — «как до, так и после перестройки большинство “хороших” слов (тех, которые нравятся самим детям) у них были связаны прежде всего с семьей (мамочка, папа, бабушка), однако они касались и мира животных, сказок, развлечений, игрушек, природы, человеческих отношений». У мальчиков «среди “плохих” слов, хотя и назывались герои мультфильмов и фильмов ужасов, однако процент таких ответов был незначителен; основную массу составляли слова, отражающие криминальные проявления в обществе: война, зло, преступники, бандиты, стрелять, убить, Чечня, жечь, грабить, воры, кровь...» [7: 65].

Итак, картина мира как глобальный его образ находится в коррелятивных отношениях с мирами образов, создаваемых в конкретных ситуациях общения, в лексической структуре текстов.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. — Киев, 1994.
2. Большой немецко-русский словарь. — М., 2000.
3. *Выготский Л.С.* Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982.
4. *Выготский Л.С.* Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982. Т. 2.
5. *Губайловский В.* Неизбежность поэзии // Новый мир. 2004. № 2.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.

7. Мельникова А. Язык и национальный характер. — СПб, 2003.
8. Первая Всероссийская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.
9. Перловский Л. Сознание, язык и математика // Звезда. 2003. № 2.
10. Цветущая сложность. Разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов. — М., 2004.
11. Философский словарь. — М., 1991.

1.4.2. Интерпретационное поле концепта

Названный термин введен З.Д. Поповой и И.А. Стерниным для характеристики полевого строения концепта, где наряду с ядром — прототипической единицей универсального предметного кода — и базовыми слоями, обволакивающими ядро, выделена «слабо структурированная область оценок и трактовок содержательного ядра концепта национальным, групповым и индивидуальным сознанием» [6: 64]. Концепт является единицей картины мира и в этом качестве представляет интерес для ее рассмотрения. Нелимитируемость концепта особенно очевидна при обращении к невербализуемым личностным смыслам индивидуального сознания. Да и само понятие концепта оказалось востребованным в свете представлений об объективности идеального, оно появилось как вызов на стратегии семантики «возможных миров», «виртуальной реальности» [7]. Именно неисчерпаемость и принципиальная неисчислимость признаков концепта позволяет рассматривать его как элемент дискурса определенного типа [8, 9].

Соотношение ядерной и интерпретационной части концептуального поля оказывается разным в различных типах дискурса, в одних ядерная часть просматривается с достаточной определенностью, в других преобладает интерпретационное поле. Первый случай обнаруживается в попытке истолковать национально-специфическое содержание концепта в отличие от способов концептуализации явления в инокультурной общности. Ср. в этом плане лексическую разработку концепта «дружба» в статье Г. Хазагерова «Персонасфера русской культуры» [10]: «Для нас дружба — это прежде всего доверительное общение,

взаимная исповедь, осознание братства и совместной устремленности к высшему началу. И лишь в последнюю очередь это партнерство, партнерские отношения, восходящие к рыцарскому воинскому товариществу. Но ведь именно этот рыцарский союз и есть дружба в собственном, узком смысле слова, подобно тому, как любовью в узком смысле слова называется чувство между мужчиной и женщиной, а не братская привязанность».

Способами экспликации концепта здесь выступают предикатные структуры, ассоциативные поля ключевых слов *дружба* и *любовь* — номинации концепта. Иерархия признаков, позволяющих отграничить ядро и базовую часть концепта от интерпретационного поля, раскрывается текстовыми маркерами типа «прежде всего», «в последнюю очередь», ссылками на «собственный, узкий смысл» слов, историко-культурные реалии, родившие концепт.

Очень существенна сочетаемость, позволяющая ограничить содержание концептов более высокого уровня абстракции с опорой на закон семантического согласования. Концептуальные признаки, выявляемые в интерпретационном поле концепта, выводят автора на характеристику психологических особенностей этноса, обусловленных опорой на «персонасферу русской культуры»: «Однако в отношениях между мужчиной и женщиной в нашей литературе, как ни в какой другой, присутствует нечто большее, чем просто любовное влечение. Здесь и духовный союз, и целая гамма сложных чувств, иногда трогательных, как у Александра Адуева и его молодой “тетушки” Елизаветы, иногда смешных, как у Верховенского-старшего и Варвары Петровны. Ни для кого не секрет, что подобная “размытость” интимных отношений присутствует и в нашей жизни».

Следовательно, «образ жизни» в прямом смысле этого слова автор связывает с персонасферой русской культуры, которая была исходной реальностью для русской интеллигенции, ориентиром в ее жизни. Ценность «говорящих» имен собственных в культуре определяется спецификой стоящих за ними образов, задающих ту или иную норму концептуализации, образ как ментальная репрезентация объекта субъекту служит одной из содержательных форм концепта и элементов его полевой структуры. В приведенном выше тексте имена высвечивают такие признаки концепта *любовь* в его интерпретационном слое, как «смешная», «трогательная».

Но имена собственные персониферы культуры могут передавать и базовые признаки концепта, тогда как нарицательные связываться с признаками, относимыми к интерпретационному полю концепта. Мы сталкиваемся с этим, например, в художественном дискурсе в построении концепта *гармония*: «Снегопад. Чуть видны березы над оврагом. Улица становится белой, словно она деревенская, с колеями от колес. Всю жизнь, как опустится снежный занавес, замирает душа, будто перед нею долгожданный предел, за которым невыразимая печальная красота. Снегопад представляется весь сразу, как он накрывает далекие поля со стогами, притихшие леса, безлюдные, с дымками из труб деревни... Как уместна здесь музыка, скажем, второй струнный квартет Бородина! И камерные шедевры Петра Ильича Чайковского здесь всегда хороши, Шуберт и Брамс, конечно, тоже. Как соединится музыка с бесконечным шелестом снега, так и не захочешь завтра, не захочешь продолжения, неспособного стать таким вот совершенством» (Г. Новожилов. Другие жизни).

Наряду с прототипическими музыкальными образами, концепт здесь представлен и базовыми его признаками разного уровня абстракции (красота с ее конкретизаторами, музыка, совершенство). Интерпретационное поле концепта содержит в себе признаки, передаваемые номинациями, связанными с лексической темой «снегопад» (чуть видны, белый, метафора *снежный занавес*, предельно общие пространственные обозначения — сигналы универсума, погруженного в гармонию, необычные словосочетания, сближающие снегопад и музыку: *бесконечный шелест снега* и др.). Мотивом такого сближения выступает ссылка на эмоциональное состояние автора при виде «снежного занавеса» — «замирает душа».

Вообще интерпретационное поле концепта преобладает в текстах, связанных с выражением личностных смыслов, необычного мироощущения и мировидения, адекватно переданных лексической структурой текста. Так, голографически объемным и многопризнаковым, многообразным предстает концепт *страх* в «Египетской марке» О. Мандельштама. В его интерпретации используются самые разнообразные приемы и прежде всего антропоморфная метафора: «Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка. Митенка», «Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низ-

кими потолками». Страх выступает как один из актантов пропозиции, организуемой глаголом, — деятель, каузатор необычных, нестереотипных и потому устрашающих ситуаций. Но отношение к страху у автора неоднозначно: «Я люблю и уважаю страх. Чуть было не сказал: “с ним мне не страшно!” Эта неоднозначность подчеркнута и необычной, парадоксальной сочетаемостью слов, и нарушением закона семантического согласования, лежащим в основе каламбура, за которым просматривается смятенное, неустойчивое сознание субъекта.

В интерпретации страха использована и физико-математическая метаморфическая модель, несущая емкий подтекст, и сравнение: «Математики должны были построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства: они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нем». Укорененность страха в подсознании описывается с помощью метаязыковых наблюдений и типичных способов лексической передачи этого состояния, а также с переходом к «железнодорожной» метафоре. Неисчерпаемость интерпретационного поля концепта, связанная с экспликацией личностных смыслов, подчеркивается также привлечением в раскрытии концепта *страх* и элементов персониферы русской культуры, и построением словосочетаний, вскрывающих неожиданные признаки концепта, отрешенность страха от всякого рода норм, правовых, и др.

В литературе неоднозначно решается вопрос о соотношении концепта и понятия, а с этим решением напрямую связан вопрос об интерпретационном поле концепта, особенно в свете философии виртуальных реальностей. Ср. у В. Руднева: «...поскольку в определенном смысле состояние сознания любого человека является измененным по отношению к состоянию сознания других людей, то каждая реальность является виртуальной. Действительный мир... в философии виртуальных реальностей сливается с виртуальными реальностями человеческих сознаний и придуманными этими сознаниями дискурсами — идеологическими, риторическими, художественными, религиозными» [7: 80]. К сказанному можно добавить, что состояние сознания и одного человека не остается неизменным, как и его концептосфера во всех своих составляющих.

Большинство исследователей согласны с тем, что одним понятием не исчерпывается содержание концепта, однако пути их

разведения оказываются различными. Например, в попытке отграничить понятия от «других» типов концептов, таких как представление, схема, прототип, З.Д. Попова и И.А. Стернин считают понятие «преимущественным отражением научной и производственной сфер деятельности (терминология)» [6: 72]. Нечто похожее утверждает Х. Вайнрих в статье «Лингвистика лжи» [1], но его позиция представляется более гибкой. «Мистика понятий», как утверждает автор, исчезает, если учесть основной способ их детерминации — дефиницию, даже если она не названа, но общеизвестна: «детерминация значения слова, т.е. его ограничение понятия продолжает тем не менее существовать... Только кажется, что понятия существуют сами по себе. За ними стоит произнесенный контекст: определение. Лживые слова — это почти без исключения лживые понятия. Они относятся к некоторой понятийной системе и имеют ценность в некоторой идеологии. Они становятся лживыми, когда лживы идеология и ее тезисы» [1: 58]. Сказанное справедливо и для исчерпавшего себя или псевдонаучного знания. Не вполне ясно, можно ли считать понятие, представление и т.д. «типами концепта», особенно если видеть в образно-чувственных единицах универсального предметного кода (прототипах) лишь «ядро концепта» [6: 71]. В.В. Колесов рассматривает отношение концепта и понятия как отношения сущности и явления [2: 4]. Понятие предстает как одна из явленных в слове содержательных форм концепта, выступающая в процессах ментализации как результат сложения образа и символа: «Языческая магия образа и христианская вера в символ заменена преклонением перед научным термином, за которым всего лишь понятие, а не концепт» [2: 406], при этом концепт как сущность усматривается до слова, а понятие как явление — всегда в слове. Только совмещение трех точек зрения на концепт (номинализма, реализма и концептуализма), находящихся в отношениях дополнительности, «в состоянии дать объемную и в различных перспективах видения объективную картину всего семантического поля ментальности в ее развитии от концепта и к концепту» [2: 408].

Думается, что ограничение понятия областью научной и производственной деятельности человека (терминологии) не снимает остроты постановки проблемы концепта и его интерпретационного поля для других видов социальной, духовной практики.

Не отрицая важности репрезентации в слове понятия, если считать его одной из содержательных форм концепта, А.Ф. Лосев отмечал: «Слово может выражать не только понятия, но и любые образы, представления, любые чувства и эмоции, любую внесубъективную предметность» [3: 182]. Он считал необходимым дифференцировать «чисто логические понятия, понятия в чистом виде», редко используемые в реальной коммуникации.

Движение, перемещение ядерно-периферийных слоев концепта наблюдается в моменты смены культурных установок, освоения исконных духовных ценностей, в моменты духовного кризиса и прозрения. Оно прежде всего и фиксируется в художественном дискурсе, отмечающем, например, пересечение концептов «любовь» и «бог» в ментальном пространстве входящего в жизнь современника: «Он мало думал о Боге, только типа — есть или нет, — и склонялся к неприятному из-за коммунистов атеизму, но теперь ему хочется кричать совсем по-глупому: “Да здравствует Бог!” или как там правильно “Слава тебе, Господи!”. Потому что два человека, повторяющие в слиянии замысел всей вселенной, не могли получиться сами по себе. Наслаждение и Взрыв, Жизнь и Смерть, а главное — возникновение Любви из Ничего. Даже пены морской не было». (Г. Щербакова. Мальчик и Девочка). Подчеркнутые номинации передают такое состояние сознания персонажа, в котором совмещены элементы христианской и естественно-научной картины мира человека, находящегося в точке бифуркации поиска путей своей дальнейшей эволюции.

Ср. лексическую эспликацию концепта «ум» в характеристике пятнадцатилетней девочки в том же произведении. Здесь в интерпретационном поле концепта представлены признаки, связанные с архитипами сознания (концептуальными оппозициями свое-чужое), признаки ксенофобии как свойство отечественной ментальности, стереотипные образы народной культуры, признаки полярного концепта («глупость»): «У нее свой ум. Она его не очень показывает, потому как знает: люди чужой ум не любят. Они его не считают за таковой, даже если это какой-нибудь гениальный ум, людям собственная голова всегда дороже, даже если это совсем глупая голова с глупым умом, что чаще всего и бывает. Именно глупый ум гуляет теперь праздник, как говорила одна из ее бабушек до того, как злой ум запроторил ее в богадельню. Поэтому девочка молчалива и для всех “себе

на уме”. Очень хорошо, думает она, я-то на уме. А вы все на дури». Опорное слово ум — номинация концепта — репрезентирует смысловые сгущения, интеграцию отдельных смыслов, служит средством компрессии текста. Оно актуализирует фрагмент знания, служащего основой концептуализации реальности, построения личностных смыслов. Оно допускает многочисленные конкретизаторы признаков концепта, выступающих как в определениях, так и в синонимо-антонимических текстовых парадигмах, а также в элементах разлагаемого и трансформируемого фразеологизма.

Еще более значимо интерпретационное поле концепта при переконцептуализации уже известных явлений и реалий, создании новых гипотез и концепций, нарушающих привычные представления и прогнозирующих новые «возможные миры». Так, по представлениям одного из культурологов, концепт «свобода» включает в себя и языковую свободу, позволяющую мыслить стереоскопически: «Возможно, стерео-текстуальность — это будущее человеческого общения, когда языки будут служить не заменой, а дополнением один другому. Вместо пере-вода, поиска эквивалентов, возникает деятельность с-ведения и раз-ведения языков для выражения одной мысли, которая, таким образом, обнаруживает новые смыслы в процессах своих языковых перевоплощений. Стереотекст — это наложение разноязычных текстов для более рельефного, “слоисто-глубинного” представления одного комплекса идей» [12]. Речь здесь по существу идет о свободе мысли, предполагаемой свободой языкового выражения, и эти межязыковые соответствия и несоответствия выявляют все новые грани того или иного концепта и возможные концептуальные лакуны. Ср. далее: «свобода... на рубеже нового века... неотделима от двуязычия и двукультурия». Таким образом, культурологический дискурс включает такие признаки концепта «свобода», эксплицируемые подчеркнутыми номинациями, которые не укладываются в содержание концепта в языке и культуре этноса, создавая возможную перспективу языковой и культурной эволюции: «Двукультурие — это условие свободы от обеих культур, возможность более глубокого вхождения в каждую из них».

Столь же нетривиальное поле концептов «материя» и «дух» в другой статье того же автора: «материя — это скорее принцип застывания, статичности, по сравнению с протеизмом энер-

гии и еще большим протеизмом информации, которая может принимать вид формулы, гена, организма, светового луча, квантового взаимодействия... В конце концов возможно, что и человеческое существо — это многомерные потоки сигналов, проходящих через трехмерное пространство, воспринимающее свою принадлежность к иным измерениям как “духовность” или “душевность”» [13].

В этих ориентациях и концепт с его интерпретационным полем может быть представлен как один из видов протеизма информации, если иметь в виду его устремленность в будущее. См. там же: «Цивилизация будущего протеична, поскольку она состоит из потоков энергии и информации, легко меняющих свою материальную форму в конкретных условиях своего прохождения через ту или иную среду». Концепт, таким образом, может быть осмыслен и с синергетических позиций.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Вайнрих Х.* Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. — М., 1987.
2. *Колесов В.В.* Философия русского слова. — СПб., 2001.
3. *Лосев А.Ф.* Знак. Символ. Миф. — М., 1982.
4. *Мандельштам О.* Египетская марка // Исследование по философии текста. — М., 2000.
5. *Попова З.Д., Стернин И.А.* Очерки по когнитивной лингвистике. — Воронеж, 2000.
6. *Руднев В.* Прочь от реальности // Исследования по философии текста. — М., 2000.
7. *Степанов Ю.С.* Язык и метод. — М., 1998.
8. *Фрумкина Р.* Люблю отчизну я, но странною любовью // Идеологический дискурс как объект научного исследования // Новый мир. 2002. № 3.
9. *Хаззагеро Г.* Персоносфера русской культуры // Новый мир. 2001. № 31.
10. *Энттейн М.* Амероссия. Двукультурие и свобода // Звезда. 2001. № 7.
11. *Энттейн М.* Debut end siecle // Знамя. 2001. № 5.

1.4.3. Фрагмент тезауруса и тематическая сетка текста

Логика развития науки такова, что время от времени в ней происходит смена научных парадигм. В настоящее время в лингвистике все большее распространение получает подход, согласно которому «успешное моделирование языка возможно только в более широком контексте моделирования сознания» [7: 45]. С этим подходом связано пристальное внимание лингвистов к проблемам речемыслительной деятельности (С.Д. Кацнельсон, Е.С. Кубрякова, В.А. Звегинцев, В.Н. Сидоров, Г.В. Колшанский и др.), к проблемам языковой личности (Ю.Н. Караулов), дискутируется вопрос о соотношении мышления и знания, об отражении картины мира, фоновых, ситуативных знаний, информационного тезауруса в содержании лингвистических единиц и текстовых построений. Поскольку язык перестал рассматриваться только как конструкт, статичная схема, каким он предстал в рамках структурального подхода, внимание к его динамике повлекло за собой необходимость учета в научных построениях реального субъекта речемыслительной деятельности — человека с его жизненным опытом, системой ценностей, коммуникативными потребностями, суммой знаний. По словам Ю.Н. Караулова, фактически лишь в наше время языковеды научились в полной мере связывать представления о внутренней и внешней структурах языка, связывать «социальную, функциональную и территориальную стратификацию языка с теми или иными строевыми его особенностями» [6: 14].

Наблюдения психологов и психолингвистов вносят дополнительную аргументацию в положение о включенности когнитивного компонента в содержательную структуру языковой единицы. Так, А.А. Залевская, отмечая включенность слова в индивидуальном сознании в «когнитивный контекст сложившейся у человека концептуальной системы», считает, что «исследование слова в различных видах языкового контекста должно сочетаться с обязательным учетом взаимодействия последнего с когнитивным и эмоциональным контекстами, ибо вне такого взаимодействия само понятие слова как единства формы и значения теряет всякий смысл (напомним, что значение содержится не в слове, а в сознании идентифицирующего его индивида)»

[4: 164] В основе данного утверждения лежит представление о единстве психической сферы человека и положение С.Л. Рубинштейна о том, что «мышление и знание вообще неотделимы друг от друга» [8: 53].

А.А. Залевской приводится убедительная система аргументов в пользу контенсивной теории слова, изложенной Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым [3], идеи о переплетении лингвистических и энциклопедических знаний в общих схемах памяти, о вращении новой информации в старую с опорой на импликацию. И если считать аксиоматичным положение о связи языка и мышления, то естественно признание участия в формировании значения слова структуры знаний, информационного тезауруса человека как базы его речемыслительной деятельности. Непосредственной зоной соприкосновения этих двух типов знания и перехода знаний о мире в языковые выступают presupпозиции.

Не менее значимо для лингвистов положение о подобии вербальной и визуальной семантики на глубинном уровне, об образе как генетически первичной, «ядерной» структуре значения. В систему аргументации включено и положение современной логики о диалектике взаимоперехода понятия и суждения, благодаря которой понятие выступает как результат целостной совокупности суждений (потенциальная предикация как итог реальной предикации). Оно, думается, объясняет не имеющий однозначного истолкования факт включения потенциальных, скрытых сем в структуру, например, лексического значения при вероятностном его истолковании, как и правомерность самого этого истолкования, ибо если считать понятие свернутой формой суждения, то суждения тоже предстают как переменные и способные проецировать в понятие разные свои компоненты; они отражают динамику живой человеческой мысли. Из нее же выведен принцип сочетания осознаваемой и неосознаваемой психической деятельности, голографическая гипотеза хранения и свертывания информации. Ср.: «То, на чем фокусируется внимание, попадает в “окно сознания”, оно объективируется посредством слова, в то время как составляющие фон связи учитываются на подсознательном уровне и могут в случае необходимости быть объективированными через перенесение фокуса или изменение “угла зрения”» [5: 88–89].

Значимость экстралингвистических факторов в становлении языковых значений и их употреблений, понимание связи процессов человеческой памяти и тех, которые определяют производство и понимание языковых сообщений, отразились в методике привлечения планов, сценариев, фреймов для лингвистических целей. Это структуры знаний, представляющие собой «пакеты информации (храняемые в памяти или создаваемые в ней по мере надобности из содержащихся в памяти компонентов), которые обеспечивают удовлетворительную когнитивную обработку стандартных ситуаций. Они играют существенную роль в функционировании естественного языка» [7: 42]. Аспекты этой роли — обеспечение связности текста, вывода необходимых умозаключений, «контекстов ожидания», позволяющих прогнозировать будущие события на основе ранее встречавшихся сходных по структуре событий (там же).

Много общего с описанными структурами знаний имеют гнезда дескрипторов «Русского семантического словаря» (РСС), служащие фрагментами тезауруса, отражающие типовые стандартные связи в гнезде, объединенном общим понятием, и содержащие кванты информации в виде семантических множителей. Близость ролей фрейма, сценария и гнезда дескриптора ясна из предисловия к Словарю, предоставляющего право пользующемуся им на понятийном входе (от дескриптора к слову) «осуществлять выбор и реализовать дальнейшие возможности системы, например... породить из словарной статьи связный и достаточно изотопный текст для характеристики соответствующего понятия» [9: 3].

Особый интерес представляет изучение возможности и степени предсказуемости появления новых связей и смыслов на базе предусмотренных словарем «контекстов ожидания», а также границ прогнозирования текстовой информации и мотивов, определяющих эти границы.

Для анализа мы взяли серию миниатюр Ю. Бондарева «МГНОВЕНИЯ», лирико-философских по жанру и содержанию (первый фильтр, препятствующий совпадению состава гнезд дескрипторов и тематической сетки текста). Основанием для выявления зоны соответствий и расхождений связей слов в РСС и тексте послужили те миниатюры, которые имеют в качестве заглавия слово, являющееся «заглавием» в словаре, т.е. представленное в перечне дескрипторов.

Рассмотрим тематическую сетку миниатюры «ВОЙНА» в соотношении ее с гнездом соответствующего дескриптора. Прямое соответствие по составу членов обнаруживают только два слова, выступающие ключевыми в гнезде и в тексте: *война* и *солдат* (хотя в гнезде дескриптора 53 слова). Но и у этих слов и состав актуализованных сем, и их яркость отличаются от словарных. Так, в перспективе текста угасает, теряет яркость сема 'вой-' слова *солдат*, сохраняется и усиливает свою яркость сема 'вое-'. Это связано с осмыслением войны как явления, противного человеческой природе, вынужденного даже для солдата, выполняющего свой долг; вторая из названных сем усиливается благодаря повествовательной направленности текста, влекущей за собой изображение событий, процесса (*воевать*). Подобное осмысление ослабляет яркость и многих сем слова *война*: 'вра-', 'гос-' — и наводит иные семы: «зло», «жестокость». Зона расхождений определяется рематической сутью замысла: «Замысел высказывания, по современным представлениям лингвистов и психологов, двуличен. Он содержит указание на предмет высказывания и на то новое, что об этом предмете необходимо сказать. Первое принято называть темой, второе — ремой» [1: 49].

Замысел миниатюры раскрыт в заключительном, рематически значимом высказывании: «Есть периоды в человеческой истории, когда добро и зло ходят в обнимку, шатаясь от жестокого хмеля». В соответствии с этим слово *война* употреблено в рематически и тематически значимой позиции заглавия, а также в конце рассказа об убийстве нашим солдатом раненого пленного немецкого офицера: «Потом из ближней хаты вышел старик, глянул из-под ладони вслед удалявшимся солдатам, поглядел на убитого немецкого офицера, покачал головой, забормотал печально, тихо: «— Эх, война, война... А ведь мать у него, должно, где есть. Эвон молодой какой, прости господи...». И, жалостливо вздыхая, стянул сапоги с убитого, затем, подумав, и шерстяные носки снял».

В изображении драматизма войны автор отступает от стереотипных оценок ситуации, хотя и ориентируется на нормативные пресуппозиции читателя, его картину мира. Нестандартность оценки в реализации текстовой категории модальности влечет за собой нестандартное развертывание в перспективе текста и многократное усиление яркости семы «бор-» заглавного слова. Она выводит тек-

стовую парадигму за пределы прогнозируемого ожидания ввиду описания порождаемого борьбой состояния «жестокоег хмеля», психологических сдвигов, рождаемых ситуацией войны. Отсюда подключение слов и словосочетаний, раскрывающих это итоговое определение в следующих текстовых фрагментах:

«Из проулочка навстречу им, *шатаясь от возбуждения* от минуту назад пережитой атаки, выбежал коренастый солдат в распахнутом ватнике с прижатым к груди *раскаленным* стрельбой автоматом. *Злые, черноугольные глаза* солдата *неистово блеснули* на пленного, *зыркнули* на конвоира; *цигарка, зажатая в зубах, горячо разгоралась*, он *жадно* затягивался, не выпуская дым, а глотая *хриплыми вдохами*». Ср. развитие этой темы далее: «крикнул *задохнувшимся* голосом», «коренастый, *оскалясь, подскочил* к пленному», «*прохрипел* солдат», «*хрипло и страшно захохотал, как безумный*».

Иррадиация семантики доминирующей темы на другие слова текста обнаруживается в межчастеречных сближениях этих слов по семе интенсивности (состояния, движения, звучания, светоизлучения и др.). По мере развертывания сюжета меняется и характер номинации в сторону усиления неодобрительной коннотации: «коренастый солдат», «коренастый, низкорослый солдат». Она усиливается и благодаря уменьшению яркости семы 'вра-', ибо враг — это пленный, раненый, чья беспомощность постоянно подчеркивается автором по сравнению с силой и злобой победителя: «Офицер ранен, рука на перевязи, под меховой каскеткой — молодое, обросшее, испуганно заискивающее лицо»); «Он сморщился, заплакал, сгибаясь от боли и нянча свою окровавленную кисть, как ребенок. — Их есть... камрад!.. (солдат) полоснул короткой очередью в перекосенное страхом и болью лицо немца, понявшего свою смерть лишь в последний момент. Он, мокро и коротко хлопнул носом, вскинул дикие, отталкивающие неизбежное глаза, но сказать ничего не успел...» Но сила ненависти такова, что и в таком жалком виде раненый остался для солдата врагом, заслуживающим самых презрительных обозначений: «курва», «симулянт», «гад ползучий», «фашистская сволочь». Впрочем, состояние «жестокоег хмеля» распространяется и на обращение с конвоиром, не выдержавшим жестокости расправы: «Нюня ты! Баба с мокрым подолом!.. Таких, как ты... самих надо!».

Все это выходит далеко за пределы «контекстов ожидания», заложенных во фрагменте тезауруса, слишком обобщенно отражающего стандартную ситуацию общения стандартных участников речевой деятельности (это своего рода усредненный, обезличенный каркас минимального типового текста, обладающего большой долей вероятности появления). Слово же в тексте как продукте речевой коммуникации «становится фактом интерперсонального действия (а точнее, взаимодействия адресата и адресанта. — Н.С.) и, вследствие проекции... значения на каждый раз заново создаваемый мыслительно-коммуникативный фон... претерпевает ряд семантических изменений» [2: 99].

В нашем случае диалогичность текста миниатюры, ориентация на определенный образ адресата, попытка согласовать ценностные ориентации автора и читателя одним из средств своего обнаружения имеют семантические модификации слова *война* с учетом стоящей за ним ситуации, а также фоновых знаний и норм. Интерперсональные действия (включая речевые) предполагают определенные цели, которые достигаются теми или иными средствами. Диалектика цели и средства (в нашем случае языкового) удачно раскрыта в статье экономиста В. Селюнина: «Между целью и средствами расхождений не существовало, как их вообще не бывает в жизни. Ведь средства — это и есть цель в действии, в движении, в повседневной практике; в ином обличье, кроме как через средства, цель проявиться не способна» [10: 276].) До сих пор в анализе акцент делался преимущественно на расхождении фрагмента тезауруса и тематической сетки текста, обусловленных актуализацией определенных сем как явления коммуникативного, связанного с рематической направленностью актуального членения, выдвижением не любых, а коммуникативно значимых элементов смысла.

Однако проекции многих слов гнезда на лексическую структуру текста носят и предсказуемый характер, поскольку отражают достаточно стандартные связи. Это относится прежде всего к тематически ориентированной в данном тексте лексике. Так, отношения видовой зависимости связаны с ядерным словом *солдат* иные обозначения субъекта на войне: *офицер, конвоир*. С опорой на слово гнезда *враг* выстраивается текстовая парадигма слов, связанных с ним отношениями семантического сближения и противопоставления: *немец, фашист, камрад*. Со словом гнезда

вооружение соотнесены текстовые номинации *автомат, стрельба, очередь* (на следующем семантическом шаге — действие и способ действия с помощью данного вида оружия). В семантической зоне слова гнезда *поражение* находятся текстовые номинации *смерть* (следствие поражения), *убитый* (участь потерпевшего поражение), *боль, ужас, страх* (состояние потерпевшего поражение). Со словами *солдат* и *доспехи* (по семе 'вой-') связаны обозначения предметов воинской амуниции — *сапоги, каскетка*.

Таким образом, в рассмотренном случае фрагмент тезауруса при ограниченном количестве семантических шагов прогнозирует то, что обусловлено общностью темы, оставляя за пределами предсказуемого многое из того, что связано с ее интерпретацией. Потребности интерпретации могут вызывать глубокую разработку темы, обозначенной не дескриптором, а словом гнезда. Так, слово *оружие*, отсутствующее в гнезде дескриптора *война*, введено в качестве рядового члена в гнездо дескриптора *орудия* по семам «приспо-», «тех-», «среде-». Однако это слово тяготеет и к членам рассмотренного выше гнезда *война: вооружение, вооружать*.

Словом *оружие* названа еще одна миниатюра Ю. Бондарева. Ее тематическая сетка выстраивается с опорой на межгнездовые связи слов *война* и *оружие*. Здесь детально разработана прогнозируемая РСС система родо-видовых отношений, отношений части — целого, предназначенности и др. Ср.: *орудие* (смерти) — *оружие* — *парабеллум* (*рукоятка, спусковая скоба, спусковой крючок, предохранительная кнопка, патроны*), а также *браунинг, вальтер* (*ствольные коробки, рукоятки, мушки, дульные выходы, пульки*), они же названы *пистолетами* (родовое обозначение), *шмайссер* (тут же родовое — *автомат*), *пищали, сабли, кортики, кинжалы, секеры, пистолеты*. И далее: *оружейные ложи, эфесы, рукоятки мечей*. Прозрачны связи с обозначением материала, из которого сделано оружие: *металл* парабеллумов, *никель* ствольных коробок. Конечно, такая детализация, с включением серии элементов военной терминологической парадигмы, в художественном тексте не случайна: она задана образом автора — участника войны, знающего толк в оружии и ценящего его своеобразную красоту и целесообразность. Этот мотив обращения к теме изложен в зачине: «Когда-то, очень давно, на фронте, я любил рассматривать трофейное оружие».

Названный аспект обусловил способы выражения субъективной модальности, любования красотой и целесообразностью: «гладко-отшлифованный металл», «вороненая чернота», «игрушечная миниатюрность», « пленительный перламутр рукояток», «изящные мушки», «в этих пистолетах все было удобно, аккуратно, все сияло женственной нежностью, и была ласковая смертельная красота в легких и прозрачных крошечных пульках», «совершенный по форме автомат», «эстетическая стройность прямых линий и металлических изгибов». Такая поэтизация оружия оправдана тем, что оно служит воплощением «человеческого таланта». Но вся миниатюра построена на контрастах (ср. начало «когда-то» и конец: «Теперь же, проходя по залам музеев, увешанных оружием всех времен... я с тошнотным чувством сопротивления спрашиваю себя: “Почему люди, подверженные, как и все на земле, ранней или поздней смерти, делали и делают оружие красивым, даже изящным, подобным предмету искусства”? Есть ли какой-нибудь смысл в том, что железная красота убивает самую высшую красоту творения — человеческую жизнь?»). К этому выводу подводят читателя и более ранние фрагменты: «...во всем готовом к убийству механизме была чуждая томящая красота, какая-то тупая сила призыва к власти над другим человеком, к угрозе и подавлению»); «Тогда, более тридцати лет назад, я многого не понимал и думал: наше оружие грубее немецкого, и лишь подсознательно чувствовал некую противоестественность в утонченной красоте орудия смерти, оформленного, как дорогая игрушка, руками самих людей, смертельных, недолговечных» (там же).

Таким образом, лирико-философский характер миниатюры как отражение авторского замысла обусловил зоны расхождения (и очень значительные) фрагментов тезауруса и тематической сетки текста, привел во взаимодействие члены разных смысловых зон. Система номинаций эстетического плана служит основой утверждения о подлинной красоте, свойственной только жизни в ее противостоянии смерти. Между этими полюсами располагается весь спектр эстетических обозначений: «чуждая томящая красота», «ласковая смертельная красота», «гармонично сконструирован... совершенный по своей форме автомат», «эстетическая стройность линий и изгибов», «утонченная красота орудия смерти», «железная красота», «краси-

вый, даже изящный, подобный предмету искусства», «высшая красота творения — человеческая жизнь». С авторской концепцией связана пространная текстовая парадигма слов, объединенных общим смыслом «уничтожение»: *убийство, сила, власть, угроза, подавление, смерть, смертельный, недолговечный, убивает*. В миниатюрах, как в стихотворном тексте, видимо, в силу их лирической направленности, тоже можно видеть тесноту и предельную концентрированность смысла. Изображение динамики авторского отношения к предмету обусловило темпоральный способ представления содержания с вынесением в абзацную строку временных наречий: *когда-то, тогда, теперь же* (частица с противительным значением).

Следовательно, если видеть в тематической сетке текста иерархию тем, субтем, субподтем, то в рассмотренном тексте тема «оружие» оказывается на иерархически более низком уровне, чем тема «красота», имеющая более общее, лирико-философское истолкование, чему способствует и предикатный характер его семантики, как и тех ключевых слов, которые с ним наиболее тесно связываются, — *жизнь, смерть*.

Обратимся к миниатюре, соотносимно по заглавию со словом-дескриптором, — «ВООБРАЖЕНИЕ». Состав семантических множителей заглавного слова почти полностью преломляется у слов, входящих в тематическую сетку текста, хотя прямое соответствие (по составу членов) обнаруживает только одно слово *сознание*. Его семный набор в гнезде 'ум', 'мысл-', 'способн-' по-разному отражен в текстовых употреблениях: «И, сидя на постели с облегчающим *сознанием* вернувшегося прошлого, он увидел то юношеское, случившееся с ним в сорок первом году...»), где актуализируется сема 'ум-' (сознание здесь «способность мыслить, осознавать события после пробуждения»). Ср.: «Что с тобой? С кем ты разговариваешь? Ты не заболел, дорогой? — зазубренным острием толкнулся в его *сознание* встревоженный голос жены, зашевелившейся рядом, и он, еще не очнувшись, в состоянии медленного падения, проговорил хрипло...», где сема 'ум' уже не исключена, как и в следующем: «Но что тянет мое *сознание* к той девочке, к тому жаркому дню сорок первого года?» (там же), хотя здесь еще содержится народная сема 'сердце'.

Таким образом, в зависимости от угла зрения в «светлое поле сознания» попадают те или иные признаки, фиксируемые в

значениях опорных слов текста, — *воображение, сознание, воображать*. Другие текстовые номинации объективируют различные семантические множители дескриптора или членов гнезда. В тексте это прежде всего группа глаголов восприятия, связанных с глаголами мышления своими вторичными значениями. Большая их часть тяготеет к исходному для дескриптора глаголу *воображать* (ср.: «я *воображаю* немислимое — и кончу плохо»), обнаруживающему максимальную близость с отглагольным дериватом по семам: 'счест-', 'вообр-', 'предпол-', 'мысл-', 'представ-'. Это глаголы *ощущать, увидеть, испытывать, почувствовать, очнуться, сниться*, помогающие представить воображаемые события как реально существовавшие в жизни персонажа и часто ему затем снившиеся. С опорным глаголом *воображать* связаны в тексте глаголы той же ЛСГ «мыслительная деятельность» *мечтать* и *помнить*. В границы тематической сетки текста включается и неглагольная лексика, имеющая в своем составе хотя бы одну из сем дескриптора: *сон* (по семе 'фантаз-'), *мысль* (немислимое по семам 'фантаз-', 'мысл-').

Таким образом, соотнесение тематической сетки текста с фрагментом тезауруса, составом семантических множителей дескриптора позволяет вскрыть синтагматику мысли, механизм порождения текста в его компрессированном виде. То, что синкретично дано в дескрипторе, разворачивается с теми или иными модификациями в семантической сетке текста.

Философская проблема жизни и смерти решается и в другой миниатюре Ю. Бондарева «ДЫХАНИЕ». Это слово — лейтмотив всего текста: «С трудом я уловил наконец ровное дыхание жены...»; «Я прислушивалась к твоему дыханию...»; «Я тоже слушал... твое дыхание, милая»; «И я обнял ее, чувствуя родственное тепло ее плеч, ее живое дыхание на своей щеке. Больше мне ничего не было нужно...» (там же).

При этом ни один из семантических множителей слова *дыхание*, включенного в статью дескриптора, не актуализирован в тексте 'углек-', 'кислор-', 'погло-', 'легки-', 'втя-', 'обмен-'. Из состава же семантических множителей самого дескриптора, включающего и опосредованные, ассоциативные и ситуативные указания, наибольшей яркостью обладает сема 'жи-', отодвигаются на второй план, теряют яркость семы 'ды-', 'процесс-', 'выдел-', 'возд-', 'организм-'. Характерно, что сема 'жи-' дана

в статье как самая частотная [51]. Эта сема актуализована и в семантическом согласовании с определениями *ровное, живое*. С ней ассоциативно связаны слова звуковой семантики: *голос, прозвучать, позвала, шорох, звук, тугие удары* (с ними отношения цели связаны слова *предупредить, спасти, помочь, ответ (сердца), звала* (с многократным повтором). Таким образом, в данном случае одна из сем дескриптора с большой долей вероятности программирует развитие темы ценности жизни, ее хрупкости. Контрастный способ раскрытия, замысла характерен и для этой миниатюры: в ней выстраивается полярная тема небытия, граничащего со смертью: «черное пространство сна», «бесплотный голос», «показалось», «почудилось», «приснилось», «опасность», «несчастье», «предчувствие», «безмолвие», «страшно», «одинокое». Так тема предчувствия опасности смыкается с темой любви и одиночества.

Если в рассмотренной новелле самая частотная сема дескриптора играла рематическую, определяющую роль в экспликации авторского замысла, то в миниатюре «ЛИЦО» она выполняет иную функцию (в перечне семантических множителей соответствующего дескриптора максимальной частотностью обладает сема 'чел-'). Именно эта сема в силу ее обобщенности и как бы неизбежности в выражении отношений принадлежности оказывается семантически опустошенной в текстовом использовании. Она актуализирована лишь в нескольких случаях:

- 1) когда с ее помощью нужно передать общее состояние человека, отражающееся на его лице: «В тот день он [муж] показался мне уж совсем чужим, непривычно напряженным, **бледным**, на нем была новая гимнастерка, новая португеза, а рубиновые кубики лейтенанта в петлицах почему-то особенно испугали меня»; «враждебные лица», «веселые лица солдат»; «изможденные лица [пленных]»; «Я вся сжалась, решив, что он смеется надо мной, над моим убогим видом, над моим жалким лицом»;
- 2) когда нужно ввести в поле зрения новый персонаж (эта функция была дополнительной и в случае: «среди белых пятен лиц увидела молодое лицо пленного»). Характерно, что способом актуализации значения слова *лицо* здесь выступает деактуализация всех семантических признаков, кроме потенциального цветового в начале предложения.

Это явный сигнал того, что в последующем тексте будут раскрыты мотивы подобного противопоставления.

И далее в поле зрения и внимания героини попадает только это лицо и настойчиво актуализируется сема дескриптора (кстати, не отмеченная у слова *лицо* в составе статьи): «...увидела глаза, через головы людей вонзившиеся в мои глаза, — неподвижные, восторженные, родные и чужие глаза (такие могут только присниться), незнакомые и до обморока знакомые, ради которых можно было не задумываясь умереть. <...> ...и лицо, единственное в машине лицо между пятен других лиц, удалялось, но не сводило с меня расширенных глаз; то ли в ужасе узнавания, то ли в нечеловеческой муке, эти глаза из сотен людей на площади видели лишь одну меня, а я видела только это лицо, только этот взгляд (слово не включено в статью дескриптора, но передает типовые отношения 'действие (результат), орудие, предназначенное для этого действия'. — Н.С.) и, прорвавшись через толпу, бежала за машиной, как в сумасшествии, будто по неземной райской дороге, проложенной лучом (сближение, согласованное со словом *взгляд* по семе 'направленность'. — Н.С.) его взгляда, обещавшим блаженство, счастье, нескончаемую радость»).

И далее опять возвращение к лейтмотиву: «Это лицо в машине, нашедшее меня среди сотен людей, не могло быть враждебным, убившим моего мужа, и хорошо помню, что я целый день ничего не видела, кроме этого лица». Здесь уже по мере семантического обогащения в тексте *лицо* вбирает в себя семы «человек», «взгляд», возникает речевая многозначность. В финале смыслы опять дифференцируются: «...теперь почему-то все чаще, все радостнее мне снится тот незабвенный день, площадь, толпа и это лицо, это замершее восторженное выражение глаз, и я вижу во сне себя, в безумии надежды бегущую за машиной». Слова, координирующие с полем дескриптора, в тексте обрастают определениями (указательного или характеризующего свойства), ни одно из которых не представлено в гнезде РСС. Наряду с другими средствами они высвечивают те семы (часто потенциальные), которые необходимы для выражения авторской интенции.

Поскольку раскрытие темы не исчерпывается описанием денотативной ситуации, а связано с объективно-субъективными моментами процесса осмысления и их языковой объективацией,

с познавательным и коммуникативным преобразованием, постольку «отлет» лексической структуры текста от структуры поля дескриптора может быть очень существенным, однако не достигающим полного разрыва с ним. Это нужно признать существенным признаком текстов, тяготеющих к жанру философских сочинений, субъективный момент усилен лирической направленностью миниатюр. В одной из них под названием «Богатство» выстраивается совершенно особая иерархия тем, подтем и субподтем. Ее вершина задана следующей сентенцией: «*Всякая система* нередко лежит рядом с *антисистемой*, поэтому альтернатив нет разве только в Дантовом аду». Она сопровождает раздумья о судьбах культуры и альтернативный способ описания тематической ситуации. Система несет в себе идею созидания, накопления, творчества, антисистема — разрушения, истребления, исчезновения.

В границах этого противопоставления (и здесь обнаруживается свойственное писателю контрастное видение мира) выстраивается цепочка номинаций, которую можно схематически представить следующим образом:

<p>Богатство, бесценное сокровище, по крупницам... накопленное народом и народами</p> <p>Скромные плащи, козий сыр и ячменные лепешки (завтрак Сократа), простые дома</p> <p>Культура — духовная и душевная наполненность, состояние счастья, радости бытия совершенствует прогресс, творчество, создает строгие нравственные таможи</p> <p>Добро, красота, польза</p> <p>Человек, гомо Фабер — венец творения</p>	<p>«Технологическая цивилизация» — комфорт, бездумная разрушительность и синтетические новшества, видимость прогресса</p> <p>Маскулатура (окказ. контаминация слов <i>мускулатура</i> и <i>массовая культура</i>) — урбанистическая действительность прагматизма, власти денег, неверия и лжи</p> <p>Ненасытная алчность, миллионы невинных жертв, заболоченные поля, бетонные города, высохшие реки, горы мусора на изуродованной земле</p> <p>Золотой телец — безликий и беспощадный властелин нашей действительности; мифический, придуманный чиновниками план, за которым уже не видно человека</p>
--	---

Из 11 семантических множителей дескриптора лишь четыре актуализированы в словах правого и левого столбца: ‘богат-’, ‘матер-’, ‘ценн-’, ‘деньг-’. Косвенное указание на сему ‘человек’ содержит слово *богатый* в статье дескриптора, а также слова *благо, творчество, массовый*. Актуальным для текстовых смыслов оказалось слово *техника*, соотносящееся с дескриптором по семам ‘матер-’, ‘ценн-’. В текстовом осмыслении содержание слова *богатство* связано лишь с теми семами, которые ориентированы (или могут быть ориентированы) на духовный, нравственный мир человека. Те же (а их подавляющее большинство), которые характеризуют условия, благоприятные для человека в материальном отношении, в перспективе текста служат обозначению контрастного понятия нищеты, понимаемой как духовное оскудение на фоне мнимого прогресса «технологической цивилизации». Таким образом, можно считать возможности статьи дескриптора прогнозирующими «от противного», в первую очередь в связи с теми коррекциями, которые вносит обильно используемая лексика социально- и эмоционально-оценочного плана, утверждающая нетривиальную систему ценностных ориентаций автора, свойственную ему систему знаний.

Итак, соотнесение фрагментов тезаурусов с тематической сеткой соответствующих дескриптору текстов обнаруживает неодинаковую прогнозирующую силу гнезд, что зависит как от свойств самого дескриптора, его тематической или рематической ориентации, так и от роли названия текста в реализации авторского замысла. Чем своеобразнее осмысление тех или иных тематических ситуаций, чем оригинальнее картина мира, отраженная в тексте, тем реже срабатывают «контексты ожидания», предлагаемые фрагментом тезауруса. Понятие, отраженное в заглавии, допускает возможности свертывания в нем различных суждений, которые раскрываются в перспективе текста. Эта неодноплановость истолкования объясняет как избирательность отраженных в тематической сетке текста сем дескриптора, так и рассредоточенность отобранных, их «мерцание» по мере развертывания темы. Коммуникативные потребности говорящего обуславливают такие иерархические отношения тем, подтем и субподтем, которые не предусмотрены общим тезаурусом, а также приведение в действие межгнездовых связей.

Не обнаруживается прямых корреляций между частотностью сем дескриптора и их статусом в тематической сетке текста, возможны случаи погашения всех актуальных и реализации лишь потенциальной семы слова, настойчивой актуализации лишь одной какой-то семы или сем, связанных с разными значениями слова. Все это свидетельствует о включенности текстового слова в особую коммуникативную систему, организуемую замыслом говорящего, который содержателен и ориентирован на определенную систему знаний о мире и нацелен на утверждение определенных ценностных ориентаций в сознании адресата и тем самым на преобразование действительности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Баранникова Л.И. Основные сведения о языке. — М., 1982.
2. Бричко А.С. Проблема описания семантики модальных единиц уверенности / неуверенности в коммуникативно-прагматическом аспекте // Деривация в речевой деятельности (Общие вопросы. Текст. Семантика): Тез. докл. науч.-теор. конф. (Пермь, 11—14 нояб. 1988 г.). — Пермь, 1988.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. — М., 1980.
4. Залевская А.А. Информационный тезаурус человека как база речемыслительной деятельности // Исследование речевого мышления в психолингвистике. — М., 1985.
5. Залевская А.А. Семантика слова и контекст в психолингвистическом аспекте // Значение и его вырйирование в тексте. — Волгоград, 1987.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
7. Петров В.В. Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы // ВЯ, 1988, № 2.
8. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. — М., 1958.
9. Русский семантический словарь / Под ред. Ю.Н. Караулова. — М., 1983.
10. Селюнин В. Истоки // Если по совести: Сб. ст. — М., 1988.

1.4.4. Текстовое слово в представлении звуковой картины мира

Рассматривается языковая картина мира как способ проявления личностного начала в языке в одном из аспектов — звуковая картина мира в ее лексическом представлении.

Языковая картина мира как способ проявления личностного начала в языке, когнитивного и прагматического уровня в структуре языковой личности [2] может подвергаться общему, глобальному, или аспектному рассмотрению в тексте. Один из таких аспектов — звуковая картина мира в ее лексическом представлении.

Выбор данного аспекта связан со значимостью акустической среды для ориентации человека в мире, осуществления его коммуникативных потребностей, а также с той особой ролью, которая принадлежит глаголам звуковой семантики в экспликации картины мира. Организующая роль глагола в передаче текстовых ситуаций согласуется с данными фреймового и психолингвистического подходов, при которых глагольная рамка представляет собой частный случай схем хранения знаний человека, часть его семантической памяти. Если считать всю информацию, включая лингвистическую, организованной по типу фреймов, то семантическим фреймом предстает и ситуация как «внутриязыковой способ выделения одного из “кадров” внешней действительности» [3: 27].

Понимание ситуации как семантического фрейма, как выражаемого средствами языка общего представления о фрагменте реального мира открывает путь к изучению картины мира в системе текстовых ситуаций.

Изучение звуковой картины мира целесообразно связать с текстами, имеющими дополнительные стимулы к ее языковому воплощению. В нашем случае это текст повести Г. Беглова «ДОСЬЕ НА САМОГО СЕБЯ» [1], написанной кинорежиссером и предназначенной и для экранизации, и для чтения. Экранизация требует предельной точности звуковой характеристики изображаемых сцен, информации об условиях, порождающих звук, его источниках, среде его распространения, объектах, каузаторах звучания, субъектах восприятия звука. Предельно разнообразны должны быть и способы описания общения дей-

ствующих лиц, их речевой манеры, интонации, дающих представление о личности говорящего, его эмоциональной сфере, характере, пристрастиях, возрасте и т.п. Ориентация же на читателя предполагает, кроме того, привлечение языковых средств, просто констатирующих наличие звуковой ситуации.

Семантика звучания реализована в серии текстовых ситуаций, иерархически организованных в пределах повести, все многообразие которых условно можно свести к двум типам:

- 1) ситуации с преобладанием речевого общения в той или иной среде, в тех или иных условиях, поскольку принадлежность персонажа к тем или иным социокультурным группам, коллективам — важная черта языковой личности, характеризующая ее прототип;
- 2) ситуации звукового состояния изображаемой внешней среды.

В исследуемом нами тексте использованы все слова соответствующей идеографической группы, отмеченные в «Лексической основе русского языка» [4], за исключением некоторых, сравнительно новых, так как хронологически и тематически они не соответствуют изображаемому в повести событиям.

Рассмотрим языковые способы воплощения типовых ситуаций, хотя их выделение в известной мере условное, огрубленное, нежесткое.

В пределах первого типа представлены ситуации преимущественно неофициального общения лиц разных возрастных и социальных групп в обычных и экстремальных условиях — значительное место в повести занимают ситуации речевого общения молодежи, общения в условиях заключения и др.

1. Разговор с приятелем о знакомстве с девушкой.

«Я не иду». — «Не идешь?» Ленька **перестал хрустеть** макаронами. Он был очень смешон с набитым ртом. «Но она умрет, — **зашептал** Ленька, — за ней следом умрут ее мама и папа. За ними — сестренка. За сестренкой последую...» Ленька заморгал часто-часто и, проглотив жвачку, **заплакал**. У него полились слезы. Настоящие слезы. Это было уже сверхъестественное. Я тут же простил ему **болтовню** о дружбе, его раздражающе богатый костюм, простил ему все. Он был талантлив. Несомненно талантлив. «Как ее имя?» — **спрашиваю** я, словно

действительно решил избавить их всех от смерти. «Людмила. Урожденная Фридман», — **отчеканивает** Ленька.

<...> Тщательно осмотрев хлопчатобумажные серенькие брюки, купленные на барахолке полгода назад, Ленька **щелкает пальцами**. «Это может стать пикантным! Нужен утюг и мокрая тряпка». Утюг грелся неправдоподобно долго. А когда я в десятый раз подошел, чтобы пощупать его... пальцы прилипли к нему. Я **заорал** так, что, кажется, до сих пор помню этот **крик**.

Обращает на себя внимание ядерная роль глаголов звучания и отглагольных имен в передаче ситуации, причем как собственно глаголов речи, так и иных. Прекращение звучания (**перестал хрустеть**) служит сигналом перехода к сообщению информации (момент эмоциональной реакции и обдумывания ситуации). К этому же сводится, по существу, роль паралингвистических средств (**заплакал, щелкает пальцами**). Способом организации функционально-семантического поля текста выступают межчастеречные связи слов с опорой на синонимы и гипонимы ЛСГ глаголов звучания (**кричать — крик, воющий, болтовня, заорал, отчеканивает, щелкает, хрустеть, зашептать** и др.). Артистизм натуре персонажа передан ситуативно точным подбором глаголов, в авторской речи сопровождающих диалог и фиксирующих голосовые модуляции (указание на силу, степень четкости, скорость произнесения реплик, переход к пению) вплоть до отказа говорить (**заплакал**).

2. Сцена знакомства с будущей невестой и женой.

«Из соседнего двенадцатого **слышен голос Шульженко... Звоним**. Ленька входит первым. «Точность — вежливость королей! Но в семнадцатом это упразднено вместе с монархией». В ответ **рассмеялись**.

<...> Протягиваю руку с пятью хризантемами. Сейчас, при ярком свете, я вижу, какие они мятые и вялые. Начинаю краснеть. Надо что-то делать. Перевожу взгляд на ту, которая в профиль, и нахально **выпаливаю**: «Это Леня для вас выбрал...» Не знаю, поняла ли она мое смущение, оценила ли нахальство или вообще не заметила жалкого вида цветов, — не знаю.

<...> Сидящие поднимаются разом и одновременно **выпаливают**: «Риваммаля», что означало: Римма и Валя. **Прыснули** и одновременно опустили.

<...> Я понимаю, что глазею по сторонам, но я ничего не могу с собой сделать: вещи **кричат**, показывают себя, навязываются. «Он **онемел** при этой же катастрофе?» — спрашивает одна из прыскавших.

«А из вас самая красивая, знаете кто?..» **Задал** вопрос и сам не знаю на него ответа и не знаю, как он возник, и почему я позволил себе **сказать это вслух**. <...> Теперь она не смотрела. Она ждала **услышать** приятную для себя правду. Но я солгал. ...я мстил ей за цветы, за авиационную катастрофу, за обожженные пальцы и за красное дерево, которое уже однажды **крушил топором**».

<...> «Дуня, давай блинов с огня!.. — **задыхался скороговоркой хмельной баритон**. — Дуня, целуй скорее меня!..» **Хлопают** двери. Мелькают ноги. **Гремит** посуда. **Прокричал** Ленька: «Не задавить бы!»... Снова мелькают ноги, а незнакомый мне баритон уже **поет** про студенточку...

<...> Из красного футляра **донеслось густое «боммм»**. Нас приглашают к столу. <...>

Хочется домой. Остаться одному. **Слушать**, как за стеной **плачет** маленькая Катенька.

<...> А потом в коридоре будут долго **шептаться**... <...> А потом все **смолкнет**, и во всем мире останутся только **ходики и я**... <...> **Ударило по ушам визгом и смехом**. В притворном ужасе **визжит** Люсина сестренка. <...> Остальные **хохочут**, как сошедшие с ума. Лишь Ленька с серьезным видом сооружает себе бутерброд. <...> **Заговорили** все разом».

Приведенный эпизод, как и многие другие (по законам сценария), сопровождается передачей звукового фона, шума времени. С опорой на фоновые знания в звуковой зоне устанавливаются не только непосредственные, но и опосредованные семантические связи; в первом высказывании: краткое прилагательное со значением воспринимаемого на слух признака (**слышен**) — источник звука (**голос**) — лицо, которому принадлежит звук указанного характера (**Шульженко**). Отбор средств звукообозначения и их ситуативные смыслы обусловлены прагматической установкой данного фрагмента, отражающей как замысел и жанрово-стилевые особенности произведения в целом, так и интегрирующую функцию свойственных ему стилистических приемов.

Следует отметить склонность к лаконичным структурам предложений, вводящих в ситуацию (**звоним**) или отмечающих момент развязки микро- или макроситуации (в **ответ рассмеялись; ударило по ушам визгом и смехом**) с последующей конкретизацией (**визжит, хохочет, заговорили**), с использованием деривационных (**визжать — визг**) или семантических межчастеречных (**смех — хохочут**) отношений. Разнузданность подгулявшей компании, непомерный шум передает и сама безличная конструкция с глаголом **ударить** в его лексически связанном значении «внезапно и громко раздаться, прозвучать; грянуть», в норме реализуемом по отношению к звукам, издаваемым неодушевленными предметами (гром, звонок, выстрел). Сознание главного героя переключается из плана желаемого в план реальности.

Несоответствие ценностных ориентаций героя вкусам мещанской среды подчеркивает подбор глаголов, характеризующих способ общения (**прыснуть, одна из прыскавших**), (**задыхался скороговоркой хмельной баритон**), на базе семного согласования звуковая лексика объединяется с незвуковой. Элементы окружения (**смущение, нахальство, разом и одновременно**) проясняют мотивы выбора и повтора глагола **выпаливать**. И здесь ядерными для текста предстают глаголы звучания и ближайшие к ним отглагольные имена. Кроме того, используются звуковые наречия (**вслух, скороговоркой**) и прилагательные (**густое**), существительные со значением источника звука, его производителя (**ходики, баритон**), звукоподражания (**боммм**), тяготеющие к периферии поля, как и глаголы звучания, утрачивающие архисему данной ЛСГ (**вещи кричат**); а также слова с противоположным значением (**онеметь**).

3. Сцена комсомольского собрания.

«Поднялся Виталий Уваров. (<...> **Играет** на аккордеоне, неплохо **поет** матросские песни...»).

<...> «О-о, какая ты сволочь!» — вырвались и обожгли голову слова... <...> «Что ты знаешь про Федора Михайловича?! <...> Что?! Что?! — ору я в туманные желтые лица <...> **Громко смеюсь, спрашиваю**: «А почему бы тебе не жениться на Люське?»

<...> В зале **зашумели**. Из шума **вырвалась реплика**: «Свадебный пирог отработываешь?» Фомин **рассмеялся** подкупаю-

ще весело и аппетитно **причмокнул**. «За такой пирог не наста-вишь жене рогов!» В зале **заржали**. Шурика **понесло**. Он даже **не заикался**, что бывало с ним в минуты наивысшего подъема духа. «А он, представьте себе, сбежал. И от пирогов, и от ковров!» <...> (В зале одобрительно **зашумели**. **Раздались хлоп-ки**.)

<...> «Виктор — парень чистый, и подвела его в этой исто-рии чистота. **Оглушила** его Людочка... Да, да **не смейтесь!**.. Я слышу, что ты сказал, Степанов... Я отвечу тебе на это...»

<...> «Вот так же он **молчал** на бюро», — **услышал** я голос секретаря. <...> «У меня болит голова, — **повторяю я громко**. <...> Я боюсь вас...» Я шел к своему месту. Вокруг стоял **вой**. Из последующего, кроме этого **воя**, я не помню ничего. Что-то **говорил** мне **на ухо** Шурик. **Размахивал** руками на авансцене Колокольцев. **Покачивались** очки преподавательницы русского языка Полины Антоновны. Долго **стоял** на сцене подполковник Божков. Потом **поднимали** и опускали руки. Потом все вышли из зала. Один Фомин расхаживал теперь по пустой сцене и ды-мил папирсой».

Бурная сцена обсуждения морального облика героя (время действия — 1948 год) происходит на мощном звуковом фоне. Средства его создания здесь разнообразны, в частности не-определенно-личные конструкции с оттенком обобщения за счет использования обстоятельственного детерминанта (**в зале зашумели, в зале заржали**). Это способ молодежной реакции на реплики говорящих (ср. еще: **в зале одобрительно зашумели; раздались хлопки; вокруг стоял вой**). На его пике и в силу эмоционального напряжения речь отдельных выступающих перестает восприниматься героем, и, как в немом кино, сам факт ее наличия устанавливается путем зрительного наблюдения (ср. использование глаголов движения в конце фрагмента как эквивалентов глаголам говорения). Здесь очень точны обстоятельственные распространители глаголов, подчеркивающие самые необходимые по ситуации семы глагола (ядерные или периферийные): **неплохо поет, громко смеюсь, рассмеялся подкупающе весело, аппетитно причмокнул, повторяю громко** — чем высвечивается и диапазон существенных для ЛСГ глаголов звучания дифференциальных признаков в системе языка. Смежные высказывания определяют границы межгрупповых связей гла-

голов по их несвободным значениям (**Шурика понесло; он даже не заикался; подвела... его чистота; оглушила его** Людочка). Отмечается семное варьирование глагола **молчать** (в данном случае — «не говорить из-за нежелания обсуждать темы, не касающиеся посторонних»). Глаголы, демонстрирующие отказ от говорения, выступают средством маскировки информации, ее утаивания, служат для передачи психологического климата описываемой эпохи — вынужденного молчания.

4. Разговор мальчика с родителями.

«А за что Карла Карловича арестовали?» Мама **грохнула** уютю на подставку и вышла из комнаты. Она не хотела об этом **говорить**. Почему? А вечером, когда мы все сидели за столом и пили чай, на мой вопрос: «А нас не посадят в тюрьму? Деньги-то мы у них занимали...» — папа **промолчал**, а мама **стукнула** ладонью по столу, чего никогда с ней не бывало: «Ты перестанешь **болтать** ерунду?! Допивай и спать!» Взрослые что-то скрывали».

5. Сцена допроса.

«Пытаюсь **говорить** спокойно. <...> “Вы не пробовали с арестованными **говорить** нормально? Дома же вы так не **разговариваете?**”» Майор **хмыкнул**.

<...> «Я по ночам не сплю. Вы не можете об этом не знать. И извинение звучит насмешкой... <...> Снова **хмыкнул** и презрительно **добавил**: “Пистолет запрятать получше и то не мог: ...ровый из тебя контрик”».

<...> **Пауза затягивалась** как петля. «Горобец приходил к отцу? Иван Петрович Горобец... Ты видел его?» — «Никто не приходил... Даже не слышал про такого».

<...> «А? Что же выходит? То ли папочка пристукнул Горобца, забрав оружие... То ли приобрел его у него. Зачем? А?»

Я рассмеялся. Да, да — **рассмеялся**, довольный и счастливый. Все сейчас кончится, и меня отпустят.

<...> **Я кричу** ему в глаза, что встречал в жизни подобных ему кретинов в роли учителей... **Но кричу не вслух**.

<...> Наступила длинная пауза. Вентилятор. Ради него я был готов **слушать** любую чушь. <...> **Говорю тихо, растягиваю слова** и глотаю в последний раз **звонящую** ласковую струю.

«**Объясняю** вам, майор, еще раз... И если это пойдет вам на пользу, повторю с удовольствием и в третий...» <...> Пью вза-

хлеб воздух, почти пьянея при этом. <...> **Повторить? Повторил** это я уже в камере».

Выше отмечалась роль глаголов ЛСГ в развязке микро-ситуации или введении новой. Такова же их функция (как и описательных оборотов звучания) в конструкциях простого предложения, вынесенных в абзачную фразу: **майор хмыкнул; я рассмеялся; наступила длинная пауза; пауза затягивалась как петля** (с речевой многозначностью). Так с помощью глаголов звучания имплицитно устанавливаются причинно-следственные отношения. Глагольные распространители уточняют и актуализируют не только содержательную, но и звуковую, фонетическую сторону звучания (что очень важно для нужд экранизации — в качестве интонационных и фонетических ориентиров в актерской игре): **говорить спокойно, звучит насмешкой, снова хмыкнул, презрительно добавил, говорю тихо**.

Эксплицируются с помощью обособленных конструкций периферийные семы (причинная для глагола **рассмеялся** — «довольный» и «счастливый»), в рамках высказывания устраняется звуковая сема у ядерного глагола группы при сохранении дифференциальной («передача информации»). Это происходит и с опорой на дефразеологизацию оборота **кричу в глаза**, и с введением «незвукового» распространителя (не вслух). Межгрупповое взаимодействие обнаруживается с глаголами физического действия (по расчленениям их связанных значений): **пауза затягивалась, растягиваю слова**. Необычную денотативную приуроченность с опорой на ситуативные смыслы приобретает, казалось бы, обычное сочетание слов: **звенящая ласковая струя** (но не бегущей воды, а воздушная струя вентилятора среди удушающей жары).

6. Сцена у врача в лагере. Ее характеризует стилистический прием нарочитой экспликации интонации речи. Это важно не только для точности смыслового выражения содержания высказывания, но и для обрисовки речевой манеры говорящего, так как интонация и другие фонетические особенности речи наиболее индивидуальны. Ср.: «**Разговор** она **ведет** со всеми только на ты и в таком **тоне**, будто пациент только что разбил ее очки, выстрелив из рогатки. «Что расселся?» — **скрипит** она **злобно** и тарашит рачьи глаза.

<...> «Закрой рот! — **обрывает** она. — **Наболтал** на десять лет — теперь **помалкивай!**» <...> «С такими легкими на кладбище

лежать, — **скрипит** старуха, заканчивая прослушивание. — А он против власти... Не совестно?»

«Я ее строил, Элеонора Юлиановна, — со слезами на глазах **говорит** профессор. — Я участник плана разгрома Юденича». «Все вы участники», — терапевт **скрипит** пером в карточке, угрожающе шевеля кисточками на подбородке. «Три дня из юрты не выходить! — **тоном приказа объявляет** она, протягивая освобождение от работы. — Увижу на территории, берегись!» И тарашит глаза, наслаждаясь произведенным эффектом. <...>

Чудная старуха. Ее любили все, потому что она любила всех, хотя и искусно прятала эту любовь. Но разве любовь спрячешь?».

Имитация состояния злобы достигается подбором как слов разных частей речи, сопровождающих беседу врача (**в таком тоне, злобно, тоном приказа**), так и глаголов звучания (**скрипит** в разных его значениях, **обрывает, объявляет, наболтал**, ср. контраст: **со слезами на глазах говорит профессор**). Ср. со сценой открытого издевательства над арестованным, еще не понимающим безвыходности своего положения.

7. Сцена в милиции.

«Честное слово, что дурака валяете? Или кто-нибудь капнул чего? Так говорите...» Они **дружно рассмеялись**.

— Артист! — **с веселой издевкой выкрикнул** лысый. **Забарабанило** сердце, будто наотмашь ударили по лицу.

— Вы что здесь сошли с ума... от безделья?! — срываюсь на **крик**. — Я напишу об этом в Москву... Кто дал вам право разыгрывать с людьми подобные водевили?!

В хохоте потонула последняя **фраза**. Как ванька-встанька, качался на диване подполковник, **хлопал** себя по коленкам, **повизгивал** и вытирал выступившие слезы.

Вошел дежурный. Майор закрыл лицо руками.

— Уведите артиста, — **приказал** он, **давась от смеха**».

Второй тип ситуаций в создании звуковой картины мира в повести — ситуации звукового состояния изображаемой среды. При всем разнообразии их объединяет одно — все они значимы для человека и отражают его видение мира. Рассмотрим основные сцены, реализующие данный тип ситуаций.

1. Сцена в коммунальной квартире.

«Коридор постоянно гудит от голосов. Жужжат примуса. Гомонят дети, катаясь по коридору на самокатах и верхом друг на друге. <...> Двенадцать ночи. Стук в дверь. В халате, накинутом на голое тело, входит тетя Зина из тридцать первого номера. “Хотите рассольничку? Только что сварила...”

<...> Засыпая, слышу шепот дяди Бори из четырнадцатого и отца. Они шелестят газетой и много чертыхаются.

Каждую неделю этаж содрогается от свадьбы. <...> Она [Лидия Васильевна] поет по утрам у своего примуса вальсы Штрауса. Сегодня она не поет. Она сидит на краю стола, составленного из множества столов, протянувшихся от кухни до кухни. Из каждой ежеминутно выносят кастрюли, сковородки...

<...>

Отец сказал тост. Пока он говорил, все молчали, кроме тети Зины. Она безостановочно хохочет и ко всем лезет целоваться, даже ко мне. Потом столы разобрали по комнатам. Отец вынес гитару, дядя Женя из одиннадцатого — банджо, Фимкин отец выкатил пианино, и тут началось... Даже моя мама, которая так и не признавала “коммуналки”, отплясывала краковяк. Все кружилось и вертелось вокруг. Визжали девчонки-двойняшки...

<...> К утру коридор затих. А днем женщины мыли полы. Вспоминая подробности ночи, они много смеялись. Смеялись над тем, что было смешно, и просто потому, что были веселыми».

Показательно многообразие способов отображения звуков. Это может быть включение глаголов перемещения (катаясь, содрогается), звукопроизведения (гудит, жужжат, гомонят, шелестят и др.), внедрение эллиптированных глаголов речи в прямую речь, введение контрастного глагола молчать, использование широкозначного глагола началось, допускающего разнообразную конкретизацию (и нуждающегося в этой конкретизации), использование специального наречия (смешно) со значением длительности, непрерывности; имен существительных — названий музыкальных инструментов.

2. Блокадные сцены.

«Хлопнула дверь. Мы высунули головы и увидели его [отца]. <...> ...сел на диван и начал разглядывать нас молча и сосредоточенно. Он был пьян. Первый раз в жизни.

Все так же молча он засунул руки в карманы и вынул одновременно два больших армейских сухаря. Мы перестали дышать. Стало так тихо, будто все омертвело вокруг. От тишины голова стала наполняться болью.

Сухари повисели в воздухе целую вечность, потом стукнулись друг о друга два раза и легли на диван. Руки полезли в карманы, и фокус повторился: два сухаря, потом тишина, потом головная боль, сдвоенный стук, и уже четыре кирпичика лежат на диване.

И снова все сначала.

Время остановилось.

Происходило нечто, похожее на бред. Реальностью были только адская боль в голове да стук сухарей: тыррк, тыррк — немного глуше. Тыррк — совсем еле-еле, далеко, там, где свечи, где диван, покрытый хлебными плитками...

<...> Разорвалось надвое сердце (после признания отца, что всю жизнь собирался уйти от них. — Н.С.). Это выскочила из-под одеяла мать и... Раз! Два! Три! Четыре! Слева, справа, сверху! Хлестко, больно!

Слетела шапка с бритой головы, рассыпалась искрами папираса. «Еще!» — крикнул я, но мысленно. Тело не повиновалось мне. «Еще, мама!» — удалось, наконец, прошептать мне. «Еще!!!» — ору на весь мир, барабани кулаками по спинке кровати.

Он сидел, обхватив голову руками и качаясь из стороны в сторону. Мать ударила его еще несколько раз наотмашь и плюнула... «Мамочка...» — задохнулся я криком. Она кинулась ко мне, схватила вместе с одеялом и вынесла из комнаты».

В этой сцене фиксируется обостренное восприятие звуков, предельно избирательное в критической ситуации голода. Оно рельефно выступает с опорой на общий фон мертвой тишины (тихо, омертвело, тишина, молча). И по контрасту — глаголы звучания и повтор отглагольных имен (стукнулись, стук), звукоподражательные слова, наречия меры и степени и пространственные наречия, градуирующие силу звука и его удаленность (ср. также местоименно-соотносительные сложноподчиненные предложения с пространственным значением). Опять идет организация текстового фрагмента по типу функционально-семантического поля. Болезненное полубредовое состояние не лишило

героев чувства человеческого достоинства. В описание вторгаются в качестве способов передачи конфликта эллиптические предложения с импликацией звуковой семы, сопутствующей удару; глаголы, передающие диалог, от полного погашения звуковой семы до ее крайнего усиления; взаимодействие глаголов физического действия и состояния лица и собственно звуковых. Простое предложение с глаголом звучания начинает описание, выполняя композиционно-сюжетообразующую функцию.

«А вот и то утро...

...Лежу с открытыми глазами и **слушаю**, как **стреляет** в соседних комнатах **мерзлый** паркет. **Прошуршали** по коридору незнакомые **шаги**. Вошла и села у дверей молодая женщина. Сняла ватные рукавицы, **хлопнула** ими и сунула под мышку. Тут же снова надела их, встала и **извиняющимся голосом** сообщила: “Антонина Тимофеевна умерла, — постояла чуть, **добавила**: — Она в сарае за главным корпусом, где все...” Закрывает лицо руками и вышла».

В этой сцене ирридиация звуковой семантики, передающей напряженность ожидания, достигается использованием глаголов и их непосредственных и опосредованных распространителей в структуре сложноподчиненного предложения (ср. чересступенчатую связь прилагательного **мерзлый** и глагола **стреляет**: звучание — источник звука — типичный признак такого источника звука). Точно передан характер шагов (**прошуршали**), дана интонационная характеристика голоса, соответствующего печальной вести (**извиняющийся**).

Как видно из анализа, ядерная роль глаголов звучания в обрисовке текстовых ситуаций проявляется и в том, что они становятся центром текстового функционально-семантического поля, объединяющего единицы разных уровней языковой системы. Ближайшую периферию составляют глагольные распространители и уточнители, указывающие на источник звука, характер звучания, интонационные характеристики и др. Способом организации функционально-семантического поля текста выступают межчастеречные связи слов с опорой на синонимы и гипонимы ЛСГ глаголов звучания. Иррадиация звуковой семантики, опосредованные способы передачи звуковой ситуации достигаются использованием связанных значений глаголов звучания и иных ЛСГ (физического действия, поведения, перемещения,

эмоционального состояния, разрушения объекта), модификацией значений глагольных фразеологизмов, наведением и нарочитым устранением звуковой семы. Сквозной характер в воплощении звуковой картины мира в повести носит последовательное усиление яркости сем «интенсивность», «громкость» за счет их многократного повтора в высказывании или текстовом фрагменте. Это объясняется как обилием массовых сцен, так и экспрессивными задачами. Режиссерская установка объясняет широкое введение в текст глагольно-междометных слов звукоподражательного характера.

Наблюдение над текстовыми способами интерпретации звуковой картины мира позволяет уточнить состав языковых средств, входящих в соответствующее функционально-семантическое поле в системе языка, хотя соотношение центра и периферии здесь может быть иным, так как текстовое ассоциативно-семантическое поле служит разворачиванию авторского замысла, изображению индивидуальной картины мира.

Способ анализа языковой картины мира с опорой на текстовые ситуации и текстовые функционально-семантические поля — один из возможных способов конкретизации языковых характеристик личности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Беглов Г. Досье на самого себя // Нева. 1988. № 9—10.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
3. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. — М., 1988.
4. Морковкин В.В. Лексическая основа русского языка: Словарь-справочник. — М., 1984.

1.4.5. Этическое пространство текстового слова

Осознание субъекта во всех формах его деятельности по освоению мира (включая речевую) центральной фигурой мироздания сделало актуальной для исследования не столько референтную, сколько ценностную картину мира носителей языка, одной из важнейших составляющих которой выступают этичес-

кие ценности и нормы. Эти нормы бытия находят отражение и в «наивной» этике, представленной прежде всего на уровне слова в словаре, и в научной интерпретации аксиологических ценностей, и в различных иных их преломлениях, имеющих в качестве первичной текстовую форму выражения. Помимо общенаучных и собственно лингвистических предпосылок, такое изменение угла зрения на факты языка, признание интерпретационного характера семантики слова усугубляется и теми глобальными переменами, которые происходят в мировой цивилизации и в жизни страны.

Корни ценностной картины мира человека помогает понять и его биологическая природа. Так, согласно Конраду Лоренцу, человек — это «перманентно незавершенное существо, перманентно же недоадаптированное и недоструктурированное, но постоянно открытое миру, постоянно становящееся» [7: 26]. Здесь прогнозируется и открытый, динамичный характер этических норм и ценностей, и их направленность на общую ориентацию человека в мире и его преобразование.

Биологические корни знания, как и других ментальных структур, усматривают в механизмах саморегуляции и самоорганизации также психолингвисты и психологи. Без обращения к их работам трудно говорить об этическом пространстве слова и текста. Так, представляется продуктивным методологически значимое положение, выдвигаемое А.А. Залевской [4], о необходимости сочетания в изучении процессов порождения и восприятия, понимания текста деятельностного и недеятельностного подхода, эвристических установок и возможностей других современных научных теорий и прежде всего когнитивистики. Для исследования единства когнитивных и аксиологических механизмов очень важна мысль о единстве психических процессов при построении и восприятии текста (мышления, речи, памяти, восприятия), о непрерывности осознаваемого и неосознаваемого, об использовании разных видов опор, стратегий (включая и последовательную компрессию, интеграцию смысла), разных видов репрезентации знания (опора на признаки, признаки признаков в процессах глубинной предикации, на перцептивный, когнитивный, эмоционально-оценочный опыт, на одновременное переживание знания и отношения к нему, учет принципа смысловых замен — вербальных и невербальных, выводного знания).

Поскольку личностный тезаурус носителя языка представляет собой единую информационную систему, совмещающую знания о мире и языковые знания, средством доступа к этой единой информационной базе может служить лексикон человека как «динамическая, самоорганизующаяся система с чисто языковыми параметрами» [4: 57]. И если иметь в виду «двойное кодирование» содержания слова при его хранении в памяти «в виде некоего вербального кода и в форме образа» [8: 52], то можно не только понять, почему самые абстрактные идеи всегда имеют чувственную привязку, и толковать денотат как типовой образ предмета при характеристике структуры лексического значения, но и предположить, что образы любой модальности (слуховые, визуальные, тактильные, вкусовые) могут приобретать в тексте этический компонент значения. Применительно к системе языка подобные факты уже описаны, например, в оценке Ю.Д. Апресяном способов концептуализации эмоций в связи с идеей света и блеска (визуальных образов) или при характеристике переносных значений имен прилагательных, обозначающих признаки предметов, воспринимаемых с помощью органов чувств человека, и в других случаях.

И если значение, личностные смыслы выступают единицами психики, сознания, имеющими вербальные и невербальные формы своего существования, обнаруживаемые в переходах от образного кода к вербальному и наоборот в разных видах речевой деятельности, то особый смысл приобретает анализ ассоциативных связей в лексической структуре текста, в том числе ассоциативных полей номинантов этических концептов, характеризующихся особой «пристрастностью», мотивами, установками, эмоциями говорящего, соединенными с чувственной тканью (представлениями, наглядными образами, впечатлениями). Отсюда значимость ассоциаций в механизмах психологической «сцепки» языкового и внеязыкового знания, ближайшего и дальнейшего значения слова, как и способность этических представлений субъекта оказывать влияние на его сознание в целом и трансформировать текстовые смыслы, влияя через интенциональную основу на степень глубины текстовой информации при ее порождении и восприятии на всех уровнях (содержательно-фактуальном, содержательно-концептуальном и содержательно-подтекстовом).

При этом необходимым представляется различать этику в восприятии объекта текстовой информации говорящим и этику интерпретации текста адресатом при наличии и общей составляющей — необходимости самоорганизации этической сферы субъекта, «наведения» морального порядка. Представляет интерес в этом плане анализ концептов «страсть» и «любовь» в разработке лексической темы персонажа Б. Райского в романе И.А. Гончарова «Обрыв» в сравнении с их авторской интерпретацией (см.: [2]). И если вслед за В.С. Выготским и А.А. Залевской понимать значение как путь от мысли к слову (а это основа «активной» лексикологии) и видеть в значении средство выхода «на личностно переживаемую индивидуальную картину мира» [4: 132], добавим — и этическую тоже, то естественным кажется вывод о том, что определенные этические представления могут искажать обычные ассоциативные связи слов, подобно тому, как это происходит с аффективной окраской слов, замыкающей эти связи вокруг определенной аффективной области [см. 8].

Можно говорить о генерализации той или иной этической установки в тексте, имея в виду под установкой «определенное досознательное состояние готовности организма к некоторому поведению» [4: 49], сменяющееся актом объективации с последующим возвращением к установке. Этика толерантного поведения, общения в «щадающем режиме» требует в ряде случаев разрыва связей слов по этическому компоненту в текстовом пространстве и возвращения к сближениям по денотативному макрокомпоненту, обеспечивающему непредвзятое развертывание темы.

Этические аспекты реагирования на чужой текст в письменном диалогическом общении рассмотрены на лексическом материале текстов переписки газеты с читателем в [12]. Интересный в этом отношении материал содержат тексты рубрики «Жизнеспособность полисубъектов» газеты «Аргументы и факты». Так, в серии диалогов под общим заглавием «Федеральная крыша» (АИФ, 2002, № 4) представлены разные способы лексической экспликации этического пространства носителей языка, элементов «наивной» этики, отражающей не столько знание о мире, сколько мнение о нем, специфичное для разных культур и этносов. Одна из этических норм — «голым на людях ходить не-

прилично» — актуализирована с опорой на лексическую многозначность слова, реализацию его прототипического значения (в противоположность переносному) в привычных словосочетаниях:

«Е. Примаков: “Согласились бы вы на то, чтобы вместо наших двух общественных организаций (ЗАО «Шестой телеканал» и РСПП. — *Ред.*) присутствовали бы **голые предприниматели** — двое?”

Показывать по ТВ-6 голых предпринимателей — это, конечно, **сильный рекламный ход** (ироническая попытка переконцептуализации поступка. — *Н.С.*). Но лично мы предпочли бы видеть **голых предпринимательниц**, не достигших возраста Евгения Максимовича».

Смена объекта на более привлекательный, на взгляд соавторов-мужчин, изменила бы ситуацию в лучшую сторону, не столь оскорбляющую этические и эстетические чувства. Воровство как этически осуждаемое явление рисуется путем замены компонента фразеологизма как прецедентного текста, резко меняющей смысл ответной реплики:

«М. Прусак, новгородский губернатор: “Владимир Владимирович — мужик, конечно, терпеливый, но и ему когда-то надоест **тянуть воз** в одиночку”.

Тем более что большинство предпочитает **тянуть с воза**».

Социальному осуждению подлежит разного рода шовинизм, порицание другого человека, социума, нации. Их экспликация в ответных репликах авторов, выведение на поверхность неосознаваемых морально-ценностных предпочтений политиков осуществляется разными приемами и лексическими средствами, одно из которых — антонимическая замена слов в речевых оценках, создающая фигуру-перевертыш и вносящая в текст ответной реплики пародийную струю, что ведет к дискредитации оппонента:

«А. Илларионов: “Они (американцы. — *Ред.*) богатые, а когда такие богатые, им позволено быть такими, **скажем так мягко, не очень умными**”.

Поневоле задумаешься: если они, **мягко говоря, не очень умные**, то почему они, **грубо выражаясь** (отметим несоотносительность текстовых смыслов глаголов одного семантического поля. — *Н.С.*), такие богатые?»

Другой способ преодоления штампов шовинистического сознания — использование эффекта бумеранга с актуализацией национально маркированных компонентов морфемной структуры слова:

«А. Ткачев, краснодарский губернатор: “Фамилии, оканчивающиеся на “ян”, “дзе”, “швили” и “оглы”, — незаконны, так же как и их носители. А “ов”, “ин”, “их” — наоборот”».

А как получилось, что носитель фамилии «ТкачЕВ» (авторами выделена графическая форма. — *Н.С.*) не входит ни в одну категорию? Так же как и его предшественник — КондратЕНКО».

Способом представления коррупции во властных структурах как разновидности воровства выступают текстовые номинации «федеральный рэкет» и «федеральная крыша», выявляющие с опорой на знания адресатом его знания семантики жаргонных слов и смыслы предшествующей реплики глобальную коррупционность чиновничества снизу доверху, криминальную основу бизнеса:

«А. Кудрин: “Мы добиваемся того, чтобы местные власти не зажимали малый бизнес. Это рэкет, это так называемая проблема «крыш». Вот это тоже мы собираемся решить в рамках федеральной целевой программы. То есть программ будет как минимум две: “Федеральный рэкет” и “Федеральная крыша”».

Столкновение реплик в диалогических единствах рассмотренного текста позволяет увидеть, как этический компонент семантики текстового слова (явный или скрытый) каузирует перестройку системы текстовых смыслов и выход их в комментирующей реплике на новый уровень самоорганизации во внутритекстовом лексическом пространстве, обусловленный и обуславливающий содержательно-концептуальную и подтекстовую информацию.

Таким образом, этический компонент не только осуществляет переконцептуализацию политических реалий, но и участвует в регуляции познавательной деятельности и поведения участников коммуникации, их ценностных приоритетов.

Показательна в этом отношении попытка экспликации этических основ явления глобализации в лексической структуре статьи А. Панарина «Православная цивилизация в глобальном мире» (Москва, 2001, № 10). Глобализация оправдывается в

случае установления «международного консенсуса — постепенной выработки общепризнанных культурных универсалий, следование которым не сопровождается ни **нигилистическим отщепенством, ни комплексами предательства и вины**». В этом случае «глобализм представляет собой культурно насыщенную, **социально и морально упорядоченную среду**, в чем-то содержательно превосходящую прежние изолированные национальные среды». В противном случае «мы имеем дело с **промискуитетом** нового типа — неупорядоченной и неустойчивой контактностью, не сопровождающейся свойственными человеку как социальному существу **привязанностью и ответственностью**. Эти пространства, выпавшие из сферы **социальной и моральной ответственности**», включающие «**отщепенцев**, которых может связывать только одна **круговая порука**», которых «трудно будет отличить от **вселенской мафии**», формируют «**асоциальную среду**», реализующую «**самые непредсказуемые** типы поведения».

Этот текст, лексическая структура которого во многом сформирована сближениями слов по социально-этическому компоненту их лексических значений, показывает не только то, как коннотация, выражаясь словами Т.Г. Винокур, «сдвигает смысл», генерализуя этическую установку, но и вскрывает содержание этой установки, объясняет нагнетание оценочной лексики, преимущественно негативной: «В этих **джунглях** уже не слышится **материнский** голос природы, они порождают **тоскливо-озлобленное космическое сиротство постмодернистской личности**. Не знают **современные маргиналы и Христа** как источника высшего **милосердия**».

В реализации авторских интенций этические коннотации получают даже те слова, которые лишены их в системе языка (постмодернистская личность, маргиналы), становясь ситуативно-речевыми синонимами. Здесь набор личностных конструктов, связанных с созданием когнитивного образа мира в сознании текстового субъекта, не вполне отражает сложность затрагиваемой содержательной области, с недостаточной силой ее дифференцирует, поэтому ценностная аргументация, прагматическая по своей природе, превалирует над аргументацией истинностной. Личностные конструкты, имплицитная картина мира субъекта (см. [8]), включающая и этические концепты, влияя

на поведение человека в целом, не может не влиять и на выбор им лексических средств при текстопорождении. Этический компонент значения, предполагающий оценку явления с точки зрения определенных социально-этических норм, входя в структуру личностных конструкторов как наиболее устойчивых представлений субъекта о мире, подчиняющих себе все другие, как определенной когнитивной сетки, сквозь которую видится все многообразие мира, используется для категоризации межличностных и социальных связей и может отражаться в системе текстовых антонимов. Так, в вышеприведенном тексте словам с негативными оценочными коннотациями противостоят полярные по этическому компоненту их значения (материнский, Христос, милосердие).

Ядерным компонентом этического пространства текста можно считать собственно этонимы как обозначения этических концептов, околядерные номинации содержат этические признаки в качестве выводимых из ядерных и, наконец, периферию текстового пространства образуют номинации с потенциальными или наведенными этическими семами. В целом этическое пространство текста можно представить как совокупность этических концептов и стратегий пользования ими, имеющих лексическую экспликацию в совокупности ключевых лексем, замыкающих на себе ассоциативные поля текста. Это пространство служит для представления ценностной картины мира субъекта как составляющей его информационного тезауруса, для выражения его знаний, мнений, установок, личностных конструкторов.

По словам В.Ф. Петренко, «значение текста раскрывается только в контексте некоего ментального пространства, в рамках категоризации, присущей субъекту, социальной общности или человечеству как совокупному культурно-историческому субъекту» [8: 27], поэтому позиция субъекта определяет интерпретацию знака; естественно, особой «пристрастностью» отличаются ценностные приоритеты.

Свои ориентиры в изучении этического пространства текстового слова создает анализ языков этики в рамках логического анализа языка [6]. В указанной коллективной монографии описана лингвистическая метаэтикоречевая стратегия и тактика, типы речевого поведения, типы воздействия на адресата, речевого реагирования на полученный стимул, стили общения, типы

речевого акта в их соотношении с этическими нормами (предостережение и менее категоричные формы общения). Опорными в анализе выступают понятия «этические референты» и «этические концепты», последние рассматриваются как социо-оценочные, регулирующие отношение человека к другому и находящиеся в психическом пространстве между сознанием и волей. К ним Н.Д. Арутюнова относит, например, страх и стыд.

Особый интерес привлекает культурологическая интерпретация этических концептов, присваиваемых субъектом текстовой деятельности и преломляемых через его систему ценностей. Компоненты общекультурного ментального пространства (совокупности значений, образов, символов, пропозиций), включающего и систему ценностных представлений, не напрямую задают отношение субъекта к реальности, а через его личностные смыслы, которые вместе с тем интериоризуют определенные установки культуры, те или иные ее национально-специфические черты. И это понятно, если учесть, что знания о мире — это прежде всего культурные знания, включающие и такие культурные концепты, связанные с общечеловеческими ценностями, как *истина, добро и красота*.

Ключевыми словами этических и аксиологических учений В.И. Постовалова считает *добродетель, благо* и др., а необходимым направлением характеристики человеческой личности в аксиологическом пространстве сущее — должное — «с позиций ценностных координат добро — зло, хорошее — плохое, правильное — неправильное» [9: 407]. Концептуальные оппозиции, моделирующие этическое пространство в наивной картине мира по типу физического (кривое — прямое, крутить и править, движение — состояние, левый — правый и под.) и действующие в лексике, предлагается считать проявлением глобального противопоставления хаос — порядок. Кроме того, Й. ван Лейвен-Турновцова отмечает «гомологичность отношений между внутренней формой лексем со значением “правый” и “левый”, структурой их полисемии и символикой этих категорий в культурной практике европейского ареала» [5: 137].

Для лексиколога очень важно, что доказательства пантопических и панхронических явлений, отражающих универсальные тенденции культурных процессов, ищутся в «моделях изономии». Предметом внимания исследователей становятся и такие

специфические особенности национального самосознания, создающие свои проекции в этическое пространство, как противопоставление справедливости и законности, демократии в русской языковой культуре, значимость синкретизма древнерусских концептов, идущего от библейской традиции, и роль в процессах концептуализации единства корнеслова как отражение синкретизма архаической картины мира; ориентация на православный канон, десять заповедей Моисея как первый по времени нравственный кодекс, соединивший христианские, старозаветные, новозаветные представления и синкретизм архаического мышления (см. [3]). Отмеченные особенности характеризуют и этическое пространство текста, создаваемое его лексическим структурированием.

Так, в статье О. Мандельштама «ПШЕНИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ» политика рассматривается как символ хаоса, разрушения, катастрофы, тогда как экономика становится символом накопления добра во всех его ипостасях. Включая *добро* в ассоциативное поле концепта *порядок* (его можно назвать суперконцептом), автор вслед за языком преодолевает в слове «добро» разрыв между верхом и низом, возвращает его к первоначальной синкрете, воскрешает этимологическую память слова: «**Добро в значении этическом** и **добро в значении хозяйственном**, т.е. совокупности утварей, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба — сейчас одно и то же».

Ранее уже отмечалось, что и современные авторы ведут лексическую разработку этических концептов и норм с позиций христианских ценностей и заповедей. Это относится к разножанровым текстам, имеющим в качестве приоритетной стратегии изменить мировосприятия адресата, привлечение на свою сторону, убеждение в безальтернативности православного канона. Таковы, например, тексты разделов в книге Александра Миронова под общим заглавием «Сущностное восприятие слова», вышедшей в серии «Знание о знании. Развивающее чтение» (СПб., 2000). Ряд ее разделов непосредственно посвящен этическим концептам, в частности, концепту *милосердие*:

«Оно несет в себе только **любовь**, которая пронизывает собою ум, душу и даже сердце человека. В результате в нем нет места как **гордыне**, так и **унынию**. Наоборот, в нем царствует только твердое знание о своем полном **единении со всем миром**,

в котором нет ничего **пропащего**, а есть только **радость бытия** и **созидания**. Все же **горестное** человек **милосердный** воспринимает **смирненно** и только как неизбежное и необходимое **средство** к восхождению в **Царство Небесное... жалость, сочувствие** и **сострадание** — это только последовательные этапы становления одного и того же — **милосердия**, которое, в свою очередь, уже несет в себе непреходящее качество — качество **любви**» (раздел «О милосердии, сострадании, сочувствии и жалости»).

Перед нами своеобразная проповедь, выстраивающая иерархию этических концептов, выступающих опорными в организации лексической структуры текста и получающих экспликацию в словах — этонимах. В околоядерное пространство в раскрытии этической темы попадают слова — ассоциаты, содержащие этический признак в качестве дифференциального (гордыня, уныние, единение, радость, горестное, смирение, Царство Небесное, непреходящее и др.). К периферии этического пространства можно отнести абсолютно неспецифические номинации, получающие этическое звучание в общей структуре текста (ум, душа, сердце, знание, мир, бытие, созидание, средство, восхождение, этапы, становление, качество). Таким образом этические ценности получают свое истолкование с опорой на библейские тексты и с учетом атеистического мировосприятия современника, выводя его на новую категоризацию мира, управляя его пониманием.

Сходные когнитивные стратегии использует автор и в лексической разработке другого этического концепта — *грех*, привлекая в качестве дополнительного аргумента и данные толковых словарей, и психологические знания носителей языка. В разделе «Что такое **грех**?» автор пишет:

«В толковом словаре русского языка слово **грех** представлено как **нарушение религиозно-нравственных предписаний**, как предосудительный поступок, преступление. Получается, что **грех** — это **отклонение от нормы**. Впрочем, это только внешнее проявление **греха**... что же толкает человека ко **греху**? Желание снять внутреннее напряжение? Вероятно. Неверное представление о мире и себе? Тоже справедливо. Отсутствие самовладения? Бесспорно. Таким образом, **грех** — это продукт внутреннего дискомфорта, отсутствия знания и самостоятельно-

сти. Перефразируя последнее, получаем: **грех** — это внешнее проявление неодолимого внутреннего дискомфорта личности через выход ее поведения за пределы одобряемого».

В ассоциативное поле ключевого слова текста как номинации этического концепта попадают не только лексические сигналы связи его с аксиологической картиной мира, выступающие в авторской семантизации слова (ср. нарушение религиозно-нравственных предписаний, предосудительный, преступление, отклонение от нормы, выход за пределы одобряемого), но и те номинации, которые служат выражением причинных связей ключевого слова (внутреннее напряжение, внутренний дискомфорт, неверное представление о мире и себе, отсутствие самовладения, отсутствие знания и самостоятельности). Показательно, что в один ряд здесь попадают указания на разные уровни проявления психической активности субъекта (ментальную сферу, эмоциональное состояние, волевой статус и т.д.). Базовая роль концепта *grēx* в национальном самосознании подтверждается и тем, что на нем замыкается толкование других ценностных понятий: «**Вина** — это осознанный **грех**, и ничего более» (раздел «Что такое вина?», предваряемый эпитафией: «Кто Богу не **грешен**, царю не **виноват**. В.И. Даль»); «**погрешность** является производным от слова **грех**. Получается, что **грех** и **ошибка** где-то рядом по смыслу... **ошибка** — это продукт **греховности**» (раздел «Что такое ошибка?»). Основа интерпретации — семантическая близость слов «ошибка» и «погрешность» в лексической системе языка и деривационная общность слов «погрешность» и «грех».

Еще более отчетливо связь с библейской традицией, с константами русской культуры [11] ощущается в истолковании этического концепта смирение: «**смирняющий себя** начинает вдруг проникать в самую суть и природу всех людей, явлений и вещей... именно **смирение** как предпосылка и цель развития становится для человека абсолютной ценностью. Ведь именно **смирение** сначала лечит, а затем и спасает его. Поэтому-то Нагорная проповедь Иисуса Христа и открывается очень непростой фразой “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное”. Ведь дух как личная особенность, как ни странно, закрывает путь в Царство Небесное. А вы говорите, что смирение — это уничтожение (умаление) себя. Нет и нет. **Смирение** — это

преодоление себя. Вроде бы и немного, но попробуйте сделать хотя бы шаг, и вы ощутите блаженство» (раздел «Смирение как предпосылка и цель развития»).

Полемиическая направленность текста поддерживается не только синтаксическими фигурами отрицания, противоставления, но и фиксацией полярных точек этического пространства, разных личностных конструктов с помощью ситуативно-речевых антонимов (смирение — уничтожение, умаление), а также ситуативно-речевыми сближениями (смирение — ценность, цель развития, преодоление себя, блаженство, предпосылка развития, лечит, спасает).

Не случайно внимание лингвистов все чаще привлекает ценностная основа национальной культуры и языка [13, 1], все чаще они говорят о культурно-языковой норме, в языковой форме эксплицирующей стабильные элементы культуры [10].

Таким образом, этическая картина мира представляет собой важное звено концептуальной картины мира этноса, вследствие чего она связана с различными типами дискурсивных практик, особенно учитывая значимость принципа толерантности во всех сферах жизни современного общества. Этнокультурные ценностные ориентации обнаруживают себя и в политическом дискурсе, проблематичном в плане возможностей совмещения социальных ценностей отдельных групп, классов, общества и власти, принципа исторической целесообразности, с одной стороны, и общечеловеческих, универсальных и традиционных для этноса ценностей культуры. Обращение к этому кругу вопросов и решение на базе концептуального анализа важнейших когнитивных проблем безусловно актуально для современной науки.

Базовыми концептами этической картины мира являются «добро» и «зло», и внимание к одному из членов этой концептуальной оппозиции вполне оправданно, как и рассмотрение его в качестве мегаконцепта с его частными составляющими, не только универсальными, но и специфичными для разных культур (см. исследование С.А. Тихоновой). Привлекаемый автором сопоставительный языковой материал расширяет исследовательскую базу для дальнейшей разработки алгоритмов концептуального анализа, особенно для выявления различных концептуальных признаков на основе лексической экспликации концепта в системе политического дискурса российской и американской

культур. Последнее создает опору для более объективных представлений об особенностях ментальности разных этносов, о способах концептуализации ими политических реалий. Так, выявлена значительная словообразовательная продуктивность и большое количество ЛСВ имен концептов, создание идеологем, частота использования этих номинаций в дискурсе, разнообразие концептуальных признаков, выступающих в сочетаемости имен концептов.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Васильева Г.М. Лингвокультурологические аспекты русской неологии. Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. — СПб., 2001.
2. Гапеева Е.Л. Лексическое представление языковой личности персонажа (на материале романа И.А. Гончарова «Обрыв»). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2001.
3. Герасимова И.А. Деонтическая логика и когнитивные установки // Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
4. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 1999.
5. Лейвен-Турновоцова Й. ван. Панстратические и пантопические аспекты семантизации отклонений от норм в стандарте и нестандарте европейских языков // Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
6. Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
7. Лоренц К. Кантовская концепция а priori в свете современной биологии // Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000.
8. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. — М., 1997.
9. Постовалова В.И. Этическая оценка другого и самооценка в православной духовной традиции // Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
10. Стемковская Ю.Е. Образ человека в чешской культуре // Язык как средство трансляции культуры. — М., 2000.
11. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. — М., 1997.
12. Сулименко Н.Е. Этическое пространство текстового слова // «ТЕХТУС»: ИЗБРАННОЕ. 1994—2004. Вып. 11. Часть 2. — Ставрополь, 2005.

13. Суховой Е.А. Лексические средства адресации в газетном тексте переписки с читателем. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — СПб., 1999.
14. Тихонова С.А. Концепты «зло» и «evil» в российской и американской политической картине мира: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — Екатеринбург, 2006.
15. Трипольская Т.А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. — Новосибирск, 1999.

1.5. ТЕКСТ И ДИСКУРС

1.5.1. От текста и стиля к дискурсу

Понятие *дискурса* в литературе сопрягается с традиционным для стилистики понятием коннотации, контекста и сравнительно новым для языкознания понятием *интертекстуальности*. По Р. Барту, коннотация — это «метка, способная отсылать к предшествующим, последующим или вовсе ей внеположенным контекстам» [3: 17].

При этом понимание контекста существенно расширяется, включая в себя и интертекстуальную информацию. Понятие «дискурс» вызвано к жизни и тем фактом, что информация в нем может быть представлена не только в письменном виде, но и в любой знаковой форме, на любом носителе. В этом смысле «возрождение» к жизни термина «контекст» в его отношении к тексту представляется весьма продуктивным, коррелируя с синергетическими представлениями о соотношении системы и среды, из которой открытая, нелинейная, саморазвивающаяся система (а такой системой выступает и человек, и его язык) черпает вещество, энергию, информацию. Если «контекст — это окрестность текста», то он «представляет собой фиксированные аспекты дискурса... Тогда текстом целесообразнее считать «переменные» аспекты дискурса» [6: 47]. Контекст здесь трактуется и как ситуативный, экстралингвистический, и как тезаурусный, глобальный, охватывающий весь «фонд знаний» создателя и получателя текста, а явные знания эксплицируются в тексте, тогда как неявные представлены в контексте. Широкое

толкование получает и понятие дискурс — «любые взаимодействия любых образов» [6: 47].

Столь, казалось бы, неопределенная трактовка понятий контекста, дискурса вполне оправдана методологически и связана с признанием субъективного, вероятностного характера любого знания, выступающего в семантике возможных миров, создаваемых человеком, с отказом от претензий на построение единственно «правильной», истинностной картины мира, независимой от познающего человека, с отказом от жесткого детерминизма, с признанием роли случайности: «В определенном смысле вся реальность, в которой мы живем, является виртуальной, так как субъективный мир человека основан на свойстве человеческой психики оперировать субъективными образами» [9: 81], а эти образы меняются от сознания к сознанию, да и в сознании одного человека не остаются неизменными в зависимости от его возраста, опыта, обстоятельств, настроения и т.п.

Теория дискурса отрицает упрощенное и редуцированное понимание языка как системы знаков, не отличающейся от других знаковых систем, и «помещает лингвистику в междисциплинарную науку — человековедение, — объектом которой является человек... в *человеческую* (выделено автором. — Н.С.) систему языка вработаны социальность и когнитивность» [15: 12—13].

Антропоцентрическая направленность теории дискурса позволяет связать его с понятием *функционального стиля* и явлением интертекстуальности.

Внимание к системной организации поведения человека сделало особенно актуальными проблемы, традиционно относимые к функциональной стилистике: выбор и употребление языковых средств, функциональный стиль и стили, устанавливаемые по коммуникативной функции языка как ведущей для него или с учетом разновидностей коммуникативной функции (ср. работы В.В. Виноградова, М.Н. Кожинной, А.Н. Васильевой, В.П. Котуровой и др.). В дискурсе же проявляется не только встроенная в систему языка социальность, но и когнитивность, семиотичность, культурологическая составляющая: «Термин “дискурс” на языке современной гуманитарной науки и означает устойчивую, социально и культурно определенную традицию человеческого общения. Духовная культура общества представляет собой ансамбль дискурсов, наделенных различными коммуникативными страте-

гиями» [16: 98]. Автор постулирует возможность встречи, пересечения и взаимодействия разных дискурсов в пределах одного текста, из чего следует отнесение текста и дискурса к разным уровням иерархии речеведческих понятий.

Каково же тогда место в ней функционального стиля? Согласно одному из подходов, человек представлен в языке как системе как человек дискурса, а функциональные стили признаются разновидностями дискурса. Со ссылкой на М. Фуко О.Г. Ревзина замечает: «Присутствующая в функциональных стилях регулярность появления одних и тех же феноменов, невозможность, в конечном счете, их избежать снимает вопрос об отсылке к конкретным текстам или авторам, и функциональные стили объявляются присущими коллективному нарекающему субъекту и коллективному языковому сознанию. Таким образом, интертекстуальные знаки являются хранителями и передатчиками индивидуального знания “для себя”, социального знания для социума и культурного знания... то, что не проходит через интертекстуальный обмен, не удерживается в дискурсе» [15: 17, 19].

Привлекательность этой концепции — в интеграции явлений, связанных с различными исследовательскими парадигмами: функциональной, когнитивной, культурологической, ибо в системе языка, в его функциональных стилях в снятом виде усматривается «глобальная» интертекстуальность, служащая основой порождения дискурса человеком, использующим в порождении те же мыслительные операции, которые заложены в системе языка. С одной стороны, обобщающая семантика термина «дискурс» по отношению к терминам «стиль» и «интертекстуальность» вполне очевидна, но, с другой, эта обобщенность требует четкого выделения и разделения оснований при переходе от дискурса к сопоставлению стилей и текстов (так, можно представить себе монологический, спортивный, этический, религиозный, журналистский, и т.д. дискурс и текст, но не стиль).

Разное понимание термина «стиль» будет связано с системой функциональных стилей языка и стилей речи (речевых жанров, речевых актов). Стиль, видимо, оказывается переходным звеном от текста к дискурсу, его «переменные» аспекты (ср. выше) так или иначе диктуются и ограничиваются той стилевой системой, которая проецируется в текст, как и стилистическими нормами системы языка («стилистика ресурсов»). Вспомним о

двойственном смысле слова «функциональный», связанном не только с функциями языка, но и с функционированием его средств в тексте, не обязательно в строго определенном дискурсе. Особенно это относится к фактам истории языка, когда стилевая система еще не сформировалась, а разные виды дискурса, узуса уже были представлены в литературной традиции, памятниках письменности, деловом языке и т.д. Таким образом, понятие дискурса не отменяет понятия стиля ни онтологически, ни как исследовательского конструкта, определяющего принципы отбора и употребления языковых средств с учетом комплекса функциональных, социальных факторов.

Однако нужно отдавать себе отчет в том, что дискурс может быть выделен и описан по любому (а не только коммуникативному) основанию, имеющему значимость для человеческого поведения, культуры, жизни: медицинский дискурс, эмотивный дискурс, сентенционный дискурс, гендерный дискурс, поведенческий дискурс (животных и человека), экологический дискурс и т.д., которые напрямую не связываются ни с одним функциональным стилем, хотя и выступают проявлением разных видов психической активности, деятельности человека, типов его ментальности и т.п. Если вслед за Н.Д. Арутюновой, понимать дискурс как «речь, погруженную в жизнь» [2, с. 136—137], любое из оснований, связанных с *«жизненными» потребностями субъекта, его жизненным пространством*, результатами его деятельности, может служить отправным моментом для классификации типов дискурсов (ср.: компьютерный дискурс в отличие от языка для специальных целей, обычно дифференцируемого от стиля; детективный дискурс, экономический дискурс, эмотивный дискурс и т.д.).

Общепризнанным в нейронауках стало положение о направленности всех систем человека на достижение положительных адаптивных результатов поведения, предполагающее единство таких сторон его психики, участвующих и в дискурсивной деятельности, как сознание и эмоции, инстинкты, мотивы, установки и потребности: «Оценивая *результаты своего поведения*, человек смотрит на себя “глазами общества” и “отчитывается ему”» [1: 15]. Таким образом, любой артефакт как продукт человеческой деятельности, активности, как и любые свойства этого артефакта, могут быть основой и пусковым механизмом

построения соответствующего дискурса как отражения единства семиотического, культурного пространства.

Информационное поле артефактов освещает природу не только их самих, но и операций, деятельности, в ходе которых они создавались и использовались, тем самым связывая дискурс как систему со средой, служащей источником его энергии и информации, средой как внешней для создателя дискурса, так и внутренней. Общие принципы категоризации, присущие различным системам человека, в наиболее явном виде выражаются на мотивационном уровне, объективируемом в дискурсе, поскольку верхние этажи сознания с потребностными сферами связывает эмоция: «связь инстинктов с концепциями выполняют эмоции», понимаемые как инстинктивная оценка с позиций «нравится — не нравится». Эта же связь обнаруживается в различных стратегиях построения дискурса, все более привлекающих внимание как лингвистов, так и психологов (последних — в плане стратегических регуляций решения задач, в этом случае стратегия определяется «как осознанный способ построения или применения испытуемым системы средств решения задачи» [17: 238].

Любого вида дискурсы выводят на человека как самоорганизующуюся и саморегулируемую систему, преодолевающую накапливаемую энтропию собственной активностью. В закрытые системы не попадает вещество, энергия и информация, они гибнут. Для человека обязательно преодоление энтропии с помощью активного, деятельного начала, и этому преодолению служат создаваемые им дискурсы. Ср.: «Главными механизмами, определяющими адекватность представления о мире субъекта, являются его целенаправленная активность, умение прогнозировать результаты своих действий и вносить в них необходимые коррективы. Слабость каждого из них неотвратимо ведет к формированию искаженной картины мира, ошибочной интерпретации ситуаций и, как следствие, к неадекватным действиям, в конечном итоге приводящим к редуцированию неуспешной активности» [7: 74]. Это во многом объясняет динамическую составляющую в построении и восприятии дискурса, востребованность его в жизнедеятельности человека как инструкции для ориентации в мире и творчества в нем.

Нарастание культурных смыслов в дискурсе, обогащение конечного результата познания, его голографичность обусловле-

ны, в частности, различием точек зрения субъектов на одни и те же события в связи с использованием позиции вне находимости наблюдателей, «своего единственного и неповторимого места вне других людей» [4: 158]; в художественном тексте эта стереоскопичность видения создается различием хронотопов автора, повествователя, рассказчика, персонажей, их ментальных пространств.

С осознанием субъективного характера создаваемых в дискурсе возможных миров, хотя в истоках своих они и связаны с реальностью объективного мира, важными для исследования дискурса становятся понятия: *фигура наблюдателя, фокус внимания, точка зрения*. Учение о точке зрения служит инструментом композиционного анализа текста, прежде всего художественного. Все это — пространственные конструкты, обращенные к первичному способу ориентации человека в мире и вписывающиеся в общую когнитивную категорию ментальных пространств.

Если вслед за Г.В. Колшанским признавать текст основной единицей языка (чего никогда нельзя сказать о стиле и дискурсе) по причине наличия темы как текстообразующего фактора или даже текстовой категории [8: 368], преломления в нем фрагмента знаний в отличие от области знаний о мире, преломляемой в стиле (О.Л. Каменская), то дискурс оказывается не только тематически обусловленным, связывающим совокупность текстов «на заданную тему», но и отражает их связи по серии иных оснований, попадающих в фокус внимания адресанта, адресата и исследователя дискурса (вспомним название книги Б.Н. Ельцина, связанной с автобиографическим и исповедальным дискурсом: «Исповедь на заданную тему»).

Таким образом, дискурсивная тема отличается от тематической заданности стиля, набора присущих ему актуальных смыслов в той или иной сфере употребления языковых единиц определенными социумами со свойственными им социальными ролями. Тема в дискурсе важна не сама по себе, это понятие акцентирует ту мысль, что дискурсивная тема находится в центре внимания субъектов мышления и говорения, определяет направление, фокус их речемыслительной деятельности. Ср.: «Фокус эмпатии гармонирует с коммуникативной позицией текущей темы дискурса» [10: 317].

С фокусом внимания связываются и приоритетные стратегии в описании ситуации, способы интерпретации знания, выступающие в отделении фигуры от фона и эксплицируемые языковыми средствами. Ср., например, фрагмент психологического дискурса, выстраиваемого автором с отталкиванием от дискурса метапоэтического, выступающего «фоном» авторской фигуры; тематической сверткой текста Л. Лосева является заглавие «Нелюбовь Ахматовой к Чехову». Названное чувство-отношение рассматривается на широком историко-культурном фоне: «Правда, существует теория поэзии, согласно которой Ахматова только так и должна была относиться к Чехову, как она к нему относилась, и по-другому быть не могло. Я имею в виду известный трактат Харольда Блума “Невроз влияния”. «Слабые дарования идеализируют (своих сильных предшественников), — пишет Блум, — тогда как личности с могучим поэтическим воображением их усваивают. Но за все надо платить, и это усвоение порождает сильнейший невроз задолженности”. По Блуму, все великие поэты страдают “неврозом влияния”, и первейший симптом этого невроза — отталкивание от источника влияния, т.е. от непосредственного предшественника. Так может возникнуть парадоксальная нелюбовь даже к такому “доброму богу”, как Чехов. Впрочем, рассказывая в 1956 году сэру Исаяе Берлину о страданиях, перенесенных ею в послевоенное десятилетие, она заметила, что перечитала Чехова и что «по крайней мере, в “Палате № 6” он точно описал ее собственную ситуацию и ситуацию многих других» [13: 216].

Понимание культуры как «ансамбля дискурсов», как множества культурных кодов сделало востребованной семиотическую концепцию, утверждающую единство семантики, синтактики и прагматики, единство языкового и внеязыкового содержания. Поскольку культурное знание выступает проявлением знаний о мире, лингвокультурология оказалась тесно связанной с проблематикой когнитивной науки. Дискурс демонстрирует не только тематическую общность при освещении сходных и сопоставляемых событий, но и сменяемость культурных форм и кодов. Вместе с тем, тематическая, когнитивная составляющая не столь уж нерелевантна в этом сопоставлении. Так, понятия «стиль» и «дискурс» сближает по преимуществу лингвистический способ их репрезентации, что и делает их предметом язы-

кознания, хотя о стилях как способах (но не дискурсах) мышления говорят и представители нейронаук.

Таким образом, в рамках *интегральных лингвистических концепций коммуникативные проблемы* в исследовании дискурса сомкнулись с *когнитивными, культурологическими, семиотическими*. Так, М.Б. Бергельсон, вслед за Ван Дейком и М.Л. Макаровым, признает, что дискурс практически приравнивается к коммуникации, понимаемой «как конструирование и реконструирование *смыслов* в рамках *интерактивного и интерпретативного взаимодействия*» [5: 29]. К числу семантических измерений А.Е. Кибрик относит дискурсивное = коммуникативному, отражающее способ оптимальной упаковки передаваемой информации с учетом активированных знаний адресата [10: 110], а в кругу дискурсивно-прагматических концептов коммуникативного измерения им названы «такие концепты, как топик, тема (рема, фокус, данные) новое, эмпатия, точка зрения... фокусирование внимания, поддержание референции» и др. [10: 149].

В концепции Ю.С. Степанова понятие дискурса замыкает на себе и понятие возможного мира, и серию семиотических и собственно лингвистических понятий: «Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, — в конечном счете — особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимических замен, свои правила истинности, свой этикет. Это — “возможный (альтернативный) мир” в полном смысле этого логико-философского термина. Каждый дискурс — это один из “возможных миров”. Само явление дискурса, его возможность, и есть доказательство тезиса “Язык — дом духа” и, в известной мере, тезиса “Язык — дом бытия”» [18: 8, 45].

Показательно, что в «Кратком словаре *когнитивных терминов*» статья, посвященная термину «дискурс», отсутствует, однако Е.С. Кубрякова считает необходимым ввести в это понятие когнитивную составляющую в своих более поздних работах. Ср.: «дискурс может быть определен как такая форма использования языка в реальном (текущем) времени (on-line), которая отражает определенный тип социальной активности человека, создается *в целях конструирования особого мира (или его образа)* с помощью детального языкового описания и является в

целом частью процесса коммуникации между людьми...» [12: 525]. Или там же: «дискурс — это для нас не только “речь, погруженная в жизнь”... но и *действие говорящего* (выделено автором. — Н.С.) со всеми его интенциями, знаниями, установками, личностным опытом и всей его погруженностью в совершаемый когнитивно-коммуникативный процесс» [12: 419]. Ср. еще: «вводя в когнитивную парадигму знания дискурсивную составляющую, мы не только предлагаем новую версию когнитивизма (*когнитивно-дискурсивную*), но и получаем возможность понять более глубоко природу креативного начала в поведении человека, т.е. подойти к рассмотрению *креативности как главной характеристики человека*, проявляющейся во взаимодействии человека с миром, и определить ее как основную черту деятельности нашего сознания» [17: 141].

Введение в когнитивную парадигму знания дискурсивной составляющей многое дает не только для исследования сознания, но и для уточнения *природы функционального стиля*, вбирающего в себя определенные характеристики разнообразных типов дискурсов. Основа и цель развития когнитивной функции человека и его коммуникативных способностей — успешное, адаптивное поведение в условиях меняющейся действительности. Таким образом, теория функциональных систем и когнитивная теория смыкаются в интересе к приспособительным механизмам, обеспечивающим адаптивность мышления и адекватность, успешность поведения человека.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Александров Ю.И. Единая концепция сознания и эмоций: экспериментальные и теоретические разработки // Первая Российская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.
2. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.
3. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». — М., 1975.
4. Бахтин М.М. Работы 20-х годов. — Киев, 1994.
5. Бергельсон М.Б. Моделирование культурно обусловленной коммуникативной компетентности с помощью когнитивных категорий //

- Первая Российская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.
6. *Валькман Ю.В.* Контексты в процессах образного мышления // Первая Российская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.
 7. *Давтян С.Э.* Семиотика психотической реальности // Первая Российская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.
 8. *Данилов С.Ю.* Этика текста в аспекте категории темы // Этика и социология текста. Textus. — СПб-Ставрополь, 2004. Вып. 10.
 9. *Дорохов В.Б.* Концепция «presense» и нарушения деятельности перед засыпанием // Первая российская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.
 10. *Кибрик А.Е.* Константы и переменные языка. — СПб, 2003.
 11. *Кубрякова Е.С.* Что может дать лингвистика для исследования сознания? // Первая Российская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.
 12. *Кубрякова Е.С.* Язык и знание. — М., 2004.
 13. *Лосев Л.* Нелюбовь Ахматовой к Чехову // Звезда. 2002. № 7.
 14. *Перловский Л.* Сознание, язык и математика // Звезда. 2003. № 2.
 15. *Ревзина О.Г.* Лингвистика XXI века: на путях к целостной теории языка // Критика и семиотика. — Новосибирск, 2004. Вып. 7.
 16. *Силантьев И.В.* Текст в системе дискурсивных взаимодействий // Критика и семиотика. — Новосибирск, 2004. Вып. 7.
 17. *Фаликман М.В. и Печеникина Е.В.* О стратегической регуляции решения задач // Первая российская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.
 18. *Язык и наука конца XX века.* — М., 1995.

1.5.2. «Железнодорожный» дискурс и структура художественного прозаического текста

Междискурсное взаимодействие обнаруживает художественное творчество крупнейших авторов прошлого и современности: в поэзии и прозе А.С. Пушкина, А. Блока, О. Мандельштама, М. Цветаевой, И. Бродского и др. взаимодействуют элементы научного, философского, поэтического и метапоэтического дис-

курсов, вводя их тексты в открытое пространство культуры, в междисциплинарную область человековедения. В своих истоках «железнодорожный» дискурс (ЖД) как фрагмент литературно-художественной коммуникации связан с текстами Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского и других русских классиков, что нашло свое отражение и в иллюстративном материале БАС к толкованию соответствующих номинаций. Ср., например: «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ. Относящийся к железной дороге. Ж. транспорт. Ж. магистраль... В полутора верстах от ближней железнодорожной станции, в стороне от всяких шоссе и почтовых дорог... затерялась деревня Б. Кудаша. Купр. Мелюзга...». В справочной части даны отсылки к «Энциклопедическому словарю» Березина (1877) и Словарю Акад. (1893).

В словообразовательное гнездо к слову пассажир («Человек, который совершает поездку на поезде, пароходе или каком-либо ином виде транспорта») входит лексема пассажирка:

«Женск. к пассажир. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Чех. Красавицы); пассажирский «Относящийся к пассажиру, пассажирам, принадлежащий им // предназначенный, устроенный для пассажиров... Поезд идет не товарный, пассажирский. Гарш. Сигнал»; пассажирный «Устар. и простореч. То же, что пассажирский... Вот, как-жись, пассажирный поезд идет. Бунин. Анто. яблоки» [3].

Сама разветвленность гнезда и традиции употребления его членов в художественных текстах свидетельствуют о культурной значимости исходного дискурса для обслуживаемых им практик. Видимо, ЖД в указанный период не менее значим для носителей языка, чем «автомобильный» для наших современников, особенно в постперестроечный период. Любопытно, что в неологических исследованиях отмечается и новое, жаргонное, криминальное значение слова «пассажир»: «объект криминальных действий, жертва обмана, мошенничества».

Вспомним слова О. Мандельштама о «железнодорожной прозе», повлекшее за собой образный метафорический шлейф в организации текстового фрагмента: «На побегушках у моего сознания два-три словечка: “и вот”, “уже”, “вдруг”; они мотаются полуосвященным севастьяновским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают друг на друга и расползаются две гремящих сковороды».

Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанью французского мужичка из “Анны Карениной”. Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предложениями, которым место на столе судебных улики, развязана от всякой заботы о красоте и округленности. Да, там, где обливаются горячим маслом мясистые рычаги паровозов, — там дышит она, голубушка проза, — вся пущенная в длину — обмеривающая, бесстыдная, наматывающая на свой живоглотский аршин все шестьсот девять николаевских верст, с графинчиками запотевшей водки» [1: 87].

Нуждается в пояснении не только закавыченное определение заглавия нашей статьи, но и вторая его часть — дискурс.

Интегральные концепции языка и его единиц (Ю.С. Степанов, Ю.Д. Апресян, Е.С. Кубрякова, О.Г. Ревзина и др.) позволяют рассматривать дискурс и как системно-речевое, коммуникативное, и как лингвокультурологическое, когнитивное явление (Ван Дейк), как один из возможных миров со своим лексиконом и грамматикой, как «язык в языке» (Ю.С. Степанов), как «текст, погруженный в жизнь», во взаимодействии с экстралингвистическими факторами (Н.Д. Арутюнова), как результат процесса взаимодействия в определенном социокультурном пространстве (Н.Б. Вахтин, В. Головкин). Вслед за М. Фуко и его немецкими последователями В.Е. Чернявская рассматривает дискурсивный анализ как средство и возможность социально-исторической и идеологической реконструкции «духа времени». Она считает возможным говорить об особой семантике дискурса — наряду с семантикой слова, семантикой предложения и семантикой текста: «В фокусе дискурсивной семантики оказывается не столько лексическое значение употребленных в дискурсе единиц, их узкоконтекстуальное значение, сколько совокупность импликаций, интертекстуальных и интрадискурсивных отношений. Дискурсивная семантика анализирует и сопоставляет значения слов и/или предложений не только из одного текста, но отобранных для дискурсивного анализа из разных текстов, объединенных тематически» [4: 134].

«Биологические» концепции бытия, жизнестроительства, жизнотворчества поставили в центр внимания исследователей

дискурса как когнитивно-прагматического феномена и сделали важным для выделения и квалификации типов дискурса любой аспект суперкатегории бытийности, жизненного пространства человека, включая и «железнодорожное» (это относится и к пространству внутри поезда, и к виду из окна движущегося поезда). «Заинтересованность» человека в отборе фрагментов реальности, значимых в концептуализации абстрактных сущностей, проявляется в построении источникового фрейма, в область когнитивного притяжения которого попадает целевой фрейм, рождая нетривиальные смыслы.

Сказанное относится к построению метафорического поля, организующего композиционно-лексический уровень структуры художественного текста повести В. Пелевина «ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА» [2], его событийно-сюжетную канву. Лексическая структура текста предстает как ассоциативное поле его заглавия, оба компонента которого являются ядерными, требуя раскрытия своего содержания по ходу повествования. Не случайно автор использует прием многократного диалогического повтора вопроса, требующего не только ответа персонажа, но и активности адресата в его решении, в выходе читателя на новый уровень осмысления реальности с опорой на те лексические вехи, которые расставлены в метафорическом поле текста.

Жанр антиутопии связан с глобальным уподоблением жизни поездке в поезде, идущем к разрушенному мосту. Концепт жизнь, бытие человека попадает в поле когнитивного притяжения источникового фрейма «железная дорога». Ср. реплики диалогов: «Хан покачал головой. — Скажи-ка мне быстро, — проговорил он, — что такое желтая стрела? — Андрей удивленно поднял глаза. — Вот странно... Я сегодня в ресторане как раз думал о желтых стрелах. Точнее, не о желтых стрелах, а так. О жизни»; «Так почему наш поезд так называется? — Не знаю, — сказал Андрей. — Наверно, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все его окна горят, он со стороны похож на летящую стрелу. Но тогда должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд. — Он похож на стрелу не только со стороны»; «Что такое желтая стрела? — повторил Хан. — Где мы?.. — Я вспомнил, — сказал он. — “Желтая стрела” — это поезд, который идет к разрушенному мосту. Поезд, в котором мы едем». Или вопрос Андрея к

соседу по купе: «Куда мы едем? — Ясное дело, куда... К разрушенному мосту». Но данный символ не однозначен: желтые стрелы солнечных лучей тоже «обладали сознанием, надеждой на лучшее и пониманием беспочвенности этой надежды — т.е., как и человек, имели в своем распоряжении все необходимые для страдания ингредиенты», но угасали на столе ресторана «на отвратительных останках вчерашнего супа. “...Может быть, я и сам кажусь кому-то такой же точно желтой стрелой, упавшей на скатерть. А жизнь — это просто грязное стекло, сквозь которое я лечу”».

Повтор (лексический и семантический) касается не только заглавия повести в целом, но и отдельных его компонентов. Так, в ассоциативное поле заглавия попадают цветообозначения и слова, передающие идею блеска, часто сопрягаемую с семантикой уничтожения (одна из дифференциальных сем слова *стрела*): «грохочущая желтая стена (о поезде. — *Н.С.*), желтая стена вагона, дверь из желтоватого пластика с цифрой «ХУ» и царапиной, похожей на обращенную вверх стрелу... тусклый желтый плафон на потолке...»; «Никогда не смогу принять этот грохочущий на стыках рельсов желтый катафалк за что-то другое... когда поезд остановится, за его желтой дверью меня будет ждать белый слон, на котором я продолжу свое вечное возвращение к Неименуемому»; «...облупившаяся желтая краска (на крыше вагона. — *Н.С.*)». Ср. подсоединение текстовых номинаций, содержащих сему блеска в своем значении в качестве актуальной или потенциальной: «пустые вагоны с изрезанными перочинными ножами лавками и стенками с дырками от пуль и следами огня»; «этот поезд в огне (песня Б. Гребенщикова, привлекаемая в порядке интертекстуального включения. — *Н.С.*)»; «граненый флакон дорогого коньяка “Лазо” с пылающей паровозной топкой на этикетке»; «(в демагогической реплике “проводника” с ее последующим разоблачением в текстовом фрагменте. — *Н.С.*) — Человек, даже очень хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает. В том, что он изо дня в день видит вокруг... — Знаете, — сказал Андрей, — я сейчас себе представил такого огромного, пьяного мужика с гармошкой. А гармошка вся отблеском засаленная и блестит. И когда внизу это замечают, это

называется высшей гармонией». Диалог построен на иронической игре омонимами с использованием одного из них в сниженном разговорном варианте. И далее: «Сосед протянул ему маленький цветной буклет: розовое ухо, в которое влетала сияющая — видимо, с отблеском высшей гармонии — металлическая нота с двумя крылышками, примерно 12 калибра».

Таким образом, через семантику блеска приводятся в смысловое взаимодействие цветное обозначение и наименования (явные или подразумеваемые) оружия разного рода. Ср. в финальной главке: «Андрей отошел на несколько метров в сторону и посмотрел на “Желтую стрелу”. Со стороны она действительно походила на сияющую электрическими огнями стрелу, пущенную неизвестно кем неизвестно куда... с обеих сторон (поезда. — *Н.С.*) не было видно ничего, кроме темной пустоты». В тамбуре на стене «была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная»: «Тот, кто отбросил мир, сравнил его с желтой пылью. Твое тело подобно ране, а сам ты подобен сумасшедшему. Весь этот мир — попавшая в тебя желтая стрела. Желтая стрела, поезд, на котором ты едешь к разрушенному мосту». Символика текстового фрагмента достигается омонимией свободного словосочетания и сопоставленного ему имени собственного. Желтый цвет «вытягивает», а точнее, притягивает и другие цветообозначения, несущие сложную символическую нагрузку в тексте (известная внетекстовая ассоциация — «Красная стрела» как название поезда): коридор вагона, по которому с чайными стаканами в руках идут румяные девушки в кокошниках и желтоволосые ребята в красных рубахах, все на одно лицо, похожее на вымя... (речь идет о рисунке на банках из-под пива, которые «раскрашивали в национальном духе и продавали на запад». — *Н.С.*); «Даже оргалитовый лист, покрытый красной краской и обведенный по краю черной каймой, больше всего походил на траурное знамя, так что было загадкой, почему в народе его прозвали подстаканником».

Символика красного цвета отражает стандарты советского лексикона, его идеологемы — стереотипы, с помощью которых формировалось мышление. Не случайно в соответствии с поэтической логикой идея вечного возвращения к Неизъяснимому, мечта о счастье связываются с образом «розового слона», противостоящего «поезду».

Как видим, пространство поезда и вагона определяет способ мышления персонажей, пространство их жизни и ментальное пространство, ту гештальтную основу, которая связана с железнодорожным дискурсом. В его терминах описывается картина мира, представляющая определенную иерархию социальных и локальных установлений, раскрываемых в жанре антиутопии. Ср., например: «С каждым вагоном на восток коридоры плацкарты становились все запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсеки прохода, — все грязнее и грязнее... Потом начались общие вагоны... Мужики здесь ходили в тренировочной затрапезе, а женщины — в застиранных бледных сарафанах; сиденья были отгорожены друг от друга самодельными ширмами, а на газетах, расстеленных прямо на полу, лежали карты, яичная скорлупа и нарезанное сало...»; «подныривая под очередную веревку с бельем»; «невероятно переполненные общие вагоны», «полупомойки-полутаборы». Аллегорически изображен и «жилищный вопрос»: «А бригадир документы посмотрел и говорит: — Он и так в купейном едет, а у нас в общих и плацкарте очередников полно».

Узнаваемые детали уходящей культуры и современности стоят за номинациями: «простыня с треугольными синими штампами», «холодный чай», «полотенце с вышитым двуглавым петухом», «дверь с глубоко вцарапанной надписью “Локомотив — чемпион”»; «штука “дорожных” сигарет». Особенно показательны «железнодорожные» имена собственные: «Путеводитель по железным дорогам Индии», спектакль «Бронепоезд 116-511» в театре на «Верхней полке», номера газеты «Путь» с рубрикой «Рельсы и шпалы», кличка Хана «Стоп-кран»; сосед по купе Петр Сергеевич читает книгу: «Это был Пастернак “На ранних поездах”»; фильм японского режиссера Акиры Куросавы по новелле «Под стук невидимых колес»; в последних вагонах перед границей «не топили печку лет 10, с самого начала Перецепки»; у нового русского Гриши Струпина «модный твидовый пиджак, к лацкану которого была прицеплена крылатая эмблема МПС — стояла она бешеных денег, но у Гриши они были. Еще при коммунистах он приторговывал по тамбурам сигаретами, а сейчас развернулся совсем широко»; его «партнер по бизнесу», друг зловещего детства Иван — «парень из эмигрантов» — считает, что «реальный рынок для туалетной

бумаги очень маленький — только СВ»; название водки — «железнодорожная особая» и др. Замыкает пространство бытия пассажиров и узурпированное поездной властью радио, источающее музыку: «ее, казалось, переливали в эфир из какой-то огромной общепитовской кастрюли», по радио выступает популярная эстонская певица Гуна Тамас, по нему звучит устрашающий стихотворный текст:

«Петроградское небо мутилось дождем,
в никуда уходил Эшелон.
Без конца взвод за взводом и
вождь за вождем
Наполнял за вагоном вагон».

Не случайно при описании железнодорожного состава, по которому движется главный персонаж, упоминается «тюремный вагон» и возле него «вооруженный проводник в ватнике и фуражке». «Зловещее» прошлое слышится персонажам и в щелчке купейной двери: «У него мелькнуло какое-то нехорошее предчувствие — щелчок замка напоминал звук передергиваемого затвора. Потом собственный страх показался ему смешным». Или: «Вошел проводник с чаем. Поставив стаканы на стол, он прибрал сторублевку и закрыл за собой щелкнувшую никелированным замком дверь. От этого щелчка проснулся Петр Сергеевич и посмотрел на Андрея совершенно безумным взглядом». Намек на знаменитую тройку содержит диалог: «... — Утризм принял. — Это еще что? — Это религия такая, очень красивая. Они верят, что нас тянет вперед паровоз типа “У-3” — они его еще тройкой называют — а едем мы все в светлое утро. Те, кто верит в “У-3”, проедут под последним мостом, а остальные — нет».

Ср. еще один диалог: «— Судить их надо, — вдруг сказал он. — Судить надо этих сволочей, вот что я тебе скажу. — Кого? — Всех, — сказал Петр Сергеевич и почему-то перешел на шепот. — Весь штабной вагон начиная с бригадира. Ты посмотри, что делается. Ложек уже нет, привыкли. Ладно. А теперь подстаканники. Где подстаканники, а? Скажи мне, где подстаканники? — Украли, надо думать, — сказал Андрей. — А воры кто? — вскричал Петр Сергеевич тоном Чацкого, устраивающего очередное разоблачение в тамбуре вагона Фамусовых... Родиной торгуют, вот что... — Нынешние хоть в окна

живыми никого не кидают». Диалог отражает две разные системы ценностей: речемыслительный стереотип, ориентированный на советское прошлое с его поисками врага и пафосностью обличения и ироническое восприятие реальности Андреем. Законное про странство предстает как нечто замкнутое и рисуется в образах «Железнодорожного путеводаителя по Индии», т.е. содержит определенный идеологический подтекст: «несущая мимо стена джунглей», «невысокий склон в густых зарослях конопли (которую, стоит поезду замедлить ход, рвут специальными палками из соседних окон), оплетенная лианами цепь пальм, отделяющая железную дорогу от остального мира, изредка река или мост в колониальном стиле или защищенная стальной рукой шлагбаума пустая дорога».

Но и новая жизнь врывается в пространство «Желтой стрелы» во всей своей неприглядности со своими словами — хронофактами, некоторые из которых уже были отмечены. Их состав пополняет в основном сниженная лексика и актуализованные слова иных сфер: наперсточник с сияющим нимбом седых волос, маза, козлы, урла залетная, наехали, навел, съехать с базара, провести по понятиям, накатим, чернуха, ботаник, тусоваться, ракет, инфляция, валюта, ваучер, курс покупки и продаж, бизнес, реформы, фрейдизм, рыжие галстуки, калькулятор, копрофагия, Саддам Хусейн, «Файненшл таймс», Авель (бородатый горец, у которого «даже зубная щетка, торчавшая из его кулака, казалась коротким кинжалом»).

Как видим, средством демифологизации сознания «едущих» выступает погружение слов идеологической семантики в сниженный, карнавальский контекст, разрушающий насильственный порядок дискурса власти, показывающий ложность идеологических ярлыков коммунистического и посткоммунистического новояза.

Таким образом, «просвет бытия» (по М. Хайдеггеру) связан с преодолением замкнутости пространства поезда, с выходом за его пределы, хотя бы на крышу вагона: «Они молча пошли на запад, чтобы хоть на время покинуть осточертевшее пространство всеобщей жизни и смерти», при этом «ни начала, ни конца поезда не было видно, но все же локомотив где-то существовал».

Фрейм «поездка по железной дороге» предполагает узлы: «начальный пункт движения», «конечный пункт движения» и

«возможность остановки поезда». У В. Пелевина их место занимает «темнота», «пустота», «разрушенный мост», «утризм» с его слепой верой в возможность спасения (возникает параллель с семантикой деривата от сниженного глагола «утереться»), песенный рефрен: «Остановите, вагоновожатый... Остановите сейчас вагон» и неясное представление о месте существования «локомотива». Выход на крышу не решал задачи подлинного освобождения, символом которого стал «выход из поезда»: «Я (Андрей. — Н.С.) хочу сойти с поезда живым». В законном пространстве виден и «зеленый холм», и «широкая голубая полоса неизвестной реки», т.е. фрагменты природной естественной среды, противостоящей навязанной человеку и лишившей его свободы выбора и жизнотворчества среде «железнодорожной», разрушающей гармонию. «Краем сознания — потому что иначе это невозможно — замечаю, что... был просто мир за окном и что-то прекрасное и непостижимое несколько секунд существовало вместо обычного роя мыслей, одна из которых подобно локомотиву тянет за собой все остальные, обволакивает их и называет себя словом “я”».

Сигналом преодоления навязанного однолинейного мышления становится текстовое переосмысление значения слова «пассажир», приведенного выше: «Нормальный пассажир, — сказал Хан, — никогда не рассматривает себя в качестве пассажира. Поэтому, если ты это знаешь, ты уже не пассажир. Им никогда не придет в голову, что с этого поезда можно сойти. Для них ничего, кроме поезда, просто нет... важно то, что можно жить так, как будто с поезда действительно можно сойти». Андрей «вдруг понял, что слышит ритмично повторяющийся стук стали о сталь, стук, который и до этого раздавался все время, но не доходил до сознания». «— Запомни, когда человек перестает слышать стук колес и согласен ехать дальше, он становится пассажиром. — Нас никто не спрашивает, — сказал Андрей, — согласны мы или нет. Мы даже не помним, как мы сюда попали, Мы просто едем и все. Ничего не остается. — Остается самое сложное в жизни. Ехать в поезде и не быть его пассажиром, — сказал Хан».

В текстовом использовании слова «пассажир» актуализируются такие признаки стоящего за ним концепта, которые находятся на периферии, в интерпретационном поле культурного

концепта: «неспособность слышать стук колес», «согласие ехать» и «невозможность сойти с этого поезда»; попадая в ядерную зону художественного концепта, эти концептуальные признаки создают основу для негативных коннотаций (признаки рабства, пассивности, подчинения чужой воле, безысходности и др.), связываемых с текстовой номинацией, противостоящей другой, подразумеваемой: свободный человек (для нее актуален признак временности и добровольности пребывания в роли пассажира, наличие целеполагания в деятельности). Меняют свои концептуальные признаки и другие концепты, связанные с субъектными узлами фрейма: проводник, бригадир, метоним «штабной вагон» и др. Ср.: «У вас билет ваш есть с собой? — А я безбилетник, — развязно пошутил Андрей».

Лексикосистемная основа переосмысления касается, помимо номинаций железнодорожного дискурса, еще и других. Обыгрывается не только омонимия слов, о чем говорилось выше, но и их деривационные связи: «культура — культара», спертый и спереть: «— Ты чего дымишь? Тут и так воздух спертый. — Андрей не ответил. Можно письмо в газету написать, подумал он, — мол, братья и сестры, слышал я, у нас и воздух сперли». Ср. трансформацию устойчивого выражения «далеко идущие выводы» в описании ломки стереотипов советского сознания: «Последнее время в ходу были совсем другие лица в духе предвоенных тридцатых, из чего напрашивалось множество далеко идущих выводов. Предоставив этим выводам идти туда в одиночестве, Андрей почистил зубы, умылся и пошел к себе».

Лингвоцентризм втягивает в свою орбиту и явления многозначности с графическим выделением одного из значений: «То, в чем гниют кости, и мир, в котором мы, так сказать, живем, называется одним и тем же словом. Мы все жители Земли. Существа из загробного мира, понимаешь?» (в речи «калифорнийского ангела» Хана). Текстовые синонимы организуют диалог с «соседом» по ресторанному столику, композиционно значимый в самоопределении Андрея:

«— Что это вы такой мрачный? — удивленно спросил сосед. — А вы чего такой веселый? — Я не весел, — ответил сосед, — я радостен. — Ну и я тоже, — сказал Андрей, — не мрачен, а задумчив. Сажу и размышляю...

— Думать, а иногда и размышлять, — сказал сосед, сделав дирижирующее движение рукой, — разумеется, полезно и в жизни весьма часто необходимо... К счастью, путь только один, — веско сказал сосед и ковырнул вилкой в миске. — Найти во всем этом смысл и красоту и подчиниться великому замыслу. Только потом начинается настоящая жизнь».

Эти номинации, находясь на периферии ЖД, исключительно важны для интерпретации глубинного смысла повести. Андрей сделал иной выбор, вняв тексту сакрального письма: «Прошлое — это локомотив, который тянет за собой будущее. Бывает, что это прошлое вдобавок чужое. Ты едешь спиной вперед и видишь только то, что уже исчезло. А чтобы сойти с поезда, нужен билет. Ты держишь его в руках, но кому ты его предъявишь?»

Исключительная значимость «звуковой темы» для самоидентификации героев, характеристики их способности слышать звуки и различать их (вспомним концептуальный признак «пассажира» — неспособность слышать стук колес) объясняет активное использование автором явлений фоносемантики — звукоподражания и звукоимитизма. Прозрение героя сопровождается его способностью отличать звук от тишины и различать качество самих звуков: «Тишина была похожа на пшенку в его миске — она была такой же густой и вязкой; голоса и звуки из окружающего пространства беспрепятственно проникали в голову и начинали перекачиваться внутри, как шарики в лотерейном барабане, становясь на время его собственными мыслями». Отсутствие звуков отмечается и в заключительном эпизоде остановки поезда: «Андрей вдруг понял, что стоит вокруг оглушительная тишина. Колеса больше не стучали. Он поглядел в окно и увидел неподвижную ветку с большими черными листьями в квадратном пятне света, падавшего из окна. Поезд стоял».

После выхода из поезда темнота казалась герою «бесконечной и тихой; из нее прилетал теплый ветер, полный множества незнакомых запахов». Способность к восприятию усилилась лишь после того, как «лягнули растянувшиеся сочленения между вагонами, поезд тронулся и стал набирать ход... громыхание колес за спиной постепенно стихало, и вскоре он стал ясно слышать то, чего не слышал никогда раньше: сухой стрекот в траве, шум ветра и тихий звук собственных шагов».

В звуках как своего рода «культурных паролях, по которым люди узнают своих соседей по вагону», как в «метаязыке» иронически рисуется и внутреннее пространство поезда: «Стук колес, сопровождающий каждого из нас с момента рождения до смерти, — это, конечно, самый привычный для нас звук». Стук колес в разных странах мира воспроизводится путем звукоподражания фонетическим системам языков этих стран, «но, конечно, красивее, задушевнее и нежнее всего колеса стучат в России — “там-там”». Ложнопатриотический пафос раскрывается через семантизацию обозначаемых этими звуками наречий (хотя известны и иные ассоциации — шаманского толка, сопровождающие звучание тамтама): «Так и кажется, что их стук указывает в какую — то светлую зоревую даль — там она, там, ненаглядная». Здесь пародируется не только пристрастие «пассажиров» «поезда в огне» к «стуку» (в переносном значении этого слова), но и одна из особенностей российской ментальности — предпочтение неба земле, поиски своего особого пути.

Наречие «там», сопрягаясь в тексте со звукоподражанием, становится указанием на свободное, законное пространство, символом другой жизни. Ср. диалог девочки с мамой: «Девочка спросила, что там, кто там живет? — Там животные, — сказала мама. — А еще кто там? — Еще там боги и духи, — сказала мама, — но их там никто не видел. — А люди там не живут? — спросила девочка. — Нет, — ответила мама, — люди там не живут. Люди там едут в поезде. — А где лучше, — спросила девочка, — в поезде или там? — Не знаю, — сказала мама, — там я не была. — Я хочу туда... — Подожди, — горько вздохнула мать, — еще попадешь. — Я хочу туда-а, — пропела девочка на несуществующий мотив. — Там-там, там-там».

Таким образом, в лексической структуре текста повести В. Пелевина отмечается междискурсивное взаимодействие. Обоснованной представляется правомерность выделения с привлечением материалов толковых словарей и классического материала «железнодорожного» дискурса как лингвокультурного феномена, послужившего основой создания символических смыслов и композиционной структуры художественного текста. Радиус действия «железнодорожного» дискурса в тексте чрезвычайно широк: от лексикосистемных группировок слов, основанных на отношениях слов в семантических полях: рода и вида, синонимии,

антонимии, многозначности, омонимии, — до фоносемантических особенностей периферийной части лексического состава языка. ЖД замыкает на себе входящие в лексическую структуру текста слова, определяя их место в качестве ядерных, околоядерных и периферийных в текстовом ассоциативно-семантическом поле заглавия повести.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Мандельштам Осип*. Сочинения. Т. 2. — М., 1990.
2. *Пелевин В.* Желтая стрела. — М., 2003.
3. Словарь современного русского литературного языка. — М.; Л., 1948—1965. Т. 1—17.
4. *Чернявская В.Е.* Дискурс и дискурсивный анализ: традиции, цели, направления. // Стереотипность и творчество в тексте. — Пермь, 2002.

1.5.3. Текст и когнитивно-дискурсивная природа ситуации

Как следует из содержания предыдущего раздела, проблема дискурсивных практик и обслуживающих их текстов упирается в необходимость истолкования природы ситуации.

Типология ситуаций в конечном счете обусловлена характером национальной культуры и позиционированием партнеров по коммуникации: их статусом и социально-психологической дистанцией. Эта связь объясняет значимость когнитивно-дискурсивного подхода к истолкованию понятия ситуации в собственно лингвистических штудиях, включая и те прототипические ситуации, которые легли в основу значения фразеологизма, обусловив его образное содержание, этимологический признак, «зародыш» стоящего за ФЕ концепта.

Не менее актуально исследование типов ситуаций, имеющих иные способы языкового выражения, прежде всего лексические. О.Г. Почепцов, говоря о наложении ситуаций на языковую категоризацию, использует понятие ситуационной сетки [14: 112], а по словам А.В. Кравченко, «в языке как системе изначально

заложена способность приписывания говорящему различных ролей, т.е. ролевые идентификаторы являются частью когнитивного содержания языкового значения» [9: 27]. Следовательно, коммуникативные стратегии, определяющие речевое поведение субъекта в той или иной ситуации, предопределены этим когнитивным содержанием. Более того, ситуативный критерий выступает важнейшим для установления близости текстов по содержанию [20], а это уже отражение не только коммуникативного, но и когнитивного подхода к понятию ситуации [12].

В то же время полиноминативность референта в текстовой ситуации выступает как отражение смены точек зрения текстовых субъектов, ракурсов их наблюдения в физическом и ментальном пространстве, в общем пространстве культуры, ведя к созданию объемного, голографического изображения. И хотя приоритетная роль в номинации ситуаций отводится высказыванию, сама номинативная функция сближает высказывание и слово, выступающее элементом текстовой ситуации и способом свертывания суждения на уровне кода, представляя конвенциональное суждение в снятом виде на уровне слова в словаре. Таким образом, когнитивная составляющая сближает высказывание и слово. Ср.: «Любое высказывание есть отношение познающего субъекта к тому объекту, на который направлен его познавательный интерес, т.е. оно есть субъективное суждение об объекте» [17: 91]. Обратим внимание на полиноминативность референта в текстовой ситуации романа В. Пелевина «Поколение “П”»: **«Вещизм. Как ныне собирается Вещий Олег — т.е. за вещами в Царьград. Первый барахольщик (еще и бандит — наехал на хазаров)»**.

Ориентация на идеального адресата, «великодушного и терпеливого», его способность к совмещению знаний, связанных с организацией различных дискурсивных практик — научной, философской, бытовой, художественной, — повлекла за собой полиноминативность главного референта книги Е. Елизарова «Философия кошки». Ее главная героиня названа не только словом-прототипом, вынесенным в заглавие, — **кошка**, но и в зависимости от сюжетной ситуации, события, эпизода, микротемы и способа ее интерпретации, фокуса внимания автора, его интенций, определяющих выбор концептуальных признаков предмета «философствования», ей присваиваются другие номи-

нации: героиня повествования, **Василиса Мариновна, питомица, Умница, Красавица — Золотая — По краям Серебряная — В Серединке — Бриллиантовая — Сбоку Бантик, маленький комочек, живой таращивший огромные глаза кулечек, довольно позднее обретение человека, явно выраженный хищник, таинственная пришелица, священное животное, грациозное существо, кошки-оборотни, любимица пророка (Мухаммеда. — Н.С.), подарок, хорошенькая моя, ласковое игривое животное, зверек, редкая диковинка, собственность обывателя, дымчатые кошки, скромная кошка, один шотландский кот, полезное домашнее животное, некий культурный феномен, вестница каких-то темных сил, ночной хищник, чудовище, одно из обличий Сатаны, маленький помощник человека, охранительница нашего жилища, иной разум, маленький зверек, ужасная трусиха, четвероногий пушистый комочек, маленькое наблюдательное существо, некое маленькое домашнее божество, более развитый и сложно устроенный организм, домашняя кошка, надменная красавица, не отличающийся размерами зверек, таинственные, неведомые ранее существа, посланница каких-то иных, «потусторонних» сфер, дикая кошка, бездомная соплеменница, весьма смышленное и развитое создание, это умное наблюдательное (и умеющее делать весьма точные выводы) животное, ренуаровская Анна, маленькая игривая хищница, прирожденная исследовательница, моя добрая питомица, неисправимая попрошайка, представительницы ее племени, кот Хэмфри, главный мышелов Британских островов, осиротевший кот, домашняя любимица, прирученная одомашненная кошка, член моей фамилии, особь, живое существо, сельские кошки, вечная пленница городской квартиры, ответная на ласку питомица, весьма смышленный и находчивый член моей семьи, опытный — не чета мне — психолог, загадочное существо по имени кошка, «род млекопитающих семейства кошачьих», «кот ученый», мудрость, психотерапевт нашего дома, целительница, добрый доктор Айболит, массовик-затейник, пушистый доктор, четвероногий рапсод, муза, неведомая сила, маленький человечек, четвероногий миссионер, высокий профессионал, маленькая четвероногая весталка, мой маленький добрый товарищ по цеху, «мыслительница», теплокровные, четвероногая порода естествоиспытателей, хвостатое племя, юная исследовательница**

ца, счастливая кошка, маленький беззащитный зверек, жалкое замершее передо мной тельце, добрая отходчивая душа, прощательное существо, моя бдительная и отважная воительница, маленький, но вместе с тем очень гордый член моей семьи.

Здесь приведен далеко не полный перечень номинаций референта и стоящих за ними концептуальных признаков, выступающих в сочетаемости и привлекаемых при описании ситуации гештальтах, метафорических моделях, преимущественно антропоморфных. Ср. еще: «Подлизываясь к этому суровому нордическому характеру, она (кошка — *Н.С.*), как школьница, часто задирала его своими коготками, и, казалось, обмирала от счастья, когда он (сын. — *Н.С.*) в ответ начинал катать ее ногами по всему полу»; «но при всей той трогательной любви, которую она дарила хозяйке дома, что-то в кошке было явно и от женщины»; «В какой-то степени эти несчастные выброшенные на улицу порождения городской цивилизации похожи на наркоманов»; «...развалившаяся на мягком диване кошка — это вовсе не заевшаяся лентяйка; ее сладко прижмуренными глазами на нас смотрит некий сибаритствующий философ, который может рассказать нам о нас же самих многое такое, что даже никогда не приходит в нашу голову. Я и сам все в той же “позе дивана” часто люблю предаваться глубоким философским размышлениям о чем-то вечном, и (рыбак рыбака?..), глядя на нее, нахожу, что пусть мы с нею и относимся к разным биологическим видам, принадлежим все же к одному и тому же цеху»; «В ампула оставленной всеми инженеру она просто неотразима... Моя же кошка — настоящий магистр великой и древней игры на струнах хозяйской жалости»; «Во всем, что касается сложившегося распорядка дня, она — въедливый дотошный бюрократ... Она никогда не упускает случая напомнить о том, что уже уходит время ее ужина... наконец, как старая ворчливая нянька, после половины одиннадцатого она начинает настойчиво гнать меня в постель»; «Два старых цеховых товарища, мы хорошо понимаем друг друга...»; «Кошка всею своей трепетной душой стремится понять их (порядки нашего дома. — *Н.С.*), и именно постижение их существа — решительно миную неприемлемую для нее стадию подчинения не претендующей ни на что приживалки — преобразует ее усилия в род тихого подвижнического служения законам нашей общей с нею обители... Говоря несколько “машинным” языком, — это продукт

функционирования некоторой единой сложной системы “человек — животное”».

Уже в приведенных примерах слово определяло концептуальные признаки участника ситуации преимущественно в тематической позиции и функции, хотя наиболее отчетливо они обнаруживались в пропозиции, в акте предикации, где слово в наибольшей мере реализует свои интерпретативные свойства, связанные с интенциональностью, волевым усилием говорящего. Ср. еще: «Бездомная кошка “пище-центрична”, и, как кажется, кроме пищи, ее не волнует уже решительно ничего»; «...кошки — настоящий эликсир молодости для их владельцев. Любое домашнее животное благотворно влияет на здоровье своего хозяина, но кошкам это удастся лучше всех»; «...врожденная деликатность (не отделимая, впрочем, и от известной гордости) диктует ей свой стиль поведения — она никогда не станет обременять нас своими заботами; ее пожизненный труд сокрыт даже от самых близких, и перед всеми нами, обитателями общего дома, без всякой корысти взятого ею в пожизненную опеку, она (“блистательна, полувоздушна”) всегда предстает только при полном параде»; «...кошки — это ярко выраженные индивидуалистки, они не сбиваются в стаи, а значит стайные инстинкты им в значительной мере чужды... Домашняя кошка — не дикая, это совершенно иной биологический вид, и хотя она еще не потеряла способность к спариванию со своими дикими соплеменниками... за шесть тысячелетий тесного контакта с человеком у нее уже успели сложиться иные инстинкты... моя питомица ничуть не довольствуется ролью простого бездушного автомата, которому разрешено отвечать лишь на то, что замыкается на физическое наказание или физиологическое поощрение».

Внимание к «частному случаю» в синергетике, к пространству наблюдателя, его восприятию поставили понятие ситуации в центр внимания исследователей дискурса как когнитивно-прагматического феномена.

Если признавать человека мерой всех вещей, а его индивидуальность высшей ценностью, то и судьба человека, даже чудака, чудика (В. Шукшин, С. Довлатов) предстает как система его жизненных ситуаций (ср. у М. Жванецкого: «То, что с нами хотели сделать, — это судьба, а то, что получилось, — биография»), как динамический фрейм, сценарий. Отсюда вытекает

важность ситуативного подхода к анализу жизненной или художественной судьбы «героя», субъекта, изучения ее в системе жизненных или смоделированных ситуаций с координатами *я — здесь — сейчас*. Ср. когнитивное истолкование роли ситуации в человеческом бытии: «В прототипической ситуации линейно-последовательного движения наблюдающего мир человека пространственность бытия (бытие пространства?) познается как ряд последовательно сменяющих друг друга сопряженных областей предметного пространства, образующих своеобразную ось человеческого бытия [9: 82].

В терминах синергетики ситуация *я — здесь — сейчас* выступает как со-бытие (бытие в динамике, в определенном хронотопе), соединяющее прошлое с будущим, и содержит аттракторы дальнейшего поведения системы, которое определяется не прошлым и не целями, стратегиями будущего, а настоящим, причем из веера аттракторов победивший становится закономерностью, хотя был выбран системой в итоге блуждания по полю возможностей. Точнее говоря, поведение системы в настоящем определяется как прошлым, так и будущим (см. работы Князевой и Курдюмова). Не случайно в истоках антропоцентризма внимание к событию, высказыванию, субъекту-наблюдателю, дейксису и т.п. К эксплицитным компонентам плана содержания высказывания относятся, например, пропозиция, фокус, рема, к имплицитным — пресуппозиция, установка, модальный компонент, импликатура дискурса [3: 201].

Со стратегической организацией дискурса, с мотивационным аспектом ситуации общения связываются и интертекстуальные включения, позволяющие как бы ввести «в диалог еще одного участника (обычно физически отсутствующего)» и подвергнуть чужую речь «творческой интерпретации, в зависимости от наших намерений в конкретной ситуации общения» [3: 272]. С семиотической природой знака связывается участие ситуации «текста в тексте» в создании семантики возможных миров на композиционном уровне их организации: «Поскольку любой знак или текст как знак существуют через отсылки к своим референтам, в этом смысле возможные текстовые миры действительно создаются и обладают онтологическим статусом» [2: 96] и, как известно, своим лексиконом, входя в определенные типы дискурсов.

Как видим, понятие ситуации оказалось востребованным как в коммуникативных, функциональных, так и в собственно когнитивных штудиях. По Ван Дейку, модель ситуации выступает основной формой репрезентации знаний, схема ситуации включает «окружающую обстановку, обстоятельства, участников и их действия или различные свойства этих составляющих», мнения и оценки людей (см. [4: 82—87]). Ср.: «Признание “встроенности” когниции, “отелесненности” разума должно вывести нас на разговор о необходимости изучения биологической обусловленности многих, во всяком случае, базовых, ментальных моделей» [8: 103].

Ситуативный подход к тексту и дискурсу диктуется самой сущностью процесса понимания, требующего интерпретации события и поведения его участников, учета языковых и внеязыковых знаний, «вертикального» контекста. К категории языковых относится и знание сфер употребления языковых средств, типовых ситуаций, отражаемых тем или иным стилем и дискурсом. Эти языковые явления и их нормы выступают ориентиром для речевого поведения субъекта: «в структуре языковых значений содержится компонент, направляющий использование языка и его воздействие на процесс восприятия мира в конкретных ситуациях общения [9: 15].

Ситуация оказывается важной не только как элемент жизненного цикла человека, но и как та среда, хронотоп, в которых опредмечивается, объективируется его деятельность и которые поставляют энергию и информацию, необходимую для человеческой активности. Ситуация понимается и как сложно организованный субъективный образ объективной действительности, как элемент картины мира: «Нельзя описать язык в терминах соответствия между Словом и Миром, если под Миром не понимать картину мира, порождаемую нашим опытом [9: 15]. По словам В.Б. Касевича, ситуация предстает и как семантический фрейм, и как «внутриязыковой способ выделения одного из “кадров” внешней действительности» [7: 27]. Для описания языкового явления здесь используется киносценарный культурный код (ср. в этом плане работы И.А. Мартяновой).

Помимо глобально культурологического принципа в истолковании ситуации в литературе представлен когнитивно-дискурсивный подход к ней [10], а также глобально когнитивный, свя-

зывающий дискурсивные практики с разными типами знания: «Спецификация знаний в дискурсе позволяет говорить о разных типах знания: частное, духовно-религиозное, социальное, научное, культурологическое... Еще один тип знания... помещает «я» в мир воображения — в художественный мир, имеющий собственно вербальный статус существования [16: 74]. По мнению Т.А. Фесенко, «образы», «ситуации» и «идеи» находятся в голове человека, но не в тексте «и, собственно, взаимодействие между тем, что мы уже знаем (нашими знаниями, опытом, представлениями), и тем, что нам сообщает текст, и составляет тему когнитивной лингвистики» [19: 49]. Суперкатегория бытийности как интегральная для жизнедеятельности связывает понятие ситуации, события и хронотопа, собирает пространство и время наблюдателя и деятеля воедино, поэтому ось бытия предстает в образе пути, дороги, а время — как «последовательность сопряженных областей сущего» [9: 83].

Активно используется термин «ситуация» при ее социолингвистическом освещении; со ссылкой на Дж. Фишмана о «доменах» как классах ситуаций говорят Н.Б. Вахтин и Е.В. Головкин: «Домен — это совокупность признаков, таких как место, тема и участники коммуникации, т.е. некоторый институционализированный контекст, в котором один языковой вариант предпочтительнее, чем другой» [3: 101]. Авторы различают «вариант по пользователю» (диалект) и «вариант по использованию» (регистр). Используясь в определенной коммуникативной ситуации, регистр показывает не «кто вы есть», а «в какой роли вы выступаете или хотите выступать» [3: 45]. Р. Райтмар указывает на следующие типы ситуаций: приватная, социальная, профессиональная, официальная [15], ни одна из которых напрямую не связана с определенным функциональным стилем, но выводит на типовые сферы общения, в которых осуществляется дискурсивная деятельность.

Такой подход вполне соответствует преимущественно коммуникативной основе выделения стилей и их квалификации в русистике и общей стилистике. В этом случае определяющим понятием для стиля является соотношенность его средств с той или иной сферой употребления. Она диктует взаимодействие в тексте абсолютно специфических, относительно специфических и неспецифических языковых — прежде всего лексических —

средств. Но «сфера употребления» — не что иное, как совокупность типовых ситуаций, в которых реализуется норма стиля, тот или иной тип текста и свойственный ему способ мышления, а это требует введения в дискурсивный подход когнитивного измерения. Закон «оборачивания» средств и цели объясняет связь сферы употребления (т.е. совокупности определенных ситуаций деятельности людей), во имя которой языковые средства специализировались, и самих характеристик этих средств, ставших объектом лингвистического анализа.

Общая основа внеязыковой ситуации и лингвистических средств, ее обслуживающих, дискурсивных практик — знание того и другого, т.е. опыт, компетенция (деятельностная, языковая, коммуникативная, этнокультурная), связанные с представлениями об определенных культурных нормах и кодах. В коммуникативно-дискурсивном ключе дифференциация ситуаций проводится и в синтаксических исследованиях, в референтных концепциях высказывания (Е.В. Падучева и др.). Не случайно категории локативности и темпоральности рассматриваются как денотативные, как категории «первой степени отражения», в которых одновременно представлена «в обобщенном и отвлеченном виде как ситуация общения, так и ситуация, о которой идет речь» [18: 41]. М.Я. Дымарский в одной из последних работ различает ситуации денотативно / сигнификативные, с одной стороны, и коммуникативные — с другой. Последние характеризуются «соотношением собеседников во временном, пространственном, социальном и прочих аспектах, состоянием текущей коммуникации, интенциями участников и т.п. Особый случай коммуникативной ситуации — текстовая ситуация» [6: 19]. Считается возможным объяснить синтаксические закономерности в языке «через двигательную активность тела... ментальные репрезентации следует трактовать как репрезентации ситуаций, а не ментальные репрезентации самого языка, т.е. формирование вербально-пропозициональных форм представления знаний обусловлено ситуативным взаимодействием агента и среды» [8: 104].

Особую значимость ситуативный принцип имеет для исследования уровней структуры художественного текста, например, сюжетного, событийного уровня, замыкающегося на ситуации как элементе эпизода, текстового фрагмента, поскольку ситуа-

ция выступает как пространство от одного события до другого, а пространство — обязательная содержательная универсалия текста ввиду его неотделимости от субъекта, его фокуса внимания, точки зрения в данное время: «каждая последовательность событий является также совокупностью ситуаций, самое большее — одной ситуации в любом данном месте» [21: 669]. Типы хромотопных ситуаций в художественном тексте рассмотрены И.Н. Левиной [11]: сопряженность времени и места особенно отчетливо выступает в эпиграфе к статье («Время не есть. Время имеет место» *М. Хайдеггер*) и в выделении ситуации «не здесь и не сейчас», выводящей на гиперконцепт «небытие».

Не менее значим ситуативный принцип в квалификации содержательной стороны слова. Традиционно «ситуацией называются внеязыковые условия, раскрывающие значение слова», при этом различают «жизненную ситуацию, в которую входят общие жизненные условия, прямой показ и некоторые другие факторы, и текстовую ситуацию, которая подразделяется на текстовое описание жизненной ситуации и общую тему текста» [1: 4]. При этом словесная и внесловесная ситуация поддерживают и питают друг друга (ср., например, перевод сценария в театральное действие). По словам В. Дорошевского, «в семантическом содержании каждого слова заключены элементы ситуаций, в которых мы употребляли это слово или встречались с его употреблением. Эти элементы, связанные с воспоминаниями ситуаций, определяют идиоматический характер слов каждого языка, а идиоматичность — это неразрывная связь со средой» [5: 102], т.е. с системой более высокого ранга, преодолевающей разрыв разных видов информации — лингвистической и нелингвистической, связь с дискурсивными практиками, эту среду обслуживающими. Ситуация дает ключ и к пониманию значения «как превращенной формы деятельности субъекта, познающего и преобразующего мир» [13: 18]. Во всех этих случаях интеграция разнообразных факторов в определении ситуации и связанного с ней дискурса (когнитивных, коммуникативных, культурологических, собственно семантических) открывает путь к изучению картины мира в системе ситуаций, как и жизненного пространства человека. Эти факторы смыкаются в интересе к приспособительным механизмам, обеспечивающим адаптивность мышления и адекватность, успешность поведения

человека. Подобная заинтересованность и включает лингвистику в междисциплинарную область человековедения.

Стремление к целостному знанию в гуманитарной сфере побуждает ученых говорить о сближении разных типов дискурсов, например, собственно научного и создаваемого художниками слова. С постмодернистским дискурсом связываются проявления аналитизма как в науке, так и в искусстве.

Сближение научного, философского, поэтического и метапоэтического дискурсов обнаруживает творчество крупнейших поэтов: А.С. Пушкина, О. Мандельштама, М. Цветаевой, И. Бродского и др.

Разнообразие метафор, используемых в истолковании ситуации и дискурсивных практик, с нею связанных, говорит о недостаточной понятийной и терминологической их определенности. Вместе с тем, одна метафора (известно, что почти все научные термины — бывшие метафоры) проясняет содержание другой. Так, метафора культуры «ансамбль дискурсов» проясняет метафору «язык — дом бытия», поскольку разные аспекты бытия преломляются в различных дискурсах одного вида или разных видах дискурсов. Например, решение проблемы качества жизни, важнейшей в современной гуманитарной сфере, требует сопряжения элементов медицинского, социологического, гендерного и других дискурсов, предполагающих знание соответствующих им ситуаций. Ср.: **«...состояние здоровья и болезни отражает наличие или отсутствие социальных контактов... У тех людей, у которых очень мало друзей и просто позитивных контактов, уровень смертности в 2—4 раза выше** (курсив автора. — *Н.С.*), **чем у тех, чья система поддерживающих взаимоотношений достаточно обширна. Важность социальных взаимоотношений в каком-то смысле конкурирует с известными в сфере здравоохранения факторами риска, такими, как курение, кровяное давление, ожирение и недостаток физической активности... активные женщины... были более “социально адаптированы” и менее одиноки и изолированы. Помощь другим порождает социальные связи. Принятие ими на себя различных ролей свидетельствовало о том, что они не считали себя обязанными ограничиваться ролью жены и матери... вышли за рамки образа совершенной женщины 1950-х годов, раскрыв другие стороны своей личности»** (Мэттью Маннинг. Путь к здоровью).

Как видим, вопрос о соотношении ситуации и смежных явлений при всей его актуальности нельзя считать решенным, он нуждается в дальнейшей разработке, одну из попыток которой содержит настоящий раздел.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Арнольд И.В., Банникова И.А. Лингвистический и стилистический контекст // *Стиль и контекст*. М., 1972.
2. Бразговская Е.Е. Интерпретация текста-в-тексте: логико-семиотический аспект // *Критика и семиотика*, 2005, № 8.
3. Вахтин Н.Б., Головкин Е.В. Социолингвистика и социология языка. — СПб., 2004.
4. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. — М., 1996.
5. Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. — М., 1973.
6. Дымарский М.Я. Трехуровневая система синтаксических моделей и проблема порождения высказывания // *Функционально-лингвистические исследования*. Сб. научных статей в честь проф. А.В. Бондарко. — СПб., 2005.
7. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. — М., 1988.
8. Кобрин Н.А., Абаева Н.А. Наш новый журнал и что мы ждем от него в перспективе // *Вопросы когнитивной лингвистики*. 2005. № 1.
9. Кравченко А.В. Язык и восприятие. — Иркутск, 2004.
10. Кубрякова Е.С. Язык и знание. — М., 2004.
11. Левина И.Н. Дейктический хронотоп в художественном тексте. // *Функционально-лингвистические исследования*. Сборник научных статей в честь профессора А.В. Бондарко. — СПб., 2005.
12. Новиков А.И., Чистякова Г.Д. К вопросу о теме и денотате текста // *Известия АН СССР, серия литературы и языка*. 1981. Т. 40. № 1.
13. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. — М., 1997.
14. Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира // *Вопросы языкознания*. 1990. № 6.
15. Райтмар Р. Функциональные и культурно-сопоставительные аспекты прагматических клише // *Вопросы языкознания*. 1997. № 1.
16. Ревзина О.Г. Дискурс и дискурсивные формации // *Критика и семиотика*...

17. Санников Ю.В. Рец. на кн.: А.А. Маргарян. Коммуникативная функция и структура высказывания. — Ташкент, 1988 // *Филологические науки*. 1989. № 5.
18. Слюсарева Н.Д. Синтаксис и морфология в свете функционального подхода. // *Филологические науки*. 1989. № 5.
19. Фесенко Т.А. Креативность и проблемы перевода // *Вопросы когнитивной лингвистики*...
20. Якушин Б.В., Ярославцева Е.И. Критерий близости текстов по содержанию (ситуативный критерий) // *Известия АН СССР, серия литературы и языка*, 1989. Т. 39. № 6.
21. Barwis J., Perri J. Situations and attitudes // *The Journal of Philosophy*, 1981. Vol. 78, N 11.

1.6. ТЕКСТ И СУБЪЕКТЫ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.6.1. Субъектный план лексической структуры текста

Структура художественного текста в разных ее аспектах послужила предметом особого внимания В.В. Степановой в лингвистических исследованиях последнего времени [16; 20; 22; 21; 19; 18]. Последовательную разработку в рамках руководимой ею проблемной группы получила проблема субъектной организации художественного текста. Достаточно, например, сослаться на кандидатские диссертации, посвященные лексическому структурированию персонажной и неперсонажной сферы литературной коммуникации, разных видов внутри- и внетекстового субъекта [5; 24; 10; 2; 11; 4].

Свой вклад в решение этих вопросов может внести интегративная теории текста и его понимания, необходимость построения которой отмечается в книге А.А. Залевской «Текст и его понимание». Расширяя психолингвистические рамки исследования, автор трактует культуру как среду обитания текста, связывая с коллективным знанием «те ориентиры, в соответствии с которыми продуцент текста придает последнему определенную структуру, отвечающую принятым культурой требованиям к языковому оформлению содержания высказывания»

(текста в широком смысле): именно продуцент совершает реальные действия “по поиску и организации языковых средств”» [6: 26]. Означивание текста (наделение его значением) связано с обращением индивида «к своему вербальному и невербальному, перцептивному, когнитивному и аффективному опыту (личному, но включенному в социальные взаимодействия) при обязательном сочетании понимания с переживанием понимаемого» (там же). Неоднозначно относясь к лингво-синергетическому подходу к тексту, автор тем не менее использует его аргументацию, указывая, что энергия создателя текста воплощается в этом продукте его речемыслительной деятельности, а доступ адресата к энергиям коллективного знания обеспечивается его означиванием.

У. Эко назвал роман машиной — генератором интерпретаций, и его название должно дезориентировать читателя: «Он не может предпочесть какую-то одну интерпретацию. Название должно запутывать мысли, а не дисциплинировать их. Ничто так не радует сочинителя, как новые прочтения, о которых он не думал и которые возникают у читателя» [25: 598]. «Эхо интертекстуальности» автор связывает и с поэтической способностью, способностью текста порождать различные его прочтения, и с возможностями самого материала: «В работе материал проявит свои природные свойства, но одновременно напомнит и о сформировавшей его культуре [25: 602]. На необходимость интегрального подхода к тексту еще раньше указывала Е.С. Кубрякова: «Текст — это событие и семиотическое, и лингвистическое, и коммуникативное, и культурологическое, и когнитивное и т.д.» [8: 23].

Как бы ни относиться к синергетическим концепциям текста, включая интерпретацию единиц его анализа в книге [12], следует признать удачным осмысление смысловой сферы — возможного мира как представителя внутреннего мира текстового субъекта — интегративного образования, энергетической фигуры, репрезентирующей миры субъектов. В их число входят фигура артеавтора, фигура ментеавтора (рассказчика и повествователя), фигура индукторов (выразителей неавторских идей) и фигура адресата. На пересечении возможных миров находится актуально-действительный мир, интерпретируемый как пространство коллективного сознания.

Ярлык «субъективизма» кажется особенно неуместным сейчас, «когда даже в “науках о природе” общепризнано, что установка исследователя и инструмент исследования не только неизбежно влияют на полученный результат, но, так сказать, закономерно входят в его состав» [17: 198]. Тем более естественно внимание к роли субъекта в текстовой действительности, когда «язык... выступает как средство конвенциональной ориентации в концептуальных системах коммуникантов; автора и реципиента. Посредством языка происходит трансформация субъективных смыслов, единственно имеющих реальное психическое бытие, в интерсубъектное знание» [15: 38]. Сказанное в первую очередь относится к лексическим средствам языка как способу объективации внутреннего мира текстового субъекта. Этой их функции служит апелляция авторов разножанровых текстов к внутренней форме слова, его возможной и «наивной» этимологии, позволяющей соединить общекультурные, конвенциональные представления с личностными смыслами, развиваемыми на языковой основе, хотя и с отталкиванием от нее. Продуктивность такого подхода обусловлена тем, что слово лежит в основе любого знания о мире, и обыденного, и научного, и вненаучного.

Рассмотрим некоторые тексты, лексическая структура которых характеризуется отмеченным общим признаком в создании семантики совершенно различных возможных миров. Ср., например, попытку заполнения языковой лакуны в экспликации у Б. Ахмадулиной единства материнского начала и других смыслов в концепте «милосердие»;

РодЕтельница, — говорят вологодские старухи:
Родить, радеть — единый ряд.
Весь род упасший от разрухи...
И наш умеет век **рАждать,**
Радея о несовпадениях [1].

Другой автор [26], отмечая направленность слова к «призываемой» вещи, его способность быть открывателем или предтечей явления, «а главное, *излучать* ту *энергию смысла*, которая не обязательно должна найти себе применение вне языка и мышления», ссылается на близость в древнерусском языке слов *вещь* и *весть* (поступок и слово): «“Называемая *вещь*” — что

назывательная сила самого слова, его способность быть *вестью*, “*вещать-веществовать*” за пределами своей звуковой формы». Такие сближения высвечивают интенциональную основу в создании текстовой концепции слова, мотивационный уровень в структуре языковой личности.

Культурологические потенции слова служат отправным моментом, пусковым механизмом авторской концептуализации фрагмента русской истории и культуры в тексте А. Битова «Царь-Пушкин»: «В Москве, в нашем и впрямь замечательном Кремле есть два особо знаменитых объекта: царь-колокол и царь-пушка (самые большие в мире). Друг Пушкина, первый наш философ-западник Чаадаев как-то выразился по этому поводу...: что это за манера такая хвастаться перед каждым иностранцем колоколом, который ни разу не звонил (он раскололся) и пушкой, которая ни разу не выстрелила? ...фамилия *Пушкин* (курсив автора. — Я.С.), восходящая к слову *пушка* (курсив автора. — Я.С.), тем не менее уже ни кем не воспринимается как тяжелая ...это легкое имя Пушкин!» — воскликнул поэт (Блок). В его имени победило другое созвучие: пух, пушок. Лишь власть, достаточно протравив его при жизни, по инерции продолжает отливать Пушкина из пушки, **чугунно и бронзово** выстраивая его под государственный символ... Он все нам основоположил — романтизм, реализм, принципы авангарда. Так «Евгения Онегина» по формальным признакам можно счесть достижением постмодернизма. Царь-Пушкин все еще и палит, и звенит» [3]. Исходная для авторского новообразования номинация отмечена в «Толковом словаре русского языка» Ожегова и Шведовой: «4. Царь. — В сочетании с другим существительным характеризует кого-, что-н. как нечто выдающееся среди других подобных (*устар. и разг.*). Ц.-колокол. Ц.-пушка». Текстовую лексическую парадигму образуют номинации разночастеречной природы, содержащие семы, связанные с функцией реалии, ее признаками, способом изготовления и материалом. Эти свойства реалий создают основу для авторской концептуализации культурной темы «Пушкин» при том, что ключевыми словами в ее экспликации выступают сдвоенные номинации, вынесенные в позицию заглавия, абсолютного начала и абсолютного конца текста и включающие в свое ассоциативное поле близкие по звучанию слова, содержащие в своей се-

мантике противоположные семы в качестве неядерных. Так просвещается метаязыковая основа создаваемого в тексте концептуального пространства.

Как видим, проблема авторства, обнаружения своей точки зрения, связана с необходимостью культурно-языковой самоидентификации, определения места говорящего в культурном пространстве, соотношения своего и чужого слова в культурном диалоге, привлечения прецедентных текстов.

Внимание к истокам слова как носителя, источника и хранителя всех видов знания (от сакрального до научного) проявляется в многократных привлечениях библейского текста для разгадки содержания концепта, стоящего за Словом, и создания текстовой концепции по этому поводу, например, филологической. «Сотворение нового слова потому столь опасный и прельстительный жанр, что в нем приходится состязаться с тем **Словом**, через которое все начало быть» [25]. Ср., еще: «И сказал Бог. “Сказал” — то же **имя** Бога, что и “Слово”». «**Сказал — Бог** = Бог-Слово, Христос. Он санкционирует акт творения и сотворяет. А что “Он увидел, что это хорошо”, — это признание в любви к созданию». А поскольку человек лишь «убогое» подобие Бога, он смертен и должен, по мысли автора, нести свой крест, заложенный в самом акте творения: «Пусть не целью. Но центром его был крест. Не рай и вечная жизнь, а грядущий *крест...* (авторский курсив. — Н.С.) Человек, прямоходящий, — вертикаль. Пересечение человека и человечества — вот и крест. **Крестик** на карте» [13]. Или у другого автора в эссе под названием «В начале было Слово»: «...нельзя говорить о возможных впереди недугах у кого-то. Слово опасно — оно порой материализуется в дело. Ведь и впрямь: В начале было Слово» [7].

И какую бы «речевую маску» ни избирал субъект текстостроения (автора, повествователя, рассказчика, персонажа), его коммуникативные стратегии и тактики направлены на реализацию, развертывание замысла как предметно-тематической свертки, нерасчлененного смыслового единства, нуждающегося в переводе на композиционно-лексический уровень с его системой ключевых слов как средств доступа к семантике создаваемого возможного мира и образуемых ими ассоциативно-смысловых текстовых полей. Замысел теснейшим образом связан с мотива-

ционным уровнем в структуре языковой личности, поскольку мотив относится к числу реальных, выполняющих жизненно важные функции в системе отношений человека с миром и обеспечивает энергетическую базу текстопостроения, требующего волевых, как и интеллектуальных и эмоциональных усилий: «ни один внешний или внутренний акт поведения не может произойти без его мотивационной и, стало быть, энергетической обеспеченности. Без энергетического аспекта психическая деятельность так же невозможна, как и без информационного» [27: 2000].

В структуре текста, особенно художественного как глобально антропоцентричного, лексически интерпретируются различные ипостаси субъекта, отмечаемые в лингвистических исследованиях (см., например, [14]): субъект наблюдения, субъект мысли, чувства, воли, действия и др. Они находят отражение и в соответствующих элементах композиции художественного текста (сюжет, образная структура, типы повествования, функционально-смысловые типы речи, элементы пространственно-временного континуума, хронотопа (интерьер, пейзаж, событие, эпизод и др.), портретные зарисовки). Как уже отмечалось [23], выход на элементы композиционного уровня в анализе лексической структуры художественного текста позволяет представить фрагмент ментального пространства автора, его внутреннего мира, выявляемый в моделировании им второй реальности, которая получает самостоятельную бытийную силу, входя в общий контекст культуры и в той или иной мере модифицируя культурное пространство как сложную неравновесную, динамическую, флуктуирующую систему.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Ахмадулина Р.* Блаженство бытия Воспоминание // Знамя. 2001. № 1.
2. *Байбулатова Е.Н.* Лексическая структура текста и проблемы, языковой личности / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — СПб., 1998.
3. *Битов А.* Пушкинский лексикон // Звезда. 2000. №12.
4. *Ганеева Е.Л.* Лексическая структура текстовых фрагментов с мнологической речью персонажа (на материале романа И.А Гончарова «Обрыв») / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук — СПб, 2001.
5. *Давыдова Л.В.* Лексическая презентация речевого акта в текстовых фрагментах с диалогическим единством / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — Л., 1992.
6. *Залевская А.А.* Текст и его понимание. — Тверь, 2001.
7. *Крелин Ю.* «В начале было слово» // Октябрь. 1999. № 10.
8. *Кубрякова Е.С.* Текст и его понимание // Русский текст. — СПб., Лоуренс-Дэрем. 1994. № 1.
9. *Кубрякова Е.С.* Язык и знание. — М., 2004.
10. *Кусаинова Т.С.* Темы «пространство» и «время» в лексической структуре художественного текста (по роману В. Набокова «Другие берега») / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук — СПб., 1998.
11. *Лаврова Л.А.* Лексические средства презентации духовного мира персонажа (на материале романа Ф.М Достоевского «Идиот») / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — СПб., 1999.
12. *Мышкина Н.Л.* Внутренняя жизнь текста. — Пермь. 1999.
13. *Найман А.* Неприятный человек // Октябрь. 1999. № 1.
14. *Падучена Е.В.* Семантические исследования. — М., 1996.
15. *Пищальникова В.А.* Психопоэтика. — Барнаул, 1999.
16. Проблемы исследования слова в художественном тексте / Под ред. проф. В.В. Степановой. — Л., 1990.
17. *Роднянская И.* Гуманитарная мысль: светская или религиозная? Материалы дискуссии // Знамя. 2000. № 7.
18. *Степанова В.В.* Заглавие как структурный компонент художественного текста: лингвистический аспект // Говорящий и слушающий: языковая личность, текст, проблемы обучения. — СПб., 2001.
19. *Степанова В.В.* Лексическая структура художественного текста в коммуникативном аспекте // Актуальные проблемы функциональной лексикологии. Сб. статей в честь профессора В.В. Степановой. СПб., 1997.
20. *Степанова В.В.* Слово в тексте. Из лекций по функциональной лексикологии. — СПб., 2006.
21. *Степанова В.В.* Субъектная организация художественного текста и анализ его лексической структуры // Русистика: лингвистическая

парадигма конца XX века. Сб. статей в честь профессора С.Г. Ильенко. — СПб., 1998.

22. Степанова В.В. Функциональный аспект лексической парадигмы // Лингвистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения проф. Н.П. Гринковой. — СПб., 1995.
23. Сулименко Н.Е. Композиционно-лексический уровень организации художественного текста // Лингвистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения проф. Н.П. Гринковой. — СПб., 1995.
24. Чурилина Л.Н. Лексическая структура текстовых фрагментов с прямой речью (на материале романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы») / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — СПб., 1994.
25. У. Эко. Имя розы. — СПб., 2000.
26. Эпштейн М. Слово как произведение: о жанре однословия // Новый мир. 2000. № 9.
27. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. — М., 1971.

1.6.2. Лексическая интерпретация «ликов» автора в текстовом пространстве

В разделе анализируются «роли», которые могут быть приписаны автору текста (например, «вкладчик», «подсудимый», «неофит», «предмет культового поклонения»). Данные «роли», «лики», исследуемые в рамках метафорических полей текста, отражают ценностную картину мир автора, особенности его морального сознания.

Автор как субъект мысли, речи, восприятия, наблюдения и т.д. в лексической структуре художественного текста предстает в разных своих ипостасях (артеавтора, рассказчика-ментеавтора — термины Н.Л. Мышкиной [3], персонажа, адресата). Но он же может (и это касается разных типов текста) служить объектом рефлексии и саморефлексии, различных интерпретаций как способов экспликации знания, выступающего в различных видах текстовой информации (содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и подтекстовой).

В лексической организации текста раскрываются все «роли», которые приписываются автору текста, и его ролевая структура проступает как иерархия, не менее сложная, чем ро-

левая структура ролевого прогнозируемого «параметризованного» адресата. Эти роли, отражая ценностную картину мира автора, особенности его морального сознания, взаимодействия в нем этического и эстетического, реализацию этических концептов, получают отчетливую лексическую экспликацию в метафорическом строе текста. Здесь выявляются личностные основы интерпретации (личностные смыслы, личностные конструкты, установки, потребности), обусловленные не столько знанием как таковым, сколько «предзнанием», мнением и всей сферой субъективного, не связанного с условиями истинности. Проблемные концепты (а именно таким выступает концепт авторствования), не поддающиеся однозначной, сугубо личностной интерпретации, освещаются, раскрываются через голографический подход к явлению, событию, через смещение фокуса внимания, что предполагается сменой метафорической модели, и через создание объемного, целостного образа субъекта текстопождения.

Судьба автора в контексте эпохи постмодернизма и культуры в целом, культуры как «саморасширяющейся Вселенной текстов», как «самовозрастающего логоса» рассмотрена в статье А. Секацкого «Я к вам пишу» [4]. Сама апелляция к прецедентному тексту в заглавии задает не только тему, но и шутливо-ироническую форму, которая допускает нагнетание разнообразных метафорических моделей и разрушает привычные трагические сетования по поводу «смерти автора». Интерпретация авторствования как вклада в культуру влечет за собой многочисленные семантические последствия, связанные с переосмыслением слова «вклад» и формированием на этой основе ядра метафорического поля текста. Слово «вклад», помещенное в композиционно значимую позицию зачина, обуславливает способ раскрытия темы с позиции экономической познавательной модели и связанных с ней концептов.

Основу текстового метафорического поля составляют финансово-экономические номинации: «...из всех видов вкладов именно этот наиболее надежно защищен от инфляции, ведь произведение обладает самовозрастающей стоимостью и после смерти вкладчика. Пожалуй, посмертное начисление процентов идет еще быстрее, чем прижизненное. Эта целенаправленная метафоризация не препятствует сохранению единства темы, и со-

пряжение, казалось, несоединимых областей деятельности передается сдвоенной номинацией «автор-вкладчик», где приложение по закону смыслового согласования высвечивает в своем значении именно те культурные смыслы, которые соотнесены с зачином и предполагаются семантикой слова «автор». Культурное пространство вокруг «автора-вкладчика» моделируется по типу не только финансово-экономического, но и физического, географического, исторического, культового и др. с привлечением соответствующих номинаций и прецедентных текстов: к «начисляемым процентам» относится не только «имя автора-вкладчика, произносимое с придыханием, но и *«увекоченные сельские домики и городские маршруты»*. В итоге «некая часть среды обитания, и без того перенаселенной, изымается в Мемориал — и народная тропа не зарастает». К финансово-экономической метафоре добавляется культовая, истоки поклонения автору ищутся в культовой сфере: *«Поводыри и стражники кормятся вокруг культа, получая свою долю процента и клеймя позором не слишком ретивых прихожан: “В греческом зале, в греческом зале...”* Приобщение автора к культурному пространству и его канонизация связывается с языческими эталонами: речь идет о формировании «новых пантеонов» (Гораций, Тициан, Гете занимают место Зевса, Геры, Артемиды): в *«затомисах»* Д. Андреева обитают новые национальные покровители: Бах и Гете — в *«заоблачной Германии»*», «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Блок образуют синклит небесной России», а «персональные святилища Древней Греции, вроде храма Ники Самофракийской, коррелируют с нашими мемориалами, такими, как Веймар, Михайловское и Ясная Поляна, ждущими своих “паломников”». Лексическими сигналами эталонов культурного пространства авторствования служат имена собственные лиц и названия мест обитания «национальных покровителей», их «персональных святилищ».

Сближение слов «культура» и «культ» не мешает текстовому движению сквозной финансово-экономической метафоры: *«Канонизация автора, следовательно, может быть представлена как высшая и последняя стадия капитализации процентов по вкладу»*. Иногда эта метафорическая модель сближается с «банковской», соединенной с «компьютерной»: «Однако Банк Памяти с его сверхнадежными сейфами имеет ряд особенностей:

число единиц хранения в нем ограничено, а проценты начисляются только первым, первым в своем роде. Одним словом, этот депозитарий, принимающий “произведения господина N”, больше всего напоминает финансовую пирамиду».

В терминах современного экономического дискурса осмысляется и вся культурная ситуация XX века, ситуация глобального авторствования: «И вот случилось, наконец, то, что должно было случиться. XX век стал эпохой обманутых вкладчиков. Число авторов сравнялось с числом “прихожан” — т.е. *текстопотребителей*, способных обращать внимание на *персональную пометку* при тексте и тем самым быть “источником фимиама”». В оппозиции «автор-адресат» второй член пары получает текстовую семантизацию своего значения, объединяя в *культовой метафоре* и *«наивных»*, и тех, кто «кормится» вокруг культа, служа «источником фимиама». Имя автора низводится до уровня «персональной пометки при тексте». Но парадокс ситуации заключается в том, что авторы — «обманутые вкладчики» «не торопятся расходиться — напротив, толпа все прибывает и прибывает». Необходимость объяснения этого парадокса влечет за собой переход от «банковской» метафорической модели к «медицинской»: «Просто высокая болезнь... приобрела характер *эпидемии* и перешла в стадию маниакального авторствования...»

Окказиональное наименование «болезни» раскрывает свою семантику в серии метафор, связанных с определением психологического статуса создателя текста: «быть автором — значит находиться в измененном состоянии сознания, быть вне себя. Если автор есть *одержимый*, то какова природа “одержавшего?”» Авторское новообразование — залоговый коррелят к переосмысленному субстантивату — порождает постановку глобальных вопросов о природе, источнике авторского, поэтического творчества; «*Кто* вдохновляет поэта, если *вдохновляющая инстанция* вообще отвечает на вопрос “кто”»? Неопределенность, неясность «авторствования» эксплицируется через синонимическое сближение в тексте местоименного слова и словосочетания по предельно абстрактным компонентам их семантики. Расценив заявление Р. Барта о «смерти автора» как форму кокетства, А. Секацкий отвечает на поставленный вопрос с использованием далее эзотерических метафор: «*призрак*», «*дух авторствования*», «*голодный дух*», обретающий «дефицитную плоть» или материализацию в тек-

стах, внедряющийся в «специфическое бессознательное автора как особого субъекта-деятеля». Эта сфера концептуализируется с помощью базовой метафоры вместилища и других ориентационных метафор, сопровождающих эзотерические, в характеристике роли «субъекта-деятеля». Сфера его бессознательного предстает как резервуар дикой энергии, привнесенной голодными духами в момент воплощения — в конечном итоге эта энергетика и движет рукой пишущего.

Движущая сила авторствования интерпретируется как «воля-к-произведению». И в бессознательном автора отыскивается «*первичная кража*». В метафорической форме определяются этапы становления личности автора, начиная с выявления мотивов, интенций (лексические экспликативы этого уровня в структуре авторской личности — «движущая сила», «воля»), интериоризации элементов культурного знания с расшифровкой содержания, породившего «уголовно-правовую» авторскую номинацию: «*неофит присваивает*» поразивший его взгляд на мир, причем акт присвоения тут же погружается в “подсознание”, специфическое бессознательное автора». Психологический механизм «вытеснения», связанного со «страхом влияния предшественника», включает в себя, по мысли автора статьи, два мотива: «*первичная кража и замечание следов*». Первый из мотивов, представленных в терминах криминальных, уголовно наказуемых деяний, объяснен с помощью этимологически родственных слов и путем графического указания в тексте на эту близость: «Испытавший вос-хищение расплачивается по-хищением».

В спортивных терминах это интерпретировано как «передача эстафеты», в иных — как «акт порочного зачатия» и рождения автора благодаря элементам творческого заимствования (иронический текстовый синоним к «первичной краже»), без которых не может быть построен оригинальный текст. Явление интертекстуальности, факт неизбежности включения автора в общекультурное пространство метафорически описываются как акт инициации, оплодотворения: «Кто *обольщен* сильным предшественником, по-настоящему иницирован в авторствование: в него заронено *семя*, из которого может родиться агент воли-к-произведению».

Этот каскад метафорических интерпретаций к мотиву авторствования завершается сентенцией, распространяющей прецедентный текст пословицы «Не пойман — не вор, не украл — не

автор». В анализируемой статье исследуется еще одна причина «*невроза авторствования*», названная «*комплексом самозванства*». Термины фрейдистского психоанализа в их трансформированном виде сочетается с другими, обращенными не только к медицинской, но и к судебной, уголовно-правовой сфере: «*мания величия*», «*хроническое авторствование*», «*подсудимый*», «*разоблачение*».

Таким образом, ликами автора, проступающими в предельно разнообразных метафорических моделях текстового пространства, становятся «вкладчик» (в том числе и обманутый), «подсудимый», «предмет культового поклонения», «неофит», «жертва инициации», «вместилище потусторонних сил», «человек в измененном состоянии сознания», «принимающий эстафету», «хронически больной» и др. Анализ обширного метафорического поля, включающего столь разнородные метафорические модели как основу экспликации концепта «автор» в лексической структуре текста, подтверждает и справедливость завершающей текст сентенции: «Придется согласиться с тем, что у художника самая легкая этическая участь (тут с него нечего взять) — и самая трудная — эстетическая».

Метафорическое пространство текста служит, как мы видели, преломлением и этической, и эстетической составляющей авторской концептосферы, включающей и культурный концепт «авторствования», авторскую рефлексивность и саморефлексию по поводу этого феномена.

В ином метафорическом обличье «лики» автора проступают у О. Мандельштама [2]. Поэт у него уподобляется «отцу Мартину» «средневековой пословицы, который сам служит мессе и сам слушает ее. Поэт не только музыкант, но он же и *Страдивариус*, великий мастер по фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций “коробки” — психики слушателя» («О собеседнике»). Интерпретационные действия автора и реализация его когнитивных стратегий связаны с привлечением и культовой, и музыкальной, и «конструкторской» метафоры в изображении отношений «адресат — адресант», а также прецедентных текстов, наглядно представляющих процессы самоадресации, авторской рефлексии над поэтическим текстом в ходе его создания.

Последнее наблюдение согласуется с положениями психолингвистики о таких данностях, регулирующих функциональ-

ную сторону процесса порождения речи, как реализация, эталон и контроль при одновременной ориентации автора на уровень эталон-образец и общую голограмму-эталон. При этом общий замысел квалифицируется как образ цели (см. [1]). С привлечением широкого круга культурных знаний, но уже при опоре на растительную метафорическую модель О. Мандельштам описывает духовную смерть автора, осуждая ее как самоубийство, как отречение от своего таланта и творческих принципов: «Еще недавно <...> один писатель (М.Э. Козаков. — *примечание О. Мандельштама*) принес публичное покаяние в том, что был орнаменталистом или старался по мере сил им быть. Мне кажется, ему уготовано место *в седьмом кругу дантовского ада*, где вырос *кровоточащий терновник*, и когда какой-нибудь турист отломит *веточку* этого *самоубийцы* (слово приобретает в тексте синкретический смысл. — *Н.С.*), он взмолится (антропоморфная метафора растения. — *Н.С.*) человеческим голосом, *как* Пьетро де Вилеа: “Не тронь! Ты причинил мне боль! Иль жалости ты в *сердце* не имеешь?” Мы были люди, а теперь деревья. И капнет капля черной крови» («Москва»).

Лицами автора в приведенных фрагментах прозы О. Мандельштама становятся «священнослужитель», «грешник-самоубийца», «рефлектирующая личность-самоадресат», «музыкант», «мастер» и другие, порожденные гештальтной структурой текста. Текст содержит информацию о константах ценностной картины мира автора, раскрывает содержание его морального сознания.

Когнитивные стратегии в раскрытии концепта «автор» реализуются не только в отборе и внутритекстовой организации «наличных» языковых средств, но и в их создании. Так, М. Эпштейн предлагает термин «мемы» для названия единиц культурной памяти, требующих взгляда извне, отстранения для познания самих себя. Вводя новые лексические номинации и тем более создавая словарь новых терминов-понятий XXI века [5], автор утверждает себя как вполне определенную личность, достаточно амбициозную, отстаивающую свое право на нестандартное видение ситуации и на прогнозирование будущего (включая и языковое) с позиций своих общекультурных представлений. В аспекте темы «авторствования» представляет интерес трак-

товка таких новых терминов, связанных с культурным пространством XXI века, как «гиперавторство» и «мультивидуум»: первый толкуется как «создание множественных авторских личностей (и соответствующих произведений), не имеющих за собой бионосителей («реальных» индивидов)», а второй — как «множественный индивид, разнообразные «я» которого могут иметь самостоятельное телесное воплощение, сохраняя при этом общее самосознание».

Единицы культурной памяти включают в себя и этическую информацию, представленную в виде этических концептов как составляющих моральное сознание. Традиционные этические нормы, концепты, эксплицированные в слове, становятся более рельефными при сопоставлении с теми, которые еще не приняты (а может быть, и не будут приняты) коллективным сознанием носителей языка. Их судьба проблематична, вполне вероятно, что они останутся элементами семантики одного из возможных миров, соотношенных с миром «действительность», но авторские новообразования выявляют такие «лики» и «роли» пишущего, как «прорицатель», «футуролог», «культуролог», «лексиколог» и «лексикограф».

Новые представления об эволюции мира универсума (или «мультиверсума») и человека в мире, прогнозы относительно судеб цивилизации рождают и новые номинации, связанные с новизной самих этических концептов или с необходимостью новой интерпретации традиционных этических представлений и норм. Одна из таких номинаций (точнее, две) — «техноэтика», «техномораль»: «*Техноморалью я называю* новые возможности *морали*, вытекающие из развития науки, техники, средств коммуникации. *Техномораль* — это создание глубинных связей между “я”, “ты”, и “он”, тех диалогических отношений, которые имеют и *техническое*, и *моральное измерение*».

Проблема диалогизации общения приобретает, как видим, новое измерение. На смену альтернативы концептов «техника» и «мораль» (в XVIII—XX веках техника и мораль часто противопоставлялись друг другу. «Науки и добродетель несовместимы», — провозгласил Ж.-Ж. Руссо ровно 250 лет назад, в 1750 г.) приходит их интеграция, взаимопроникновение, лингвистическим сигналом которого выступает сложное новообразование и перечислительная конструкция в его семантизации. Оно предпола-

гает обращение к традиционным номинациям полярных этических концептов, очерчивающих границы этического пространства. В ассоциативное поле ключевого в обозначении нового концепта слова «техномораль», вынесенного и в позицию заглавия раздела, приоритетную в создании опоры для понимания, входит и такой традиционный «этоним» как «злодейство», хотя и трансформирующий свой смысл в текстовой этической парадигме. Ср.: «Техника делает обратимыми наши поступки, усиливает обратную связь наших действий, создает эффект бумеранга, так что мы сильно рискуем оказаться *жертвами собственного злодейства*». Эту роль автор не исключает и для себя. Актуализированной, наиболее яркой в слове «злодейство» оказывается сема «обратимый» и «бумеранга», который, как известно, возвращается. В то же время заполнена и такая обычная для предикатного слова позиция, как позиция объекта действия с включением стереотипной номинации «жертва». При этом «прежнее четкое деление на “субъект” и “объект” исчезает, и все, что задумано против других, обращается против нас самих».

Таким образом, концептуальное пространство «злодейства» расширяется, оно распространяет последствия своего действия не только на других, но и на производителя действия, его субъекта, также попадающего в позицию жертвы. В такой же позиции, судя по авторскому словарю, может оказаться и любой пишущий как жертва «гиперавторства».

Отмеченное ранее «техническое измерение» новых диалогических отношений эксплицировано ассоциатами ключевого слова «ядерное оружие», «разрушительное оружие», «техническое изобретение», создающими свои ассоциативные поля в отношениях глобальных следствий, технических новшеств, следствий, часто амбивалентных в морально-этическом плане, «огонь войны», «холод ядерной зимы», «погибнут и они сами, и их близкие», «зло», «насилие над природой», по «принципу терпимости и миролюбия», «принцип ненасилия», «преподанный техникой урок взаимности». Ср. в тексте: «Именно близкая опасность ядерной войны ввела принцип терпимости и миролюбия в международную политику, т.е. сблизила ее с этикой»; «...новая экологическая мораль, которая предполагает не отказ от техники, а развитие тонких и безотходных технологий». Здесь когнитивной

стратегией автора определена семантизация этического термина с привлечением «технонимов», среди них и слово «тормоза», послужившее основой метафорической номинации «экологический тормоза».

Помимо технического, концепт «техномораль» имеет и моральное измерение. Категорический императив Канта, как моральное измерение новых диалогических отношений, переводится на язык социальных процессов, сопоставляясь с глобализацией и данными современной науки о «хаососложности». Думается, что в создании своей научной концепции автор отталкивается от положений теории универсального эволюционизма, положений синергетики с ее идеей малых резонансных воздействий, имеющих большие следствия, что в авторском тексте интерпретируется как «эффект бабочки»: «Бабочка, взмахнувшая крыльями в Китае, может породить ураган в Бразилии. Все настолько взаимосвязано, что действие любого человека потенциально оборачивается последствиями для всего человечества, включая данного индивида». Автор настаивает на усилении тенденции обратимости «по мере убыстрения коммуникации и создания нейросреды, проницаемой не только для текстовых знаков, слов и чисел, но и для мозговых процессов, нейронных возбуждений». Прозрачность в обществе ставится в прямую зависимость от степени совершенства техники. И при условии встраивания приборов мышления в мозг человека, обуславливающего приближение людей друг к другу и открытость общества, «этическая работа над тайным содержанием своих помыслов станет повседневным императивом, таким же правилом этикета, как сейчас выбор слов в процессе социальных взаимодействий». Этические требования к участникам коммуникации предстают как глобальные требования категорического императива и этикетной коммуникации в широком смысле слова.

В целом же авторские прогнозы относительно следствий связи двух отмеченных в концепте «техномораль» измерений малоутешительны: «*Научно-технический прогресс* предъявляет непрестанно растущие — а в перспективе и просто *гнетущие требования к морали*». С другой стороны, в ассоциативное поле обозначения категории «мораль, нравственность» попадают и номинация традиционно связанных с этической картиной мира концептов другого уровня иерархии:

- собственно этические: совесть, искренность;
- этикетные: правила хорошего тона, общественное бесчестие, бесчинства, грубости, злодеяние, злословие, ссоры, исправление нравов;
- религиозные: вера;
- юридические: нарушитель закона, уголовное право, силы правопорядка, преступление, юридическая система, законодатель, аппарат уравнильства и репрессий, неправосудие, свобода мысли, авторское право;
- политические: исправление инакомыслящих и инакоговорящих, идеологический контроль, орудие политической слежки, политическая «корректность», «всеобщее доноительство».

И хотя техника, по мысли автора, «как раньше юстиция и этикет, может прийти на помощь *нравственности* — в то же время не мешая ей развиваться в собственной форме», не техника, а добродетель названа в числе ключевых концептов, связанных с категорией нравственности, рост «тайного тайных» человека, осуществляемый через «овнешнение внутреннего».

Техномораль интерпретируется автором как «двойное, неразложимое понятие», т.е., по существу, сдвоенный концепт, поскольку абсолютизация первой его части, само по себе создание «нейросоциума, техноцеребральной среды может привести к охоте за ведьмами, обитающими в нашем сознании и подсознании». Такой мозг «выходит в новую зону *морального риска*».

Таким образом, изменения в моральном климате общества и индивидуумов напрямую связываются с техническими достижениями, обеспечивающими открытость, прозрачность в обществе, и эпоха Интернета представляет убедительные доказательства этой связи: «Поколение Интернета стало свидетелем совместного торжества техники над технически отсталым и морально уродливым тоталитаризмом. Вот почему *оно не противопоставляет технику и мораль*. Для поколения Интернета мораль и техника есть вещи не только совместимые, но и *нераздельные*».

Проявлением такой интеграции выступают синкретичные по жанру тексты типа «этических кодексов по использованию электронных коммуникаций», случаи прямого влияния «про-

зрачности и резонансности» электронной среды «*на репутацию нечистоплотных сетевиков*».

Итак, в лексической структуре текста отмечаются различные виды итерпретационных действий адресанта как реализация стиля его мышления, когнитивных стратегий и тактик в экспликации представлений субъекта о возможных «ликах» пишущего, включая и техноцеребральные его версии. В кругу таких итерпретационных действий были представлены опора на метафору в обращении не только к сфере сознания, но и подсознания читателя, создание обширных метафорических полей текста; построение иерархии концептов при разработке определенного концептуального поля и лексических способов его экспликации; установление ролевой стратификации автора текста, раскрытие основ его морального сознания: самоутверждение и самоопределение в общекультурном пространстве настоящего и будущего; преодоление коммуникативного барьера с адресатом и многое другое.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека. — Воронеж, 1990.
2. Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. — М., 1990.
3. Мышкина Н.Л. Внутренняя жизнь текста. — Пермь, 1998.
4. Секацкий А. «Я к вам пишу» // Октябрь. 2000. № 4.
5. Эштейн М. Debut de Siecle, или от пост- к прото- // Знамя. 2001. № 5.

1.6.3. «Лики» собеседника в прозе О. Мандельштама: лексическая интерпретация

Оппозиция адресант — адресат, определяющая структуру текста, эксплицируется в разных способах лексического его структурирования. Уже неоднократно отмечалось, что сферы интресов и духовных исканий в обществе начала и конца XX века во многом пересекаются. Не является в этом плане исключением и внимание к проблеме адресата текста, особенно поэти-

ческого. Тема «другого», «собеседника» оказалась важнейшей для Осипа Мандельштама и получила детальную лексическую разработку в его прозаических текстах [3].

Внутренняя диалогичность поэтического текста осмысливается автором в терминах физиологического и психологического расщепления, с раздвоением личности, с перечислением тех ролей в процессе самоадресации лирического поэта, которые отмечаются во внутритекстовом пространстве: «лирический поэт по природе своей двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога. Ни в ком так ярко не сказался этот «лирический гермафродитизм», как в Виллоне. Какой разнообразный подбор очаровательных дуэтов: «огорченный и утешитель, мать и дитя, судья и подсудимый, собственник и нищий» (Франсуа Виллон). Названные здесь роли согласуются и отчасти пересекаются с теми параметрами адресата, которые описаны Н.Д. Арутюновой в ее статье о факторе адресата.

Развиваемые О. Мандельштамом идеи диалогичности текста, неизбежной множественности его интерпретаций, сотворчество «идеального» адресата перекликаются с учением М. Бахтина о необходимости «другого» в процессах производства и понимания текста и с современными концепциями интертекстуальности: «На какого идеального читателя ориентировался я в моей работе? На сообщника, разумеется. Я хотел найти отклик в лице читателя, который, пройдя инициацию — первые главы, станет моей работой... и станет думать, что ему не нужно ничего, кроме того, что предлагается этим текстом. Текст должен стать устройством для преобразования собственного читателя» [6: 598]. Ср. у О. Мандельштама: «Искажение поэтического произведения в восприятии читателя — совершенно необходимое социальное явление, бороться с ним трудно и бесполезно: легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина так, как он писал, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности» («Выпад»). Здесь учитывается и мотивационный аспект понимания текста, и значимость когнитивной базы, имплицитной картины мира адресата, ее влияния на глубину постижения текстовой информации в ее различных видах, и изобретательность адресата в ее освоении сквозь призму личностных конструктов.

Поэтическая грамота, по мысли автора указанной статьи, требует постановки от себя «поэтически грамотным читателем» «множества знаков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным», как бы извлекаемых из самого текста: «Поэтическое письмо», в котором все эти знаки не менее точны, нежели нотные знаки или иероглифы танца», уподобляются по этому признаку нотному письму. Эти соображения перекликаются с современными лингвистическими учениями о роли ключевых слов как опор, ориентиров для читателя в понимании текста и иерархии организуемых ими ассоциативных полей, эксплицирующих базовые концепты авторского ментального пространства, его концептосферы.

Игровая («как бы») модель извлечения информации из этих указателей знаков также созвучна идее активного сотворчества адресата, участия языковых, доязыковых и внеязыковых, включая выводные, знаний адресата в интерпретации текстовых смыслов. И в этом отношении на роль «идеального читателя» меньше всего подходит «деклассированная в языковом отношении среда», «полуобразованная интеллигентская масса, зараженная снобизмом, потерявшая коренное чувство языка» (там же). К числу дешевых возбудителей, которыми эта масса «щечок давно притупившиеся языковые нервы», поэт относит и «неологизмы», рассматривая их как чуждые и враждебные «русской речевой стихии». Трагизм положения поэзии усматривался в том, что потребности именно такого адресата она должна удовлетворять: «Слово, рожденное в глубочайших недрах речевого сознания, обслуживает глухонемых и косноязычных — кретинов и дегенератов слова».

Боль и тревога за судьбу поэзии породила столь резкие оценки «наличного адресата» и столь суровый приговор страстного адресанта: «Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним и вскормленного им критика». Какое же место отводится читателю поэтического текста? Ответ на этот вопрос находим и в анализируемой статье, и в целой серии других, прямо или косвенно затрагивающих тему поэтического и — шире — литературного творчества, приоритетную для прозы О. Мандельштама. Мечта об «идеальном» читателе просматривается в оценке поэтом перспектив восприятия поэтического текста: он дойдет до читателя, может быть, тогда, когда «погас-

нут поэтические светила, пославшие свои лучи к этой отдаленной и пока недостижимой цели».

Базовая в когнитивных процессах образная схема (*источник — путь — цель*) реализуется с привлечением пропозиции, организованной глаголом «послать», актантами которого выступают «космическая» номинация субъекта действия (светило, орудийно-объектная «световая» метафора продуктов поэтического творчества и представление адресата в виде желанной цели). Пессимистические прогнозы поэта, с привлечением положений теории относительности в образной форме рисующего отношения поэт — читатель в двадцатые годы (статья «Выпад» написана в 1923 г. и не случайно так названа), в чем-то затрагивают и современную языковую ситуацию.

Ориентация на «идеального» адресата, идеи синхронизации культурного пространства автора и адресата выступают в лексической структуре фрагмента текста, посвященного характеристике времени как содержания истории у Данте: это «единый синхронический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени — сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его» («Разговор о Данте»). Текстовая парадигма выделенных слов крепится семей «совместности», «сопряжения» усилий участников культурного процесса, что находит свою экспликацию в общности значения многократно повторяемой приставки. В объединении первой (исторической) и второй (текстовой) реальности свою роль играет и индивидуально-авторское переосмысление слова содержание, его текстовая семантизация.

Лексическая структура прозаических текстов О. Мандельштама позволяет проследить диалектику отношений поэт-читатель во всей их сложности и драматизме. С одной стороны, поэт не считает возможным ориентироваться на поэтически не подготовленного адресата: «Однако обращаться в стихах к совершенно поэтически не подготовленному слушателю — столь же неблагоприятная задача, как попытаться усесться на кол» («Литературная Москва»); «ведь Ахматова и Блок никогда не предназначались для людей с отмирающим языковым сознанием («Буря и натиск»)). Здесь мы наблюдаем формирование межтекстовой лексической парадигмы синонимического типа как средства обозначения автором собеседника, не готового к восприятию поэтического слова. С другой стороны, О. Мандель-

штам настаивает на необходимости учитывать фактор адресата: «Нельзя третиговать собеседника: непонятый и непризнанный, он жестоко мстит. У него мы ищем санкции, подтверждения нашей правоты. Тем более поэт («О собеседнике»). Здесь адресату отводится роль оппонента или третейского судьи.

Однако проблема, как она поставлена в этой статье, оказывается еще сложнее, ибо, по мнению автора, в принципе «поэт связан только с провиденциальным собеседником», «далеким и неизвестным адресатом». Отсюда страх поэта перед «конкретным собеседником, слушателем из «эпохи», тем самым «другом в поколень». В тексте возникают цепочки антонимически противостоящих друг другу определений собеседника, адресата, уточняющих физический и ментальный континуум его пребывания, отнесенность к определенному хронотопу, получающему конкретизацию и за счет интертекстуальных сближений, ссылок на слова поэтических предшественников. Так, с ориентацией на тексты Баратынского поэт вводит еще одну номинацию адресата — «читатель в потомстве». «Адресат» становится текстовым гиперонимом по отношению к другим определяемым (собеседник, слушатель, друг, читатель), очерчивающим «место» адресата в авторской картине мира. Поэт ориентирован на активного адресата, требует его сотворчества, понимая, что такая активность может быть обеспечена нарушением автоматизма восприятия, эффектом новизны: «Воздух стиха есть неожиданное. Обращаясь к известному, мы можем сказать только известное».

Уместно здесь вспомнить о принципе коммуникативного динамизма С.Д. Кацнельсона, о теории остранения В. Шкловского. Поэт не отрицает адресности поэтического текста, он только настаивает на неопределенности адресата, его отнесенности к будущему. «Живые братья» (еще одна номинация адресата-современника. — *Н.С.*) «были бы вправе в ужасе отмахнуться от поэта, как от безумного, если бы слово его действительно ни к кому не обращалось. Но это не так... С кем же говорит поэт? Вопрос мучительный и весьма современный...» Обилие местоимений в номинации собеседника в одноименной статье, как и фигура риторического вопроса, призваны привлечь внимание адресата к проблеме «мучительной и всегда современной».

Способом ориентирования адресата в ментальном пространстве автора выступают различные тропы и прежде всего из-

бранные им метафорические модели. Автор прибегает и к родственному коду, и к архитектурной метафоре, пронизывающей все его творчество, и к не менее излюбленной поэтом музыкальной, сопрягаемой с серией других, имеющих в качестве источника физико-математические, технические, бытовые и т.п. знания. Подобные способы включения адресата в «личную сферу» автора текста согласуются с психолингвистическими представлениями о том, что «для реципиента восприятие языкового знака актуализирует образное, понятийное, эмоциональное и ассоциативное содержание концепта» [2: 69], «доминантный смысл концептуальной системы» автора, при общей ее континуальности.

В.А. Пищальникова, исследуя понимание как выявление личностного смысла с позиций психопэтики, трактует метафоризацию как взаимодействие смыслов, рождающих новый концепт-смысл с учетом выводного знания адресата, отмечая, что «автор художественного текста и сам не предполагает всех возможных смыслов, которые могут возникнуть при восприятии созданной им метафоры, а всегда имеет в виду только некоторые из них, актуальные для него и акцентированные в тексте определенным образом» [5: 55]. Это обуславливает свободу интерпретации читателя, который «вычитывает» из текста (а точнее, «вчитывает» в текст) то, что соответствует его установкам, потребностям, личностным конструктам, культурно-языковой компетенции, наивно- или специально лингвистическим представлениям, с чем связана неизбежность сотворчества участников коммуникации, принципиальная множественность вариантов прочтения текста.

Вернемся к характеристике метафорического строя «собеседника» в разработке О. Мандельштама оппозиции адресант — адресат поэтического текста: первый ее участник «бросает звук в архитектуру души и, со свойственной ему самовлюбленностью, следит за блужданиями его под сводами чужой психики. Он учитывает звуковое приращение, происходящее от хорошей акустики и называет этот расчет магией. В этом отношении он будет похож на prestre Martin средневековой французской поговорки, который сам служит мессу и слушает ее (звуковая метафора самоадресации и самоконтроля автора поэтического текста. — Н.С.). Поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, вели-

кий мастер по фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций “коробки” — психики слушателя (психическое пространство адресата изображается с опорой на базовую концептуальную метафору вместилища. — Н.С.)... Где, наконец, тот поставщик живых скрипок для надобностей поэта — слушателей, чья психика равноценна “раковине” работы Страдивариуса? Не знаем, никогда не знаем, где эти слушатели...»

Сближение в построении концептуального пространства текста столь далеких предметно-смысловых областей, жизненных ситуаций, событий, сопряжение узлов различных фреймов как когнитивных аналогов текста, связанных с, казалось бы, несоотносимыми фрагментами знания о мире, позволяет осветить проблему с разных сторон, с разных точек зрения, одна из которых близка одному типу читателя, другая резонирует с информационным тезаурусом и ожиданиями читателя другого типа, а в целом зацепление метафор, знаменующее смену угла зрения на одно и то же явление, его дифференциацию по признакам, связанным с разными источниками метафоры или выявляемым в пределах одной метафорической модели, создает объемное, голографическое, целостное видение концепта, свободу его интерпретации в ассоциативных полях метафорического пространства текста.

Поэт выводит в «светлое поле сознания» читателя те ментальные репрезентации объекта субъекту, которые имеются у него на глубинном, подсознательном уровне, апеллируя к смене вербальной и невербальной информации, образного и языкового кода в процессах текстопорождения и текстовосприятия. «Цель поэта, — пишет О. Мандельштам в статье “Адалис”, — не только создать и поставить перед читателем образ, но также соединить впечатления, кровно принадлежащие читателю, но о связи которых он, читатель, живой носитель этой связи, еще не догадывается, хотя чувствует ее...» Здесь, как видим, отмечается еще одна ипостась адресата — быть «живым носителем» ассоциаций, хотя и не всегда осознаваемых и вербализуемых. В осуществлении цели поэта значительная роль принадлежит мифогенной и миропорождающей (если иметь в виду семантику возможных миров как артефактов поэтического творчества, как второй реальности) функции метафоры.

Характеризуя прозу О. Мандельштама как самую философскую прозу модернизма, А. Генис отмечает его вклад в создание новой целостности, в осуществление мечты «о слившемся синхронном мире, в котором нет ничего отдельного, и есть “кристаллизованная вечность” гармонии... Стихи, по Мандельштаму, заставляют мозг переключиться на работу в голографическом режиме, что и позволяет нам воспринимать на интуитивном внелогическом уровне целостность мира... одному сознанию перетекать в другое» [1: 208–209]. Поиск такой целостности характеризует все современное знание, переключаясь с устремлениями русской философской школы Всеединства и ее последователей в разных областях культуры и творчества.

Многое из того, что было предложено в решении проблемы адресант-адресат, автор-читатель в начале XX века, повторяется, развивается, интерпретируется, как уже отмечалось, не только в литературоведческих и собственно лингвистических исследованиях, но и тех, которые находятся на стыке с лингвистикой (социо- и психолингвистических, лингвокультурологических и др.). Так, вне указанной оппозиции субъектов текстостроения и текстовосприятия «тело текста» признается лишь «мертвой последовательностью графем», требующей для своего оживления «включенности и “тела текста”, и индивида в соответствующую культуру» [2: 157]. С опорой на слово как средство доступа к единой информационной базе человека «активный реципиент текста» формирует «проекцию текста как ментальное образование», при этом «живое слово» рассматривается как «достояние человека, как продукт и в то же время инициатор взаимодействия перцептивных, когнитивных и эмоционально-оценочных процессов», изначальной интерпретации содержания (там же).

Г.П. Нецименко, противопоставляя сферу культуры и обычной, массовой коммуникации, настаивает на «сниженной адресности» первой, признавая некоторую вторичность факторов «интеллектуальной интеракции между субъектом духовного производства и реципиентом» и преобладание «установки на эстетическое самовыражение личности, творца, а отнюдь не ориентированность на конкретного адресата» [4: 33]. В качестве аргументов ею приводится феномен «абсурдного театра», самоадресации, ориентации на будущие поколения, долг перед умершими. «По

своей сути культура, — утверждает автор, — мы имеем в виду прежде всего культуру художественную, — изначально является феноменом индивидуальным и в известной степени элитарным, а не массовым» [4: 34]. Далее следуют ссылки на мнение М. Бахтина о слушателе как проявлении авторского Я, о внутреннем и внешнем адресате (публике), зависимость от которого ведет к деградации «в низший социальный план».

Все это переключается, «аукается» (если пользоваться словом О. Мандельштама) с той концепцией адресации, которая просматривается в лексической структуре его текстов. В том же «Собеседнике» он утверждает: «Да, когда я говорю с кем-нибудь, — я не знаю того, с кем я говорю, и не желаю, не могу желать его знать. Нет лирики без диалога. А единственное, что толкает нас в объятия собеседника — это желание удивиться своим собственным словам, плениться их новизной и неожиданностью... вкус сообщительности обратно пропорционален нашему реальному знанию о собеседнике и прямо пропорционален стремлению заинтересовать его собой». «Уважение к собеседнику поэт связывает с огромного размера дистанцией», какая предполагается между нами и неизвестным другом-собеседником».

Лексическими маркерами темы адресации выступают не только прямые наименования адресата с одновременной его квалификацией, но и те слова разных частей речи, которые включаются в семантическое поле адресатности благодаря периферийным или потенциальным семам своих лексических значений (говорю, знаю, диалог, лирика, объятия, удивиться, плениться, новизна, неожиданность, сообщительность, заинтересованность и др.). Думается, само многообразие средств представления адресата, начиная от местоимений (кто-нибудь, тот, собой, его, кто и др.) и кончая расчлененным наименованием с приложением, указывает на неопределенность, принципиальную неизвестность собеседника и в то же время необходимость его в эстетическом диалоге, по природе своей ориентированном на идеально-прекрасное как базовую эстетическую категорию. А реальность эстетического, культурного пространства, в собирании которого участвует поэт как соавтор, никогда не вызывала сомнений автора: «Итак, если отдельные стихотворения (в форме посланий или посвящений) и могут обращаться к конкретным лицам, поэзия,

как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность» («О собеседнике»).

В других случаях «чудовищно уплотненная реальность поэзии» связывается со словом как таковым и его Логосом, которому отводится разная роль в восприятии поэтов разных литературных направлений: «Медленно рождалось слово как таковое». Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова... Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов» («Утро акмеизма»). Напрямую не связанный с темой адресата, этот текстовый фрагмент, содержащий «хрестоматийное» написание Логос с заглавной буквы, заставляет нас вернуться к еще одному «хрестоматийному» написанию в статье «О собеседнике»: «...с птичкой Пушкина дело обстоит не так уж просто. Прежде, чем запеть, она “гласу Бога внемлет”. Очевидно, ее связывает “естественный договор” с хрестоматийным Богом — честь, о которой не смеет мечтать самый гениальный поэт...»

Несмотря на тот шутивно-дружеский тон, в котором поэт общается с читателем («Друзья мои», «Да простит мне читатель наивный пример»), знак многоточия, а также далее следующий риторический вопрос «Где, наконец, тот поставщик живых скрипок для надобностей поэта-слушателей?...» заставляют думать, что поэт не все сказал или не мог всего сказать о мучительной для него проблеме адресата поэтического текста.

Еще одна роль адресата поэтического текста, эксплицируемая в лексической структуре прозаических текстов О. Мандельштама, — роль ученика как субъекта воспоминания: «Между тем вся сила его (В.В. Гиппиуса, учителя словесности. — Н.С.) заключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам и “т” в окончание слов. Выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным и небным. С легкой руки В.В. и поныне я мыслю ранний символизм как густые заросли этих “щ”. “Надо мной

орлы, орлы говорящие”. Итак, мой учитель отдавал предпочтенье патриархальным и воинственным согласным звукам боли и нападения, обиды и самозащиты» («В не по чину барственной шубе»). Активность адресата явлена в его внимании к фоносемантическим возможностям поэтического слова как основе интерпретации его смыслов. Под этим углом зрения рассматриваются особенности постижения и поэзии определенного литературного направления, и психологии литератора-разночинца (ср. заглавие). Ранние поэтические впечатления переданы серией метафор, разных по своему источнику (антропоморфной, зооморфной, растительной): «Впервые я почувствовал радость внешнего неблагоразумия русской речи, когда В.В. вздумалось прочесть детям “Жар-Птицу” Фета — “на суку извилистом и чудном”: словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящих змей» (там же).

Расставляемые автором лексические опоры как основа интерпретации текста, реконструкции авторского мировидения относятся не только к сфере поэтической, но и другим видам коммуникации. Свойственный творчеству О. Мандельштама синкретизм значений слова порождается апелляцией к языковому и внеязыковому, включая научное, знанию адресата. Часто таким знанием выступает знание лингвистических конструктов, метаязыковое знание (ср. опору на фонетическое знание в предыдущем текстовом фрагменте, опрокинутое в концептуализируемую реальность, порождающее новые смыслы, выступающие, в частности, в необычных сочетаниях слов как сигналах «переконцептуализации» культурных реалий). Показательна авторская концепция «трагедии полуобразования»: «В дупле комода хранился диплом университета, аттестат зрелости и водянистая папка с акварельными рисунками — невинная проба ума и таланта. В нем (учителе. — Н.С.) был гул несовершенного прошедшего... Еще не написана повесть о трагедии полуобразования. Мне кажется, биография сельского учителя может стать в наши дни настольной книгой, как некогда “Вертер”» («Аштарак»). Метаязыковые «опоры» используются автором и во внутреннем диалоге, в процессах самоадресации:

«— Ты в каком времени хочешь жить?»

— Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном, в “долженствующем быть”. Так мне ды-

шится. Так мне нравится. Есть верховая, конная, басмаческая честь. Оттого-то мне и славный латинский “герундиум” — это глагол на коне» («Алагез»).

Необычное сочетание лингвистической номинации с компонентом фразеологизма (быть на коне) помогает в формировании авторской концепции чести и ее культурной обусловленности: «Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал форму повелительной тяги как прообраз всей нашей культуры, и не только “долженствующая быть”, но “долженствующая быть хвальной” — *Candatura est* — та, что нравится... Такую речь я вел с самим собой, едучи в седле по урочищам, кочевбищам, гигантским пастбищам Алагеза» (там же).

В лексической структуре текста задается и программа интерпретации авторского видения стихии живой русской речи. Опорными пунктами этой программы выступают метафорический строй текстового фрагмента (соединение зооморфной метафоры с развивающим ее сравнением), гипо-гиперонимы и разнообразные оценочные номинации: «Русского человека тянет на базар не только купить и продать... Он любит торговые петушиные бои и крепкое слово, пущенное в догонку. В городе говорят лениво. Здесь — речь, говорок — средство острой зашиты и нападения (текстовая семантизация одной из функций речи. — *Н.С.*), — ручной хореk, шныряющий под лавками, базарная речь, как хищный зверек, сверкает маленькими белыми зубками» («Сухаревка»). Здесь автор выходит на особенности национально-культурного сознания и речевого поведения участников повседневной, обыденной коммуникации в определенных ситуативных условиях («базарная речь»).

Анализ «ликов» адресата в прозе О. Мандельштама обнаруживает широкий спектр отводимых ему ролей в разных типах коммуникации (поэтической и практической), устанавливаемый с опорой на лексические сигналы, маркирующие пространство адресатности.

3. *Мандельштам О.* Соч.: В 2 т. Т. 2. — М., 1990. (Здесь и далее ссылки даются на это издание.)
4. *Нещименко Г.П.* К постановке проблемы «Язык как средство трансляции культуры» // *Язык как средство трансляции культуры.* — М., 2000.
5. *Пищальникова В.А.* Психопоэтика. — Барнаул, 1999.
6. *Умберто Эко.* Имя розы. — СПб., 1997.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Генис А.* Модернизм как стиль XX века // *Звезда.* 2000. № 11.
2. *Залевская А.А.* Текст и его понимание. — Тверь, 2001.

Синергетические моменты лексического структурирования текста ранее отмечались попутно с другими, находившимися в фокусе нашего внимания. Здесь же они станут предметом специального исследования.

Первоначально открытые и наблюдаемые в мире физических явлений (Илья Пригожин, Нобелевская премия 1977 г.), синергетические системы очень скоро обрели статус методологически значимых «объясняющих» моделей, в рамках которых стали истолковываться феномены уже качественно иного порядка, а именно — биологического, экологического, социопсихологического и лингво-коммуникативного.

Лингвистический анализ текста позволяет выделить в нем такие составляющие и такие категории, которые свидетельствуют о причастности текстовых структур и текстовой деятельности в целом к самоорганизующимся и самоэволюционирующим системам.

2.1. КАРТИНА МИРА В СИНЕРГЕТИКЕ И ЕЕ ТЕКСТОВЫЕ ПРОЕКЦИИ

Одной из составляющих синергетики — междисциплинарной науки об общих закономерностях функционирования самоорганизующихся систем [17, 19; 10, 11] — названа «гомосинергетика», или «синергетика с человеческим лицом» [6]. В отношении языковых явлений и процессов правомерным представляется близкий к родовому термин «лингвосинергетика», также имплицитно обращенный к человеку, особенностям встраивания его в социокультурную среду, новым способом воссоздания и создания реальности. Синергетика не является чем-то чуждым, инородным для лингвистики, так как служит логическим про-

должением общенаучного системного подхода, тем более что обращена она к сложным, открытым, нелинейным системам, какими являются язык и творящий его человек.

Еще А.Л. Чижевский говорил о необходимости «искать ключ к единству мира в установлении законов подобия эволюции различных частей Вселенной и механизмов синхронизации этих частей» [15: 641]. Среди глобальных космических законов, общих для всей живой и неживой природы, В.Н. Бехтеревым названы закон сохранения энергии, законы изменения энтропии, законы эволюции, приспособляемости, отбора [1: 26]. На этой основе выдвигается гипотеза об идентичности законов, по которым происходит образование спиральных галактик, и тех, которые управляют тонкими процессами душевной и общественной жизни (а следовательно, так или иначе отражаются на языковых закономерностях).

Языковая метафора — текст — лежит в основе построения антропокосмологии: «Метагалактика эволюционирует в соответствии с мироустроительной “программой”, заложенной в астрофизическом “генотипе” человека, куда входят фундаментальные константы (заряд электрона, масса протона, постоянное тяготение). Числовые значения этих констант с большой точностью отражаются в структуре наблюдаемой Вселенной. Астрофизический “генотип” определяет в конечном счете особенности метагалактической эволюции — от Большого взрыва до возникновения разумной жизни на Земле. В связи с этим в космологии был сформулирован антропологический, или антропный, принцип. Новая синкрета (ренессанс глубокой архаики) — антропокосмология: единый эволюционный текст. Вселенная должна быть такой, что в ней на определенном этапе развития, допускалось существование “наблюдателей”» [7: 129].

Соответственно иное истолкование получала проблема реальности: «Настоящее время заставляет еще раз взглянуть на проблему реальности, так как оно одарило мир явлением виртуальности, смывающим без того зыбкую грань между реальным, нереальным и внереальным» [15: 7]. Эта грань давно размыта языком, мифологическим в своей основе, сумевшим соединить миф и науку, отразить все стадии развития этноса. Ср. вполне отвечающее идеям лингвосинергетики высказывание И. Бродского: «Хороший поэт — всегда орудие своего языка, но не на-

оборот. Хотя бы потому, что последний старше предыдущего» [2: 7]. Эта фраза может быть понята следующим образом: через поэтов, их мастерство язык сам объясняет себя, скрытые в нем возможности, «виртуальную реальность». Аналогичным образом в психоэнергетике, согласно принципу перехода энергии в информацию и наоборот, именно человек, его психика рассматривается как среда для мира, источник информации о нем самом и способ объяснения мира самому себе. Ничего неожиданного здесь нет, если помнить, что человек — это часть мира, способная его объяснить и на него воздействовать. Синергетика в этом плане не инструмент, оперирующий с реальностью, а эвристика, ждущая ответов от самой реальности [6].

Современные исследователи отмечают справедливость жесткого противопоставления материального и идеального, исключаящего из поля зрения ученых мысль и психические процессы вообще. При широком понимании природы (Вселенная, Универсум, Мир и т.д.) как всего сущего во всем многообразии его форм в него должно включаться и мышление как орудие самопознания и самопреобразования природы, и человека как его части. Среди разных типов существования мысли (в текстах, творениях ума и рук человека, в процессах говорения с использованием лингвистических и паралингвистических средств) отмечаются также и «мозговые» формы ее движения, объединяющего в себе рассудочно-эмоциональную сторону, волевое начало, работу памяти и творческого воображения. Для такого типа существования мысли предлагается обозначение «реофаза мысли» и отмечается ее сходство по свойствам с солнечным светом. При этом «конечная» продукция реофазы» в виде замыслов, умозрительных образов, командных импульсов «зависит не только от “вещественных” характеристик мозга, но и от предыдущей его заряженности социокультурными фактами (языковыми, этическими, эстетическими, эмоциональными)» [14: 28].

Как видим, синергетическое истолкование речемыслительных процессов предполагает взаимопереход энергии и информации мысли в слово, и наоборот, наполняет вполне современным содержанием традиционную световую метафорическую модель мысли и чувства (*светлый ум, просветление сознания* и др.).

Основные синергетические идеи (единство человека и универсума, самоорганизации, взаимоперехода порядка и хаоса, от-

бора, эволюции и др.) обнаруживаются в способах лексического структурирования текста языковой концептуализации общественных явлений. Рассмотрим фрагмент статьи С. Залыгина «МОЯ ДЕМОКРАТИЯ»: «Демократия “детская”, демократия государственная, но — есть, существует, и я ее очень чувствую, еще одна демократия — природы... Жизнь возможна только на этой тонюсенькой (30—40 км на равнине, 70 км в горной местности. — Н.С.) оболочке земли. Да ведь какая жизнь: не какие-то там бактерии, а высшие человеческие организмы. Значит, земная кора — это продукт компромиссов между бытием и небытием, какое-то согласие между тем и другим, это уже и есть демократия. Бытие может быть только таким, каким его допускает небытие. Каким оно существует в строжайших рамках законов природы, нашедшим-таки компромисс с небытием. Конечно, природа сурова и даже — жестока, но не забудем, что она прошла через компромисс с небытием, очевидно, совершив немалые уступки» [4]. В основе личностного осмысления концепта демократии (ср. заглавие как свертку темы и замысла) лежит природная, биологическая модель метафоры (компромисса между бытием и небытием), при этом компромисс становится уравновешивающим началом, переходом хаоса (борьбы) в порядок (небытия как глобальной энтропии в бытие как упорядоченную структуру). В обоснование идей пантеизма приводится и языковая метафора, связанная с идеей естественного отбора: «У нас в ходу выражения “борьба за жизнь”. Но это и есть борьба, и компромисс; законы природы — это демократия в ее идеальном воплощении. Ничего более мудрого человек придумать не может, и пытаться это сделать — напрасный, а может быть, и вредный труд. Повторяюсь: вся природа построена на однажды найденном компромиссе между бытием и небытием, вся она — между всем и в том, что в ней существует. Демократический компромисс».

В контексте ключевой фразы — «бытие может быть только таким, каким его допускает небытие» — осмысляются и наличествующие виды демократии: «детская», «государственная» (ср. также газетную метафору «ростки демократии»).

В лексической структуре текста синергетически осмыслена красота. Красота с позиции синергетики — момент перехода от хаоса с его креативными потенциями через флуктуацию к по-

рядку, гармонии, к самоорганизации системы, к ее вхождению в резонанс с окружающей средой, включая и человеческую. Ср. у С. Залыгина: «Демократизм, с его идеей сотрудничества эволюционного, а не революционного, уже выражен в природе. Демократизм человеческого общества ищет максимальных возможностей общественной гармонии по примеру природы. Он ищет той природной красоты, которую выражает через искусство, поэтому развитое, ничем не стесненное искусство является первейшим признаком демократии... чувство красоты — это не что иное, как чувство приближения к природе, к ее гармонии, к ее умению устроить жизнь на тончайшем слое земной коры» (там же). Идеи синергетики перекликаются с современными философскими воззрениями, согласно которым задачей философии становится осмысление универсума, слагающегося из различных целостностей, «миров» [9: 10]. При этом под универсумом понимается все имеющееся: не только духовные реалии, но также все ирреальное, идеальное, фантастическое и сверхъестественное, если оно имеется [9: 86].

Синергетические мотивы встроены в человека в универсум, природно-космические циклы организуют лексическую структуру текстов самых разных авторов. В дополнение к приведенному выше рассмотрим следующие: «...природа сама по себе не девственна, а ее девственность есть мечта, рожденная в городе... форма верования человека в себя самого. Природа, как мы ее понимаем теперь, есть гармоническое воздействие человека на хаос» [12: 11]. Осознание природы как антропоморфного мира, противостоящего вселенскому хаосу, как проявления гармонии, красоты, упорядоченности человеческого духа приводит к отпаду от традиционной метафоры «девственная природа» и осмыслению ее свойств в терминах ментальной, эмоциональной, волевой деятельности человека, творящего порядок (ср.: мечта, форма верования, гармоническое воздействие).

Уместно здесь вспомнить слова К. Юнга: «Мы устанавливаем что-либо во вселенной ровно настолько, насколько это позволяет нам наша психическая организация». Ключевые понятия синергетики (универсум, гармония, хаос, самоорганизация / самоопределение (вариант)) используются в лексической структуре текстов, обращенных к судьбам человеческой цивилизации, нахо-

дящейся в точке ветвления (бифуркации), выбора: «Нет четких границ добра и зла, усиливаются элементы “броуновского движения” хаоса в жизни общества... Проблема толерантности не может рассматриваться в отрыве от проблемы выживания человечества. Сегодня нормы его (человека) самоопределения, не учитывающие законы циклического воспроизведения природой самой себя, порождают такое явление, как отторжение космическим бытием бытия. Толерантность должна быть осмыслена сегодня не только как ориентация сознания, но и как тип образа жизни, основанного на гармонической совместимости кодов бытия универсума, природы и кода цивилизационного развития человечества. Без адекватного решения этой проблемы нельзя рассчитывать на толерантность человеческих отношений» [16: 12]. Альтернатива, заданная в заглавии, имеет средством своей реализации ситуативно-речевые антонимические парадигмы позитивной или негативной ориентации: добро, гармоническая совместимость, толерантность, с одной стороны, и зло, «броуновское движение» хаоса, отторжения — с другой.

Осознание ограниченности чисто рациональных форм понимания, того, что разом не делится на логику без остатка, привело «спуску в основание» [7], к реабилитации мифотворчества, уравниванию всех «символических форм» сознания — философии, науки, искусства, религии. Но в отличие от мифа первичного, архаического, связанного с синкретизмом первобытного мышления, «миф в литературе — это художественный образ, в котором, однако, его мифологический архитип присутствует и как его определенный структурный принцип, и как прообраз для дальнейших интерпретаций» [8: 58]. Поскольку основной пафос всякой мифологии связан с переходом от хаоса к Космосу, ее мироустроительной, антиэнтропийной направленностью, последняя сохраняется и в мифопоэтических образах, основанных на метафоре языка (а метафора — не что иное, как свернутый мир). Ср., например, в художественном тексте рассказа В. Распутина «Видение» сквозное использование антропоморфной метафоры как основы для дальнейших интерпретаций единства человека и природы, смысла жизни: «и вдруг каким-то вторым представлением, представлением в представлении я начинаю видеть себя на просторе и сворачивающим к речке, где стынют березы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоск-

ливо выставившие голые ветки, которые будут ломать ветры... Я стою среди них и думаю: видят ли они меня, чувствуют ли? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл: и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево» [13: 14].

Мироустроительная функция мифа, его способность к дальнейшему саморазвертыванию (напомним, что метафора — это свернутый миф) могут преломляться в художественном тексте в изображении отношений слова и среды, причем последним может оказаться и человек как носитель слова. Так, повесть Л. Зорина в самом названии содержит морфологему, обозначающую побежденного словом литератора — «ТЕНЬ СЛОВА» [5: 15]. Но и слово предстает в антропоморфном облике, концептуализируясь то в облике болезни, то лекарства: «И сам не пойму, от чего постоянно тянуло меня закрепить, обозначить — фразой, стихом, дневниковой записью увиденное или испытанное. Это бессонная лихоманка в чем-то скопившая жизнь, с годами стала ее содержанием... Как в молодости я приспособился сбегать от своих огорчений в сон — засыпать беду, вернейшее средство! — так с еще более юных лет я открыл и другое сильнодействующее: немедленно записать свою боль. В сущности, оба эти лекарства не отличаются одно от другого... Поставить точку — все равно, что проснуться: первый кошмар уже пережит, становится легче принять реальность. И сон, и слово — попытка бегства, уйти с головой под одеяло!» Слово не случайно поставлено в параллель со сном: и то, и другое — способы самоорганизации психической сферы персонажа, расширения пространства «обманчиво преломленной жизни» (ср. роль катарсиса в выведении системы на новый уровень самоорганизации). Слово в соответствии с мифологической логикой двойничества, оборотничества, «всего во всем» выступает и как самостоятельный субъект, и как инобытие говорящего, автора: «Лишь одному из миллионов выпадает сделать фамилию Словом». Оно становится то «универсальной игрушкой», то, меняясь местами с автором, его «хозяином».

Самовыражение человека с помощью слова оборачивается подчинением человека слову: «Слышится гул пустоты, усталость, которая говорит об истощенности — не столько даже его

потенций, сколько его отношений с миром. Но мир этот — я». Слово, возведенное в абсолют, в миф, в фетиш, становится разрушительной силой, уничтожающей живую жизнь, живые чувства (плата за чрезмерную рефлексивность с помощью слова): «Я сам виноват в своей беде и все же в начале ее было слово. Это оно меня обескрылило, выжило, растворило в себе. Где он, мой непредвзятый взгляд, необходимый для литератора? Только тернии его и увидишь в анекдотической первозданности: аптекарское слово “очищение”, амбициозное слово “достоинство”, неврастеническое “покаяние” и патетическое “забвение”, в сущности будничное и трезвое, — всю эту стаю слов и словечек, которые я возвел в абсолют. Достаточно. Этот странный миф, поработивший всю мою волю и подчинивший себе мой дух, выхолостил и изувечил отпущенный мне только короткий срок. Я потерял человека К.Р.». Мертвое слово — порождение догмы, мифологизированного сознания, с одной стороны, и энергетической, духовной истощенности творца, с другой: «...Знаете, от чего сходят с круга старые литературные кони? Труднее сообщать энергию слову. Живое слово — порождение усилий мысли, чувства, созидательной воли, творчества, оно рождается из глубин подсознания, хаоса: “чуть различного, таинственного гула в душе”, становящегося “ритмом”, “музыкой”»; «И смутное предвещие догадки молит о слове (чем не аттрактор? — Н.С.), будто об имени, чтоб состояться, чтоб стать собой. Вот почему слово есть жизнь. Однако — не сразу. Уже рожденное, оно должно пробудиться. В нем бродит еще неслышимая музыка, как в вереске бродит пиво и мед... оно неуверенно обозначается в темной и водянистой массе. Поэтому учишься весь срок непостижимому ремеслу — как лучше пахтать из молока соленое, крепко сбитое масло».

Слово, таким образом, амбивалентно и зависимо от духовной, культурной, энергетической среды, в которую оно погружено, слово может создавать новые миры или разрушать личность. Ср. конец повести Л. Зорина: «Не разглядишь ни святого, ни злого. Сколько кольчужек с него не стяни, пусть он останется Тенью слова. Даром ли жил в его тени?» Показательно, что с заглавной буквы автором написано не «Слово», которое было в начале всего, а «Тень» как имя собственное литератора, поработанного словом, точнее, его тенью, не позволивше-

го ему создавать ни святого, ни злого, и в этом жизненная драма художника, принявшего за «исповедальню» то, что на самом деле было «скудельницей».

Синергетическое истолкование делает вполне оправданной антропоморфную метафору языка как предмета лингвистики, обращенной к человеку. Замечено, что «синергетические системы при некоторых внешних условиях способны вести себя во многих отношениях так же, как живые организмы» [15: 42]. Новый смысл в этом ключе обретают выражения типа «система языка допускает», «норма требует», «языковые процессы указывают» и т.п. Для языка как энергетической системы характерны адаптивность, самоорганизация, воспроизводимость, самоусложнение; антропоморфный способ концептуализации распространяется и на результаты языковой деятельности человека, тексты. В основе их организации лежит способность синергетических систем к синхронизации и взаимоусилению процессов обмена энергии с внешней средой (в нашем случае субъектом текстовой деятельности). Ср. с металингвистическими наблюдениями у Д. Данина в его дневнике: «А что такое цельность? Это самодержавная власть над частностями. Ясно одно: такой властью не может обладать то, что само является частностью. А что же в искусстве не является частностью? Только замысел и только личность художника. Стало быть, только это и может быть источником цельности. А если этого источника нет, или он иссяк, или засорен чужим вмешательством? Михаил Светлов говорил: “всю жизнь я хотел, чтобы из чистого родника моей поэзии пил читатель, но всю жизнь в нем купался редактор”. Так вот, если источник цельности засорен извне или изнутри (личность — искажена приспособленчеством, а замысел искажен уступками), откуда взяться цельности явления искусства?» [3: 16].

Лингвистически значимым в этом рассуждении является широкое понимание цельности (замысла, личности художника), проецируемой и на его творения, тексты с опорой на обозначения природных реалий (гиперо-гипонимия «источник — родник»), физических действий человека (пил, купался), диффузность значений слова «источник» (диссипация в терминах синергетики при взаимодействии системы и среды) — «источник цельности». И здесь мы видим обращение к метафоре как свер-

нутому мифу, языковой синкрете: «“в мифе есть все” от пещеры до ноосферы (мифосфера — архетип новейших ноосферных проектов и утопий)» [7: 58].

Мироустроительная функция мифа преломляется как текстоустроительная и текстообъясняющая функция метафоры. Текст Д. Данина касается мотивационного уровня в структуре языковой личности писателя. Этот уровень связывается с синергетическим понятием «аттракторов» — скрытых установок, будущих событий, определяющих поведение системы и существующих в виде целей и ценностей, замыслов и потребностей. Они направлены на поддержание информационного или энергетического баланса сложной неустойчивой системы в ее взаимодействии со средой.

Ситуации бифуркации нелинейной системы, неустойчивости, чувствительности к случайностям, открывают возможности выбора, включая и языковой выбор: «Осуществляя выбор дальнейшего пути, субъект ориентируется на один из собственных, определяемых внутренними свойствами среды путей эволюции и вместе с тем на свои ценности, предпочтения. Он выбирает наиболее благоприятный для себя путь, который в то же время является одним из реализуемых в данной среде путей» [6: 76].

Таким образом, многовариантность путей языкового отбора также получает синергетическое обоснование. Это касается и системных, и текстовых явлений, в частности того, почему не все новации (семантические, текстовые) получают системно-языковой статус. С точки зрения синергетики, это объясняется колебательным режимом существования сложных систем, необходимостью замедлить процессы диссипации, рассеяния, для сохранения и восстановления целостной сложной структуры. Изменения (флуктуации) по мере максимального развития системы, а следовательно, ее усложнения могут привести к распаду системы (ср. явления омонимизации в итоге распада полисемии) или к выходу на новый режим функционирования (новый аттрактор) — например, включение семантических новаций в смысловую структуру слова, перегруппировку значений по их статусным характеристикам, слоям активного и пассивного запаса, или явление семного варьирования лексического значения в тексте как способ существования системы в колебательном режиме с актуализацией, погашением, расщеплением, наведением

и т.д. сем (известный лингвистический феномен «мерцания смысла» имеет в своей основе физическую модель колебаний светоизлучения).

Слово предстает как пульсирующая вселенная, открывающая наблюдателю в разное время и в разных условиях те или иные из своих свойств, т.е. как и другие синергетические системы, слово имеет пространственные, временные, энергетические, и информационные аспекты своего описания. Будучи открытой системой, слово (и вся лексика) вбирает поток информации, ресурсов в своем взаимодействии со средой, культурной, коммуникативной, частью которой оно является. Как диссипативная структура (диссипация — рассеяние вещества, информации, энергии), оно тратит эти ресурсы в обмене со средой. В итоге текстовое содержание меняет системное значение слова.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Бехтерев В. М.* Коллективная рефлексология. — СПб., 1921.
2. *Бродский И.* Зачем российские поэты? // Звезда. 1997. № 4.
3. *Данин Д.* Дневник одного года, или Монолог-67 // Звезда. 1997. № 4.
4. *Залыгин С.* Моя демократия // Новый мир. 1996. № 12.
5. *Зорин Л.* Тень слова // Знамя. 1997. № 9.
6. *Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Митин Н.А., Потапов А.Б.* Синергетический подход к моделированию социально-психологических явлений // Синергетика и психология. — СПб., 1997.
7. *Марков В.* Мир человека и человек в мире. Антропоморфный универсум. — Рига, 1995.
8. *Медведева Н.Г.* Взаимодействие мифа и романа в литературе // Современный роман: опыт исследования. — М., 1990.
9. *Ортега-и-Гассет.* Что такое философия? — М., 1991.
10. *Пригожин И.* От существующего к возникающему. — М., 1985.
11. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — М., 1986.
12. *Пришвин М.* Москва есть нечто устойчивое // Дружба народов. 1997. № 8.
13. *Распутин В.* Видение // Работница. 1998. № 2.

14. *Серов Н.К.* Природа и мысль // Синергетика и психология. — СПб., 1997.
15. Синергетика и психология. — СПб., 1997.
16. *Скворцов Л.В.* Толерантность: иллюзия или средство спасения? // Октябрь. 1997. № 3.
17. *Хакен Г.* Информация и самоорганизация. — М., 1991.
18. *Хакен Г.* Синергетика. — М., 1980.
19. *Шемякин Ю.И.* Семантика самоорганизующихся систем. — М., 2003.

2.1.1. Синергетические мотивы в когнитивистике и лексической организации текста

Когнитивистика очень тесно взаимодействует с синергетикой. Об этом свидетельствует не только способ мышления ученых, но и использование терминов той и другой области познания в тексте, посвященном иной теме:

«Мы живем не в Ньюйоркском времени, а в пригожинском. Первое определяется числом колебаний маятника, второе же — количеством изменений в системе» [7: 176].

«Катастрофы были, есть и будут всегда, если только будет развитие. Но попытка избежать его — это выход на мегакатастрофу размонтирования экономических фаз. Мы видели, как это бывает, хотя размонтировался не мир, а только одна страна» [7: 171]. В докладе физика структурные фазы всемирной истории человечества предстают как архаическая, традиционная, индивидуальная: «Есть все основания полагать, что в настоящее время человечество переходит в новую цивилизационную фазу — когнитивную, или гуманитарную, базами которой станет производство не товаров, а знания» [7: 163].

Ср. у другого автора: «С точки зрения будущего, случайность есть прямая причина, сказал Лепнинский, — без которой оно было бы совсем другим, чем стало. Случай — это коррекция настоящего будущим, его прямое вмешательство» (Евгений Чижов. Темное прошлое человека будущего).

Одним из видов культурного знания стали понятия и мотивы синергетики, теории универсального эволюционизма. Их

анализ и составил содержание раздела, обращенного к лексической структуре культурологических текстов эссе А. Гениса. По итогам исследования выявлено текстовое ассоциативно-семантическое поле синергетики в его ядерно-периферийной организации, несущей яркую печать авторской индивидуальности и синергетического способа мышления. Когнитивная лингвистика обращена не только к устоявшемуся наивному знанию, но и тому научному, которое становится предметом все возрастающей рефлексии говорящих, занимающим их умы и переводящим научное знание в область обыденного, когда, по меткому замечанию Ю.С. Степанова, научное понятие уже покидает пределы науки.

Одним из видов культурного знания стали понятия и мотивы синергетики, пронизывающие разнообразные виды дискурсов; об активности концептуального аппарата синергетики свидетельствует помещение соответствующих слов и толкований их значений, сопровождаемых иллюстративным материалом, в неологический словарь-справочник [4], а также название одного из сборников серии «Логический анализ языка» — «Космос и хаос» [2]. Эти мотивы широко представлены в лексической структуре культурологических текстов эссе А. Гениса. Один из них — «БЕСЕДЫ О НОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ» [1] — будет предметом нашего внимания. Автор обосновывает обращение к синергетике, теории универсального эволюционизма, следующим образом: «Открытие хаоса точными науками, которое по значению сравнивают с теорией эволюции и квантовой механикой, начинает оказывать сильное влияние и на гуманитарную мысль. Позитивная переоценка хаоса рождает новую картину мира, в которой, как пишет один из основателей хаосологии (курсив автора. — Н.С.) Нобелевский лауреат Илья Пригожин, порядок и беспорядок представляются не как противоположности, а как то, что неотделимо друг от друга».

А. Генис излагает основные положения синергетики, выступая апологетом хаоса и врагом *умышленной* логики, апофеозом которой становится *план*, символ жесткого детерминизма, технократического мышления, причинно-следственной связи, выводимости будущего из настоящего, *веры в лишнюю тайну, беззащитную перед умным интегралом Вселенную. Советский мир был последним царством чистого разума, потому он так*

и походил на дурдом. Выяснилось, что космос был хаосом... Главным врагом власти оказался не диссидент, а случай (эссе «Обживая хаос. Эпилог»). Теория хаоса получает следующий вид: «*в мире порядок — частный случай анархии, гармония — частный случай дисгармонии, предсказуемое — частный случай непредсказуемого и необходимое — всего лишь часть случайного*» (там же).

Наряду с общепринятыми научными терминами *картина мира, теория эволюции, квантовая механика*, автор вводит понятие *хаосология*, связанное с реабилитацией роли хаоса и случайности как позитивного, творческого начала. Об этом, в частности, свидетельствуют средства параграфематики (авторский курсив) и кавычки. Ср. еще: «*В искусстве создание “хаосферы” требует введения в текст абсурдного элемента, становящегося генератором непредсказуемости*». Термин *хаосфера* включается в когнитивную парадигму по аналогии с введенным Д.С. Лихачевым термином *концептосфера* и охватывает сферу хаоса, преломляемого в искусстве как абсурд, свобода, непредсказуемость, случайность, анархия, беспомощность и т.д.: *классицистская «правда» проиграла романтической «свободе»* (эссе «Швы времени»).

Неслучайно одно из итоговых эссе тома «Конфликт хаоса с космосом» включает названия двух основных синергетических концептов: «*Всякое произведение искусства — коктейль космоса с хаосом. Самое интересное тут, как включается элемент, разрушающий порядок, в какой концентрации вводится яд анархии — клетка раковой опухоли в здоровое тело текста*». Бытовая и медицинская метафоры-номинации гештальтов философских понятий оправданы жанром культурологического очерка, эссе. Формированию у читателя синергетической картины мира служит и использование строительной метафорической модели по отношению к филологическим — и шире — культурологическим понятиям: «*Метр, гармония, ритм — все это испытанные средства для строительства космоса*». Цена значительности искусства определяется как *цельность*.

В значительной мере становление нового порядка, креативная функция хаоса связывается автором с преодолением ложной целостности, *насилия гармонии*, характеризующего тексты соцреализма. Насильственный порядок, мифологизация созна-

ния в тоталитарном обществе объясняют своеобразный его *литературоцентризм*, где поэт больше, чем поэт, а *цельность и гармоничность обеспечиваются властью замысла*, понимаемого как вымысел, подчиняющий себе все условные литературные каноны, ему автор противопоставляет *исповедь: подменяя внешнюю реальность внутренней, писатель сталкивается с хаосом*, который он отказывается упорядочить, и *подлинный реализм* включает в себя *непредсказуемость, случайность, бессмысленное, неважное и лишнее*.

Отсюда, видимо, идет некоторая абсолютизация хаоса, характеризующая тексты эссе и проявляющаяся в создании текстовых номинаций с апелляцией к корню сложных слов: *хаосология, хаосфера*. Показательна в этом смысле текстовозначимая позиция под названием «Эпилог»: *«Разрушая ставшую ложной целостность, мы разнимаем мир на фрагменты, элементы, “фантики”, обращаем вазу в черепки, храм в руины, книги в отрывки. Пафос этого вандализма — созидательный, ибо за ним надежда на новую цельность, такую, которая упразднит пагубное противостояние поэта и толпы и объединит их в творческом акте... На новом витке целостность искусства преодолевает и насилие гармонии, и свободу хаоса»*. Нетрудно видеть, что свобода здесь имеет не только позитивные коннотации, хотя хаос — это прежде всего свобода. Таким образом, самоорганизация системы, новая онтология предполагает разрушение прежнего состояния этой системы. Отрицание тоталитарного, насильственного порядка связано с искусством, а также самой жизнью. Текстовыми аналогами этих флуктуаций являются *борьба, естественная противоречивость*. Так, город и Европа рассматриваются автором как синонимы, сигналы культуры в ее борьбе с хаосом природы: *«Город — это триумф культуры в ее борьбе с природой... Они (ошибки в дневнике. — Н.С.) придают тексту естественную противоречивость, которая и составляет живую, неотредактированную, целостную картину мира»* (эссе «Апофеоз формы»). Но и в дневнике автор видит *диктат* насильственного порядка — календарной формы. Отсюда столь пристальное внимание читателя к черновику: *«Черновик... это послеплан (курсив автора. — Н.С.), заготовка к нему с другой, постетекстовой стороны, это выжимки из того, что должно получиться. Таким образом, читатель пропуска-*

ет все ступеньки, достигая текст в самые интересные моменты смерти или зачатия» (там же). Здесь биологическая метафорическая модель начала и конца текста знаменует рождение порядка как частного случая хаоса. Концепции множественности миров, связанных с реальностью психической сферы множественных сознаний, их порождающих, переключаются с даосистской философией. Осмысление порядка как необходимости, частного случая творящего хаоса, а хаоса как свободы обнаруживают и тексты Ю. Лотмана. «Искусство открывает перед читателями путь, у которого нет конца, окно в непредсказуемый и лежащий по ту сторону логики и опыта мир. Такое искусство из мира необходимости способно перенести человека в мир свободы» [3: 108].

Дух и буква синергетического мышления пронизывают все тексты эссе, посвященные и современным писателям и поэтам, и их литературным предшественникам. Ранее отмечалось внимание когнитивистов к истокам концепта, сходные размышления свойственны и писателям. Так, в космогонии А. Синявского (эссе «Правда дурака») *искусство — источник жизни, тот первичный импульс энергии, который порождает мир*, и путь искусства — не вперед, а *назад, к истоку*, его смысл — *в воспоминании — в узнавании мира сквозь его удаленный в былые и мелькающий в памяти образ...* В «Философии русского слова» В.В. Колесов также признает образ первичной формой бытования концепта с последующим формированием на ее основе понятия и символа. А. Генис отмечает у Синявского *пафос восстановления целостности*, антиэнтропийное истолкование имени, благодаря которому *вещь начинает быть*, т.е. слово вызывает вещи из небытия. Здесь отчетлива переключка с теориями русских философов и филологов начала XX века школы Всеединства В. Соловьева.

Философия *недеяния, молчания безгласности* рассматривается как способ сопротивления насильственному порядку и отмечается как основа творчества А. Битова, С. Довлатова. Для первого характерен уход *на просторы виртуальной, альтернативной Вселенной, в органику, хранящую тайну всего живого*, а знаком *жизнеспособности* (синоним точки роста. — Н.С.) выступает *«принципиальная незавершенность, синтаксическая свобода — многоточие, метафора цыпленок на ноге»* (эссе

«Пейзаж Зазеркалья (Андрей Битов)»). В условиях насильственного порядка, официоза *«быть самим собой означало оказаться на литературной и социальной обочине, которую он (С. Довлатов. — Н.С.) самоотверженно выбрал себе в качестве постоянного адреса»*, превратив одиночество — в свободу» (эссе «Сад камней (Сергей Довлатов)»). С позиций синергетики отказ поддерживать систему, стремящуюся к распаду, означает содействовать ее новой самоорганизации. *Неумышленное искусство — гештальт сад камней — как и ленинградское барокко* означают связь рационального с иррациональным, способность *не исправлять окружающий мир, а оставить все как есть* (вспомним экологический принцип *ненасильственного сотрудничества*).

Возвращение к истокам, к биологической основе человека, определяющей для него роль мотивационной сферы в процессах ориентации в мире, в универсуме, характерно для современной когнитивной науки [5], для математической теории интеллекта (ср. точку зрения Л. Перловского, считающего, что связь инстинктов с интеллектом у человека осуществляется через эмоции [6]). Именно так формировался мозг современного человека: *«Запах воздействует на ту часть мозга, где рождаются эмоции и создается память. Объединяя их, запах творит неперебиваемое на язык других чувств переживание»* (эссе «Дары волхвов»). Сходное мнение высказывает А. Генис в эссе «Прикосновение Мидаса», посвященном В. Макаину: *«Взамен социальной темы у него на первый план вышла наша биологическая природа — человек как особь»*. Апологетика детства как точки роста отмечается и у Т. Толстой (эссе «Рисунки на полях»). Источник трагедии А. Генис видит в противоречии между *органическим миром свободы и социальным миром необходимости* (эссе «Горизонт свободы (Саша Соколов)»).

Слову «Логос» возвращается его целостный смысл, преодолевающий абсолютизацию рациональной сферы человека (эссе «Благая весть (Венедикт Ерофеев)»): *«Логос — это одновременно слово и смысл слова, органическое, цельное знание, включающее в себя анализ и интуицию, разум и чувство. У Венечки логос “самовозрастает”, т.е. Ерофеев сеет слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы. Он только сеятель, собирать жатву нам, читателям. И каков будет урожай, за-*

висит только от нас, толкователей, послушников, адептов, переводящих существующую в потенциальном поле поэму на обычный язык». Так с помощью развернутой метафоры земледельческого культурного кода освещается суть проблемы интерпретации, понимания смыслов, получения цельного знания, активности адресата в этих процессах перевода языковых значений в текстовые смыслы и обратно.

Хаос как ключевое понятие синергетики интерпретируется в постмодернистской прозе как *«шизореальность»* прозы В. Сорокина, вводящей в свой состав *«элемент непознаваемого — случай, абсурд, хаос»*, ибо *«окольные пути вернее ведут в глубь»*. Метафора пути выводит на синергетическую идею малых резонансных воздействий, имеющих большие следствия («Чузнь и жидо» — окказиональное название эссе служит иллюстрацией шизореальности прозы В. Сорокина).

Особый интерес с точки зрения синергетики и когнитивистики представляет эссе, посвященное В. Пелевину, со значащим названием «Поле чудес»: *«Ведь каждая версия мира существует лишь в нашей душе, а психическая реальность не знает лжи... Проза Пелевина строится на неразличении настоящей и придуманной реальности»*. И здесь, как видим, хаос выступает креативной, творящей стихией. И далее: *«Пелевин — поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией, одна картина мира, накладываясь на другую, создает третью, отличную от первых двух»*. Учитывая вмещаемость мира в сознание, автор участвует в разрушении иллюзий, что ведет к новой самоорганизации системы. Показателен в этой связи приводимый в эссе пример из романа «Чапаев и пустота»:

— *Петька, ты где?*

— *Нигде.*

Вспомним интерпретацию местоимений (в широком смысле слова) в «Семантическом словаре» Н.Ю. Шведовой как «смыслового исхода» для разных частей речи. У Гениса эта функция местоимений получает синергетическое обоснование через идею единства мира, вмещаемого в сознание, через неразличение настоящей и придуманной реальности.

Стык стихии, хаоса, бездумного совпадения и «умысла» рождает новый, непредсказуемый заранее порядок, и это рождение сопровождается удачным каламбуром, что описано А. Генисом в эссе «Музей Бахчаняна»: *«Каламбур — это счастливый брак случайности с необходимостью. В хаосе бездумного совпадения деформация обнаруживает незаметный невооруженному глазу порядок. Каламбур, как рифма, говорит больше, чем намеревался — или надеялся — автор. В хорошем каламбуре так мало от нашего умысла, что следовало бы признать его высказыванием самого языка»*. Эта креативная функция языка, предсказывающая новую самоорганизацию системы текста, иллюстрируется широко известным каламбуром Бахчаняна: *«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью»*. О роли коллективного бессознательного как проявлении хаоса критик пишет и в другом эссе: *«“отцам”-шестидесятникам отошла рациональная, а “детям” — иррациональная часть советского прошлого... первым досталось сознание “совка”, вторым — его подсознание»* (эссе «Обживая хаос. Эпилог»). Именно советское бессознательное стало, по автору, источником мифотворческой энергии, а случайное в соцреализме выполняло роль снов, в которых «пробалтывается» коллективное подсознание.

Поскольку в новой научной парадигме мир представляет единое целое, информационное поле, паутину *«взаимосвязанных и равно важных процессов»*, то путь познания — не от частного к общему, а *«от целого к частному»*. В парадигме «лука» место линейного, обращенного в будущее времени занимает циклическое, воспроизводящее настоящее; пространство, как и время, *делится на более мелкие части (вместо простыни лоскутное одеяло)* и самое важное происходит *на рубеже между разными реальностями*. Не случайно один из разделов тома назван *Частный случай*, а *врожденным эстетическим пороком соцреализма* признан универсализм с его презрением к деталям. Таким частным случаем выступает концепция небытия у И. Бродского: *«Бродский переводит в ощущения ту недоступимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовем “небытие”*. Хаос проявлен как небытие и бессознательное и связан с интерпретацией рифмы у Бродского, рифмы, входящей в резонанс с мотивационной сферой поэта: *«В рифме он видел самое интимное свидетельство о поэте, неподдель-*

ный — оттого что бессознательный — отпечаток авторской личности». Здесь используется текстовый синонимический ряд для утверждения приоритета сферы подсознания, не отрефлектированной рациональностью логики. Его истоки — в материи звука: *«Под бесконечными масками внешних различий рифма обнаруживает исходную общность — звук. В натурфилософии поэзии звук играет роль воды (и та и другая стихии остаются всегда сами собой. — Н.С.)... Чтение стихов сближается с молитвой, шаманским заклинанием, заговором, публичной медитацией, во время которой внутренний голос поэта резонирует с речью, причем — родной»*.

Концепт «небытие» разрабатывается со ссылкой на И. Бродского и в эссе «Старость»: *«Мороз у Бродского — признак и призрак небытия, в виду которого зима подкупает отсутствием лицемерия. Скупость ее черно-белой гаммы честнее весенней палитры...»* Старость осмысляется как *мыс, который все дальше вдается туда, где нас нет*, где конец бытия и человек как конец самого себя вдается во время. Частным случаем является и авторская интерпретация концепта «Бог» (эссе «Проводы»): *«Бог — продукт воображения, но это отнюдь не делает Его более иллюзорным, чем остальной мир. Реальность божественного присутствия в нашей жизни ничем не отличается от реальности всякой вещи, которая состоит из себя и нашего на нее взгляда»*.

Внимание к «частному случаю» не исключает обнаружения общего в ряде современных концепций и поэтических, философских, лингвистических проектов начала XX века. Так, отмечается сходство современных концепций свернутой реальности (Д. Бом), вневременной протореальности, сверхреальности, целостности как истинного состояния мира, дорогу к которым указывает не логика, а освобожденное от детерминизма озарение (волновая теория К. Прибрама, голографическая гипотеза, корреспондирующая с теорией фракталов в синергетике) и проекта синхронной культурной Вселенной О. Манделштама.

Предметом лексической разработки становятся и другие филологические концепции начала XX века. Модернизм в целом, занятый самим собой, рассматривается как «конфликт интраверта с экстравертом, а принцип Серапиона (эссе «Урок Серапиона») — как *единство реальности*. В персоносферу начала

века введены имена собственные серапионовых братьев (*серапионы*) — *Гофман, Замятин, Лунц*, они осваивают программу рубежа реальностей, возможных миров, где жизнь становится литературой, обычное — необычным, реальное — ирреальным. Считая, что Булгаков своим *Мастером и Маргаритой*, сделал то, что серапионы только обещали, А. Генис замечает: «*Мастер и Маргарита*» стал недостающим звеном литературной эволюции. Булгаков возвращал русскую прозу к той развилке, где была обрублена ее модернистская ветвь. Метафора развилка отражает гештальт нахождения системы в точке бифуркации, в точке катастрофы, когда насильственно было прервано эволюционное движение литературного процесса. Античное отношение ко времени — искусство жить в настоящем — автор связывает с исчезновением апокалиптической точки — будь то атомная война или торжество коммунизма, т.е. точек бифуркации, гибельных для системы (человеческого рода. — *Н.С.*).

Представим структуру текстового ассоциативно-семантического поля (ТАСП) синергетики в прозе А. Гениса, отдавая себе отчет в известной условности предлагаемой схемы.

ТАСП синергетики в прозе А. Гениса

<p>Ядро поля, его центр — абсолютно специфические номинации синергетики (узусальные и окказиональные): «синергетическая» сема входит в интенционал лексического значения, являясь обязательной</p>	<p>Теория эволюции, квантовая механика, хаосология. Хаос, хаосфера, творящая пустота Пригожина, целое, вечное; вневременная, всезнаковая, неотредактированная реальность; протореальность, виртуальная, альтернативная вселенная; реальность, внешняя и внутренняя реальность, настоящая и придуманная реальность, психическая реальность; небытие, дисгармония, беспорядок, стихия, анархия, непредсказуемость, свобода, случайность, частное, случай, насильственный порядок; живая, неотрефлектированная, целостная картина мира, конфликт, насилие гармонии, информационное поле; органическое, цельное знание, непознаваемое, сознание, подсознание, множественность миров, ирреальное, органика, интуиция, разум,</p>
--	---

	<p>анализ, чувство Порядок, космос, гармония, необходимость, самоорганизация, ненасильственное сотрудничество, эволюция, резонирует, быть, календарная форма</p>
<p>Околоядерная зона — относительно специфические номинации, сигналы синергетического способа мышления, связанные со сферой гуманитарного знания, искусства: «синергетическая» сема входит в сильновероятностный импликационал лексического значения</p>	<p>Вещь, версия мира, концепция, душа, универсализм, советская метафизика, утопия, правда, советский мир, эстетический порок, соцреализм, подлинный реализм, инфантилизм, детство, гиперреализм, цельность, романтическая «свобода», понимаемая как абсурд, литературоцентризм, анонимная стихия массового искусства, Бог, наблюдатель, творец, творческий акт, целостность искусства, нетленный, инвариант, универсальный, пратекст, органический мир свободы, социальный мир необходимости, зазеркалье, парадигма, взгляд, деталь, образ, модернизм, модернистский; Манделштам, Гофман, Замятин, Лунц, Серапион, серапионовы братья, Булгаков, Андрей Синявский, Бродский, Андрей Битов, В. Маканин, В. Сорокин, В. Пелевин, В. Ерофеев, С. Довлатов; метр, гармония, ритм, рифма, звук, родная речь, замысел, исповедь, книги, отрывки, жизнь, природа, культура, конфликт, борьба, триумф, диктат, естественная противоречивость, дневники, черновик, послеплан, послетекстовый, слово, переносное значение, смысл слова, Логос, синтаксическая свобода, многоточие, интерференция, запах, переживание, память, мозг, умысел, чистый разум, план, умный интеграл, советский мир, первичный импульс энергии, бессмысленное, неважное, лишнее; поэт и толпа; власть, шизореальность, «Чузна и жидо», «Поле чудес», каламбур, Кафка, продуцирующее действительность искусство (новый уровень самоорганизации системы. — <i>Н.С.</i>), рукописи, неверные копии, форма, содержание, недеяние, молчание безгласности, жизнеспособность, одиночество</p>

<p>Периферийная зона — неспецифические номинации (часто гештальтов синергетического концепта): «синергетическая» сема входит в слабовероятностный импликационал лексического значения</p>	<p>Элемент (абсурдный), машины (текстовые машины хаоса), генератор (непредсказуемости), коктейль, яд, концентрация, ложный, разрушая, разнимаем, фрагменты, фантики, ваза, черепки, храм, руины, вандализм, созидательный (пафос), регулируемый рынок, сильная рука, лук, капуста, незащищенность, уязвимость, убогость, исходная точка, резерв роста, не от мира сего, дурдом, «смиранный», исток, назад, паутина, простыня, лоскутное одеяло, рубеж, заготовка, выжимки, ступеньки; смерть, зачатие; интимный, неподдельный, бессознательный; вода, молитва, шаманское заклинание, заговор, публичная медитация, внутренний голос, старость, мороз, призрак, признак, зима, лицемерие, черно-белая гамма, честный, весенняя палитра, мыс, иллюзорный, ветвь, обрублена, развилка, апокалиптическая точка, атомная война, торжество коммунизма, глубь, деформация, пограничная зона, стыки, окольные пути, счастливый брак, быть самим собой, сеет, сеятель, жатва, урожай, зерно, произрастает, просторы, тайна, улика, обычное, необычное, цыпленок на ноге, клетка, раковая опухоль, сад камней, ленинградское барокко</p>
---	--

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Генис А.* Беседы о новой словесности. Соч.: В 3-х т. Т. 2. — Екатеринбург, 2003.
2. Логический анализ языка. Космос и хаос. — М., 2003.
3. *Лотман Ю.* Культура и взрыв // Семиосфера — СПб., 2000.
4. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х гг. — СПб., 1997.
5. Первая Российская конференция по когнитивной науке. — Казань, 2004.

6. *Перловский Л.* Сознание, язык и математика // Звезда. 2003. № 2.
7. *Селдон Х.* Чернобыль в зеркале трех поколений // Дружба народов. 2006. № 7.

2.1.2. Когнитивно-дискурсивные стратегии с синергетической точки зрения

Психическая деятельность человека носит антиэнтропийную направленность. Это обуславливает единство когнитивно-дискурсивного подхода к анализу продуктов его текстовой деятельности, связанной с внесением информации в коммуникативное пространство. Внимание к личностным аспектам коммуникации, к ассоциативно-вербальной сети как одному из способов существования языка объясняет интерес лингвиста к данным смежных наук, в частности, ориентированных на установление психологических закономерностей с учетом общих законов природы [1, 2]. В числе таких космических законов названы законы сохранения энергии, энтропии, эволюции, приспособляемости, отбора. Глубокие аналогии в поведении сложных самоорганизующихся, высокоадаптивных систем, изучаемых как естественными, так и гуманитарными науками, пытается выявить синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен, А.Б. Коган).

Антиэнтропийная направленность психической деятельности человека проявляется во внесении гармонизирующего начала в процессы социального взаимодействия: осуществления совместных действий, воздействия, регуляции поведения и др. Регуляция поведения опирается на соблюдение общих этических принципов и норм, нарушение которых угрожает распадам человеческого сообщества как высокоорганизованной социальной структуры.

Осознание уникальности человеческой личности как условия существования сложной высокоорганизованной системы, какую представляет человечество в целом, тоска по «включенности» в эту систему и страх разъединения, отчужденности, интуитивно переживаемый как угроза ее целостности, связям взаимонуждающихся индивидуумов и их групп (родственных, дружеских и иных), особенно отчетливо выступают при художественном, образном освоении действительности. В этом своем качестве осо-

знание уникальности предстает, например, в прозе А. Битова, объективируясь в лексической структуре текста, в ассоциативно-вербальных связях слов. В силу обусловленности концептуальной системой автора и лексикосистемными факторами лексическое структурирование текста также имеет негэнтропийную направленность и различные формы своего обнаружения. Среди них можно назвать:

- 1) лексическое представление «семантической темы» текста и замысла как способа ее интерпретации в наборе ключевых и ассоциативно связанных и «привязанных» к этим формам слов (тематическая сетка, ассоциативное поле текста);
- 2) лексическую презентацию деструктивных миров (мира абсурда, распада человеческой и природной среды, порожденных технократической цивилизацией, репрессивным, милитаризованным, бюрократическим сознанием, утратой нравственных ориентиров);
- 3) способы метафоризации в создании семантики возможных миров, включая конструктивные, в освоении психологической реальности;
- 4) лексическую разработку культурных концептов (человек, судьба, свобода, вера, справедливость и др.);
- 5) лексические сигналы включенности адресата в коммуникацию, снятие барьера в процессах «состыковки» моделей сознания, в том числе совокупность лексически организованных стилистических приемов (создание прототипического эффекта, речевого контраста на базе денотативных и коннотативных компонентов лексического значения, утаивание информации, метаязыковая деятельность, повторы и др.);
- 6) лексические маркеры включенности текста в социокультурное пространство.

Проиллюстрируем высказанные положения.

1. Сквозная тема разобщенности, одиночества, утраты эксплицируется и соответствующими ключевыми словами микро- и макротекстов, и ассоциативным их полем, структурой тек-

стовой парадигмы: «Многие люди проходят мимо меня, и я что-то понимаю про некоторых, они перестают быть неизвестными — и проходят мимо, уходят. Тут приобретаешь и теряешь легко и мгновенно — прикосновение незнакомой жизни. Что-то тут не так. Особенно если девушки. Тут острее чувствуешь утрату: целый мир — взгляд — и мимо, мимо. <...> проходим мимо, и столько в этом горького опыта, невозможности. Один-человек плюс один-человек — равно два один-человека. Особенно если женщины... Особенно если друзья... Особенно если дети... Особенно если старики...» (Битов. Бездельник).

В числе ключевых, ядерных в текстовом ассоциативном поле выступают прямые номинации утрата, невозможность, один, одинокий (путь): «У каждого неумолимый и одинокий путь» (там же). Речевая многозначность охватывает слова разной частеречной отнесенности, содержащие пространственную сему, связанную с семой движения, в качестве актуальной или потенциальной: проходить, уходить, путь, мимо (с многократным повтором), мир. Указанные семы лежат в основе ориентационной метафоры, раскрывающей тему одиночества: «И мне кажется: в жестком прозрачном камне прорублены узкие каналы для каждого. У каждого неумолимый и одинокий путь, и только можно взглянуть с грустью и сожалением, как за прозрачной стенкой проходит другой один-человек и тоже смотрит на тебя с грустью и сожалением...» (там же).

С ключевыми словами-номинациями темы по эмотивным семам связаны обозначения эмоциональных переживаний: *грусть, сожаление, горький*. В тематическую сетку текста входят сложные окказиональные существительные (*один-человек*), распространяющие сему одиночества на разные видовые по отношению к родовому компоненту «люди»: *женщины, девушки, друзья, дети, старики*. Дважды использовано слово *незнакомый*, усиливающее мотив отчужденности. С ключевым словом темы (*утрата*) по семам мимолетности, быстротечности, потенциальным для данного слова, ассоциативно связываются слова *легко, мгновенно, прикосновение, взгляд, взглянуть*, по ядерным семам — антонимичные глаголы *приобретаешь и теряешь*.

2. В лексическом представлении деструктивных миров значительное место принадлежит военной лексике, причем в описании обыденных ситуаций, отношений с близкими людьми, их мировидения: «Они все помешались на прогрессе, даже мои милые старики. <...> А старик так рад и так счастлив. <...> Он нас любит. <...> А говорит он, что вот, например, нейтронная бомба — так не то, что атомная, а водородная против нее, что порох. <...> Что вот бомба такая упадет — и все живое погибнет, а даже стекла в домах целы останутся. <...> «Так ведь в этом весь ужас, — говорю я, — лучше бы ничего не осталось». А старик — глаза круглые — кивает и не понимает. <...> «Это еще что, — говорит отец, — <...> за сотым еще элементы нашли... «Так они... такую поразительную способность взрываться обнаружили <...>. И ракеты не нужны... «А так — они нужны?» — говорю я. «Щенок, — говорит отец, — я всю войну прошел». — «Вот и не понимаешь», — говорю я <...>. «Это еще что, — говорит старик, — вот если бы из антимира бы да антивещество бы — то на всю планету бы одной булавоочной головки хватило бы» (там же). Здесь вполне узнаваемы разговоры недавнего времени, порожденные «мужской» технократической цивилизацией и страхом перед всеобщим уничтожением.

Тема конфронтации, войны, насилия организует метафорический строй фрагмента, весьма далекого от военной тематики и тем более отчетливо выявляющего деструктивную направленность общения: «Воскресенье уже ни на что похоже не было. Замаскированная война протекала на кухне, около детской кроватки и в саду. Все осложнялось, запутывалось этикетом, вежливостью и добрым отношением друг к другу — все это служило чем-то вроде боевых щитов или укреплений — троянский конь с расположившейся внутри коммунальной квартиры, свара, запеченная в сладкое тесто. <...> впереди был обед, куда стягивались все силы и резервы. С приближением обеденного часа война переходила в битву, а битва в побоище. Сын, которому все уделяли любовное внимание, то попадал в плотное окружение... то все покидали его. <...> Сергей, усталый и сытый, напуганный предстоящим последним сражением, которое называлось сборами в дорогу, попросту бежал, объяснив это тем, что сын до сих пор не гулял» (Битов. Жизнь в ветреную погоду).

Мотив ностальгии, утраты с привлечением военной метафоры связан и с темой родины, ее судеб. Последнее обуславливает привлечение фоновой информации, межтекстовых связей: «В Грузии я писал о России, в России — о Грузии... Счастье соответственно владело мною секунду, пока я, отряпавшись, предавался чужому чувству родины. Лазутчик и захватчик! Я хотел импортировать домой то, что у них оставалось: принадлежность себе. Не тут-то было! только оттуда мог я увидеть свой дом, только оттуда — в нем себя ощутить. Дома я начинал тосковать по утрате этого чувства. Воистину, только в России можно ощутить ностальгию, не покидая ее. Великое преимущество! Захватив, я оказывался пойман. Эта традиционно русская способность проникаться чужим существованием (Пушкин, Лермонтов, Толстой...) — оказывалась российской, оборачивалась... Какому воинскому подразделению можно приравнять “Кавказского пленника” или “Хаджи-Мурата”? Существенна безупречность художественной формы — не выбиться из-под образца... а силу духа не займешь у соседа: дух наливается силой на своей, пусть сколь угодно бедной, почве» (Битов. Феномен нормы).

Абсурд жизни преодолевается мечтой о норме, «о той прекрасной, желанной, долгожданной, как вода и воздух». Понимание нормы как меры гармонии человека и среды, человека и общества эксплицируется через взаимодействие конкретно-предметной лексики, ее линейных связей с общественно закреплёнными книжными номинациями соответствующих явлений: «Как бы так... чтобы на стуле можно было сидеть, в окно смотреть, в поезде — ехать, хлеб — жевать, воду — пить и воздухом — дышать, слово — произносить... Чтобы предметам соответствовали свои имена и назначения, и при этом они не переставали ими быть как место для свидания, смотровая щель, транспортное средство, пищевой продукт, парк культуры и зона отдыха... Общественные нормы» (там же).

Истоки дисгармонии, психологического дискомфорта, исключённости из общего хода цивилизации ищутся в свойствах национального характера. Отсюда совмещение современной лексики, связанной с темой прогресса и несущей

коннотации патриархальности: «Нет, не дикарское уподобление обмена золота на фальшивые бусы (хотя и оно имеет место) здесь у меня на языке, а ностальгия, парадоксальная двойная ностальгия русского человека: одновременно по прогрессу и патриархальности, уже не один раз полностью продиффузивавших друг друга... Эти две идеи, патриархальности и прогресса, так измучившие Россию своим непобедимым сосуществованием, преграждающим переход из состояния времени в состояние истории и из состояния пространства в состояние культуры. У нас и джинсы — это икона (причем буквально, в денежно-товарном выражении), и ракета — это ковер-самолет» (Битов. Пальма первенства).

Логика абсурдного бюрократического мира, маскирующего бездеятельность, выявляется в окказиональной аббревиации и оценке стоящей за словом реалии: «ЧУШЬ — Чрезвычайное Указание Шефа; Тоже ведь страшно: что-то появляется человеческое только, когда ЧУШЬ (о перетаскивании шкафов. — *Н.С.*), а в идеале, значит, и этого быть не должно? (Битов. Бездельник). Различны способы иронического описания «канцелярской роскоши». Это графическая и вербальная речевая оценка (СКО-РО-СШИ-ВА-ТЕЛЬ... слово-то какое! Как до такого люди додумались, не пойму. Ведь изобрести надо! Колесо, кремень — понимаю — это гениально. Но скоросшиватель — это какой-то ужас, извращение мозга! Еще есть дырокол. Тоже адское изобретение. ДЫРО-КОЛ, КРОКОДИЛ...» (там же), установление ассоциативных связей слов не только по сходству звучания, но и по устрашающим человека содержательным компонентам значений. Представлены лексические приметы бюрократической гигантомании (скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки с пятак), иерархии: «Есть чернильница-шеф <...> чернильница-зам. <...> Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас! Есть и самая ненавистная мне чернильница-руководитель. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас чернильниц-черни и чернильниц-бояр соединился в ней. Да что говорить! Даже в красном уголке есть своя красная чернильница... И все-таки что-то есть хорошее во всей этой гадости, и хорошее заключается в том,

что уж больно точно эта гадость выражена, никаких сомнений» (там же).

Прием гиперболизации рассчитан на создание иллюкативного эффекта, привлечение адресата на свою сторону, внесение изменений в его модель сознания через обнажение бессмысленности, бесчеловечности этого мира. Деструктивной в ее логическом воплощении предстает и психологическая реальность, связанная с утратой нравственных ориентиров. Смешение реальности и видимости в сознании персонажа обуславливает насыщенность текстового фрагмента эмотивной и оценочной лексикой с нестандартной ее квалификацией в рефлектирующем сознании персонажа — Монахова: «Он подумал, что все какая-то кошмарная, крошечная подтасовка, подмена всех желаний, чувств, мыслей. <...> Что желание теряется где-то на полдороге и чуть ли не при первом шаге... И даже безрассудство — вовсе не доказательство силы желаний и чувств, а лишь свидетельство нашей к ним неспособности» (Битов. Образ).

Размытость этических представлений приводит к неразличению, диффузности полярных чувств, отсюда использование имен, эмоций, содержащих антонимичные семы в своем лексическом значении: Одна лишь видимость решительности, на самом деле — полная растерянность перед мутностью и неясностью собственных ощущений. Ах, что так — что этак... Верность любого обобщения испугала Монахова (там же). И вместо реальности чувства рождается «образ чувства»: «Чувства нет, а есть его образ: не любовь — образ любви, не измена — образ измены, образ дружбы, труда, дела и т.д. (там же).

Сложилась «метафоры, которыми мы живем» (Лакофф, Джонсон), заменяющие реальность истинных переживаний. Выхолощенность внутренних стимулов поведения человека рождает призрачность, омертвление сознания, его «полураспад»: «Но вся эта радуга — водка-кофе-табак-Светочка-аккумулятор-покойница — поразила помутневшее и ороговевшее сознание Монахова, будто вкус оставался последним еще доступным ему живым чувством. Не слышу, не вижу, не понимаю, не чувствую... один вкус!» (Битов. Вкус). «Значачее» название новеллы подчеркивает атрофию естествен-

ных человеческих реакций, сохранение лишь низших их проявлений — вкусовых. Эволюция человека, говорит автор, возможна лишь при сохранении высших чувств, позволяющих избежать духовной глухоты: «Я не говорю о тупой норме, нормальности бесчувствия — я хочу сказать о той норме чувствования, о высшей, трепетной норме, тонком балансе, остановке в полете, когда радость жизни еще не утрачена и в то же время ты способен потерять ее в любой момент, но продолжаешь жить и жить в этом неустойчивом и подвижном равновесии, — о той форме чувствования, при которой азве что не сходишь с ума, — о счастье» (Битов. Феномен нормы).

Контраст сущего и должного выявляется в ситуативно-речевых антонимах *тупая — высшая, трепетная; бесчувствие — чувствование; остановка — полет; неустойчивое, подвижное — равновесие; не утрачена — потерять*. Осознание неустойчивого равновесия как нормы бытия делает его особенно ценным в глазах автора. Ситуативно-речевыми синонимами к определению нормы выступают в тексте также слово *божественная* и сочетание *норма творения*.

Сохранение гармонии связывается с сохранением веры, церкви: «Церковь стояла в уцелевшем московском переулке, пустом и тихом... теперь ему было ясно, что все это вокруг уцелело благодаря церкви, находясь в ее поле. Именно поле (в том, научно-популярном, теперешнем смысле) ощутил вокруг церкви Монахов» (там же). Соединение непреходящего (церковь) и современного подчеркивается речевой оценкой, эксплицирующей функционально-стилистические и хронологические коннотации слова *поле*. В этом контексте естественно обращение к архаичной, культовой, библейской лексике в оценке и самооценке героя: *скудель греха; исчадие ада*; место, которое должно было под ним *разверзнуться*. Символом высшего предназначения человека выступает и синонимичное Слово *церковь* слово *храм*: «...храм, правильно, единственно там построенный, всегда казался мне чем-то вроде пункта привязки человека, только уже не на поверхности, а в мироздании, — напоминал человеку, где он, если поднять глаза от хлеба насущного, находится... чтобы мы узрели отражение лица бога в его собственном творе-

нии. Ибо что лучше отразило его?» (Битов. Воспоминание об Агарцине). Наличие высокой, торжественной лексики придает текстовому фрагменту сходство с жанром проповеди, оказывает прямое воздействие на интеллект и душу адресата.

3. В создании семантики возможных миров значительная роль принадлежит метафоре, которая перекидывает мостик к освоению психологической реальности. Способами концептуализации действительности выступают «природные» метафоры, «геометрические», «ориентационные», антропоморфные, конкретно-предметные и многие другие, демонстрируя внутреннее единство возможных миров, их взаимную «переводимость»: «Теперь же, вдруг почувствовав край привычной лунки, выдолбленной мучительными когда-то представлениями (о гибели от атомного взрыва), он легко скатывался в нее: удобно не задерживаясь в сознании, в один миг перед ним проходило несколько картинок — и все... Если рискнуть на образ, то как бы два времени года в нашем сознании: лето и зима. Препарировав, можно было бы выделить, наверно, и осень, и весну... Но, впрочем, весна — начало лета, а осень — начало зимы» (там же). Порождением зимы сознания выступают суэта и тщета: «Слово это (тщета. — Н.С.) внезапно исполнилось для меня глубокого смысла, и весь мой опыт, сам собою, пристал к его берегу... для самого мучительного и сильного моего сейчас чувства нет у меня слов-ключей, и стыдно заменять отмычками и взломом... и где-то у противоположного берега моего сознания ходит большая рыба, которую я втайне хочу поймать» (там же).

Автор как бы объясняет читателю правомерность обращения к природной метафоре: «Жизнь и природа в своих циклах представились мне бесконечным рядом обнимающих друг друга сфер, у них есть полное подобие и различие количественное времени и пространства их существования и несовпадения по фазам цикла» (там же). «Природные» и антропоморфные метафоры взаимно дополняют друг друга, оборачиваются, создавая целостную концепцию жизни: «Лес, оказывается, — не просто много деревьев, а что-то вроде сообщества, даже коллектива. Деревья растут не по-

одинокке, а как бы всем лесом... все деревья связаны между собою корнями в единую систему. И не каждое дерево, а лес в целом существует как единый организм... И как открыли? Считалось загадкой, почему мертвое дерево — сухое. Сразу сухое, а не то, чтобы высохло от времени... И оказалось, что, умирая, оно отдает все свои соки лесу. Лес этими общими своими корнями его высасывает. Вот оно и стоит сухое... Вот и выходит, что жизнь одного дерева нужна всему лесу» (там же).

Подтекст, глубинное содержание ощущается уже в этой части текста, и для героя он еще до конца не прояснен: «Как-кая-то еще, как огромный зверь, мысль шарахнулась за окном в ночи. Он ее не поймал. Мысль проясняется при столкновении со смертью отца: И если лес — одно, то отец и сын — просто одно дерево... Ток жизни в последний раз потек от отца к нему... Этот живой ток последних сил немощного отца — обмыл обызвествленную душу Монахова-сына, и, снова прозрачная, впустила она в себя всю окружившую ее боль...» (там же).

Очевидно, осознание единства мира, живого и неживого, вечности и цикличности, повторяемости явлений в природе и обществе обуславливает частоту геометрических метафор типа *круг, обод, оборот* и ассоциативно связанных с ними — *клубок, рифма* (времени): «Время делало полный оборот, попадая в ту же точку со случайно налипшим на его обод Монаховым» (Битов. Вкус). «Космические» ассоциации вызывают конкретные бытовые предметы: «Я взглянул на уколотый чурбак — мириады дырочек, сфокусировавшись, отчетливые, представили собой черные созвездия дня, закручивающиеся спирали галактик, миры и патетические антимиры, где плотность и материя оставшегося дерева была лишь созвездием космической пустоты, где дерево каким-то образом висело в дырье... миры, дыры, дыры-миры...» (там же).

4. Метафора активно участвует в разработке культурных концептов, одним из которых выступает судьба в одноименном рассказе. Она рисуется в образе «странной» улицы, без «начала и конца», вдруг обрывающейся «светлым, стремительно сужившимся тупичком», ее название — Глухая: «...При слове “судьба” перед моим мысленным взором рыбкой блеснет

именно этот уголок» (Битов. Судьба). Именно там что-то происходит, с судьбой связывается понятие народ: Судьба — народ, народ — судьба; я, отлученный, сбоку (там же). Тема отлучения варьируется в неожиданных сочетаниях слов: «Так, так! Все не со мной! никогда, ни почему, по природе не со мной. Самоубийство в запасе. Судьба в отставке. Душа на пенсии. Совесть на приколе. Тело в ремонте. Ум в кладовке. Ищу дверь в поле» (там же). И только в доме, где судьба, люди, так и не сумевшие стать плохими, — «все как на ладони», «калитка всегда настезь...» Весь рассказ построен на подтексте, и обнаружить его помогают лексические сигналы скрытой информации, речевая многозначность, диффузность лексических значений слов, параллелизм синтаксических конструкций, содержащих разностильную лексику и др.

5. Лексические сигналы включенности в социокультурное пространство и адресованности также разнообразны. Ограничимся только одним примером. Выбирая жанр «открытого письма», автор прибегает к приему косвенной цитаты своего собеседника, любящего ленинградцев, с которыми он познакомился в альпинистском лагере. А в ответ на вопрос о чувствах, которые вызывает у писателя «работа над словом», автор самоиронизирует, вводя текстовый сниженный синоним *трепотня* для обозначения написанного и непосредственное обращение к адресату как прием интимизации повествования: «Скуку чаще всего, дорогой В., и некую тоску, что не могу, не в силах уже, став писателем, заставить себя пахать, грузить, бурить, что во всю свою жизнь, сменив несколько служб и написав то, что я написал, ни разу я не работал, за что долго считал себя подонком и уничижал, а теперь и не уничижаю» (там же). Предельная откровенность выступает как речевой поступок, акт высшего доверия к читателю, способ построить «конгруэнтные» отношения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Бехтерев В.М.* Коллективная рефлексология. — Пг., 1921.
2. *Харитонов С.* Потребность психической активности: анализ и деление понятия. — СПб., 1994.

2.2. ТЕКСТ КАК ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

По Г. Хакену, открытость, наряду с когерентностью и нелинейностью, выступает базовым понятием синергетики: «...Процесс обмена информацией, ее производство, передачу и прием с обработкой и возникновением — саморождением новых качеств и нового смысла — называем синергетикой» (цит. по: [4: 11]). По мнению отечественных последователей этой науки, синергетика заставляет по-новому взглянуть на проблему, высвечивая открытость как систем, так и методов: «Синергетика — это не инструмент, дающий предзаданные результаты, а дверь, открытая в реальность, природную и человеческую, и ожидающая ответов от самой этой реальности» (там же). Культурный синтез, новая целостность возникает как опора в борьбе с хаосом, продуцируя иной модус бытия — бытия гармонического.

2.2.1. Слово в его отношениях со средой: соотношение системы и среды и текстовая лингвосинергетика

В лингвистических работах последнего времени стало общим местом положение о тесной связи языковых и энциклопедических знаний, знаний о мире и ее отражении в слове. Однако механизм этого единства с лексикологической точки зрения остается не вполне осознанным. Методика семного анализа предназначена прежде всего для освещения того, что относится к дифференциации слов внутри системы, ассоциативные связи устанавливаются преимущественно психолингвистическими методами в ассоциативно-вербальной сети и ее текстовых проекциях, но онтология и диалектика связи слова и его значения с предметной, вещной средой его бытования недостаточно уяснены. Между тем обозначенные проблемы были предметом пристального внимания в философских и филологических исследованиях русских мыслителей начала XX века (А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина и др.), опиравшихся не только на культурную традицию, но и на новейшие достижения естественно-научного и гуманитарного знания. Их идеи все шире входят в лингвистический обиход (ср. послесловие Л.А. Гоготошвили к книге А.Ф. Лосева «Бытие.

Имя. Космос»; статью В.М. Алпатова «Книга “Марксизм и философия языка” и история языкознания» // ВЯ, 1995, № 5) и представляют особый интерес для лексикологов в связи с освещением проблем имени, слова в его статике и динамике.

Отношения слова и среды носят двойкий характер: слово существует, проявляется, изменяется в среде, с одной стороны, и выступает средой для своего инобытия — с другой (ср. положение А.В. Бондарко о реактивной и активной функции системы по отношению к среде). Слово как элемент человеческой культуры несет в себе итоги познавательной деятельности человека как части природы, универсума, накладывающих свои ограничения на деятельность человека и продукты этой деятельности — слова. Именно на этом стыке культурного и природного в человеке, не только как субъекте, но и объекте, и можно объяснить диалектику слова и среды его бытования. Слово как инобытие личности во всех ее составляющих: интеллект, воля, чувство — является органически антропоцентричным и определяет взаимодействие человека со средой, вбирает в себя элементы этой среды, воссоединяется с ней. Основа такого воссоединения — энергичная: имя — энергия сущности предмета, но не любая, а смысловая, «умная» (А.Ф. Лосев), причем «ум» (концепт имени) не сводится только к его рациональным моментам, но охватывает всю сферу сознания человека. Бесконечные формы проявления вещи предполагают множественность ее интерпретаций сознанием, объясняя бесконечную смысловую валентность языкового знака как его потенцию. Имя содержит в себе смысл «всех возможных инобытийных функций вещи. Оно есть как бы заряд, готовый в каждую минуту превратиться в реальное огромное событие» (Вещь и имя).

Связь слова со средой как инобытием носит антиэнтропийную направленность, слово служит способом самоорганизации личности, ее бытия в мире и культуре. Средой для слова выступает не только вещный, предметный мир, весь арсенал культурных знаний, но и лексическая и вообще языковая система, а также среда коммуникации, контекст в широком смысле этого слова.

М.М. Бахтин предлагает подойти к слову не как к непосредственному объекту анализа, а как к среде социального общения, бытия, что и объясняет гибкость и переменчивость слова (поми-

мо изменчивости той вещи, смысл которой передается словом). В слове отражается многоголосица разноименных и многопространственных контекстов, интенций, всей культуры и отдельных ее эпох. Высказывание Бахтина о том, что «вещь чревата словом» сближает его с А.Ф. Лосевым, диалогически перекликаются и их мысли об основах понимания слова: указание на необходимость соотнесения слова с другими словами, данного текста с другими текстами.

Механизм того, как слово, попадая в контекст, становится диалогическим, смыслообразующим словом, показан М.М. Бахтиным на примере форм чужой речи у Достоевского. Но эти выводы имеют и сугубо лексикологическую ценность, объясняя несовпадения словарного и текстового слова как элемента высказывания, взаимодействия интенций адресанта и адресата: «Два равно- и прямоинтенциональных слова в пределах одного контекста не могут оказаться рядом, не скрестившись диалогически... они должны взаимоориентироваться... внутренне соприкоснуться, т.е. вступить в смысловую связь» (Проблемы творчества Достоевского). Интенциональность предстает здесь как энергичный заряд, пусковой механизм взаимодействия слов в построении смыслов. Это во многом проясняет причины семного речевого варьирования слова в тексте, текстовые приращения смыслов и вообще коммуникативные потенции слова, его прагматику.

Не случайно в своей итоговой работе «К методологии гуманитарных наук» М.М. Бахтин поставил в качестве первоочередных такие проблемы: проблема значения и смысла слова в аспекте проблемы понимания, проблема символа и образа в их отношении к понятию, проблема границ текста и контекста, речевого акта и его влияния на слово, своего и чужого слова, проблема хронотопа. Все они так или иначе вписываются в проблему соотношения слова и среды. Энергичная основа слова объясняет и его духовную силу, катартическую и магическую, заклинательную, а в более привычных терминах — и воздействующую роль, распространяющуюся на все сферы человеческой субъективности, а отнюдь не только на рациональную, в наибольшей мере привлекавшую внимание лингвистов в свете системно-структурного подхода.

Поставленная тема представляется одной из важнейших в свете экспансионизма (Е.С. Кубрякова) современной лингвист-

тики, ее связей со смежными и весьма отдаленными от нее дисциплинами, поскольку антропоцентризм предполагает внимание не столько к отношениям человек — человек, сколько к связям человек — универсум [9: 162).

Проблемы соотношения системы и среды неоднократно ставились и в связи с вопросами функциональной грамматики (А.В. Бондарко), и в общем плане (И.В. Арнольд). В последнем случае автор привлекает данные теории информации, согласно которым «понятие среды входит в понятие системы уже по определению. Там принято считать, что множество образует систему, если связи между элементами этого множества (внутренние связи) преобладают над аналогичного вида связями этого множества и окружающей средой (внешние связи)» [2: 119]. Подобное единство внутренних и внешних связей автор иллюстрирует взаимодействием соседних семантических полей, являющихся и средой друг друга, и в то же время допускающих включение своих элементов в соседнее поле на правах периферийных членов.

Общим психологическим основанием слова как системы семантических признаков и его среды — знаний о мире — выступают ассоциативные связи. Еще А.А. Леонтьев отмечал принципиальное единство психологической основы ассоциаций и семантических компонентов значения. С другой стороны, психологи утверждают, что между ассоциативно связываемыми явлениями психики (представлениями, мыслями, чувствами) действует закон актуализации (он же характеризует «поведение» слова в конкретном речевом акте). Следовательно, глобально ассоциативный характер человеческого мышления и всей психологической сферы позволяет поставить вопрос о том, что «внутренние» ассоциативные связи слова в языке, социально адаптированные, преобладают над «внешними» связями слова и среды, не исключают, а предполагают «обмен» между словом как системой и средой его бытования. Ассоциации может вызвать не только слово, но и любое явление в мире, однако слово как сигнал сигналов, хранитель и накопитель культурной информации, знаний о мире на протяжении веков может вызывать исключительное многообразие ассоциаций в зависимости от личностного тезауруса, жизненного уровня и мотивационной сферы языковой личности.

В ассоциативно-вербальной сети часть лексической информации организуется по типу ассоциативных связей, изоморфных лексикосистемным, а другая часть хранится на глубинном уровне и связана со структурой фреймов, гешталтов, концептов и коллективного бессознательного. Этот вид ассоциативных связей имплицитно в содержании лексических единиц и может выявляться в ассоциативном эксперименте, в художественном творчестве, языковой игре, оговорках и т.д. Дискретность лексического значения связана с переводом ассоциативных признаков в ранг сем, причем признаков слабовероятностных, ибо иные уже представлены на уровне слова в словаре; континуальность лексического значения — в его взаимодействии со средой, проявляемом в семном речевом варьировании, а также в расчленении значения, не дошедшем до понятийного уровня. Итак, стадии становления словозначения: семное варьирование в тексте — в словаре — расчленение значения — становление собственно значения.

Связь слова и среды отмечается уже в процессах синтагматики, имеющих выход на системный уровень (семантическое стяжение и семантическое заряджение по Дж. Лакоффу). Первый процесс охватывает «усеченные именные группы» (*чайник кипит, я съел всю тарелку, декольтированная дама*) [10: 351]. При этом признается неизбежным обращение к «визуальному опыту и другим видам чувственного опыта». Таким образом, смена кода — вербального и образного — происходит постоянно и фиксируется в смысловой структуре слова в процессах переноса наименования по типовым моделям. Последние и отражают вхождение среды в систему, необходимость выводного знания с опорой на знания о мире, психологические ассоциации уже в процессах лексико-семантического варьирования.

Гешталты — образные вехи — создают зону этой взаимосвязи в процессах концептуализации действительности. В случаях семантического заражения происходит перевод типовых контекстов на уровень словозначения. Логический вывод, создающий новые возможные миры, рождается из соотнесения языковых знаний и знаний о мире, пресуппозиций, интенций говорящего, реализуемых в творческом усилии: «Даже те возможные миры, которые создаются благодаря обнаружению новых смыслов у слов, в игре с их сочетаемостью дают возможность

человеку проявить и соотнести свою волю с бытием, возникают в своеобразном волевом усилии» [13: 133]. Об эвристическом характере операций перехода от одного элемента высказывания к другому, связанном с интенциональностью и общим смысловым заданием коммуникативного акта, пишет и Е.С. Кубрякова [9: 193].

Таким образом, уже в рамках двусловного словосочетания осуществляется взаимодействие слова как системы и среды, приводящее к появлению нетривиальных смыслов. Понимание слова в рамках фрагмента высказывания требует его соотнесения с другим словом по аналогии с пониманием текста, требующим его соотнесения с другими текстами. Эта аналогия уместна, если вслед за Ю.Н. Карауловым признать, что лингвистическая информация хранится в памяти преимущественно в виде текстов — реальных, потенциальных или прецедентных. О вхождении среды в систему свидетельствуют данные ассоциативного эксперимента — прямые оценки факта, фона, стоящего за словом и фиксированного «Русским ассоциативным словарем»: *«Дети — это прекрасно, приятные эмоции. Ребенок — угол»*.

Средой для слова выступает и весь арсенал культурных знаний, вся «концептосфера» и вещный, предметный мир. Эти отношения во всей глубине рассматривались русскими философами и лингвистами начала века (П. Флоренским, Л.Ф. Лосевым, М.М. Бахтиным и др.), энерго-ономатическую модель Лосева как цельное знание описывает М. Постовалова [17]. Названная проблематика исследуется в связи с изучением мифопоэтической картины мира (В.Н. Топоров).

Имя, слово в этих концепциях предстает, в силу вычленения им предметов, явлений универсума, как известный аванс бесконечности передаваемых им смыслов, касающихся не только реально известных, но и возможных миров. В них по существу вскрыты предпосылки лексико-семантического варьирования, связанные с противоположностью бесконечного варьирования значения «принципу постоянной предметной однозначности слова»: «Предметная сущность слова является единственной скрепой и основой всех бесконечных судеб и вариаций в значении слова» [11: 645]. В имени усматривается единство разъятых сфер бытия, приводящее к «совместной жизни их в цель-

ном, уже не просто субъективном или просто “объективном” сознании» [10: 642].

Вещный мир как среда слова, связь человека во всех его составляющих с вещью, человеческий слой в вещи рассматривались В.Н. Топоровым и отражают существенные стороны процесса именованности: «Признаки вещи коррелируют с органами чувств человека, и для человека в вещи открывается лишь то, что может быть принято человеком в силу возможностей его восприятия. Поэтому в признаках вещи-объекта человек в известной степени, как в затуманенном зеркале, узнает и самого себя, субъекта восприятия признаков вещи. Через признаки человек проникает в сущее, и это тоже связывает его с вещью... Вещь живет только в лучах человеческих потребностей» [14: 28].

Таким образом, слово как инобытие личности является органически антропоцентричным, определяет направления взаимодействия человека со средой, вбирает в себя элементы этой среды, воссоединяется с ней, и основа такого воссоединения — энергийная: имя — энергия сущности предмета, но не любая, а смысловая, «умная» (А.Ф. Лосев). Бесконечность форм проявления вещи, ее изменчивость, как и бесконечность человеческих потребностей, «в лучах» которых живет вещь, предполагает множество ее интерпретаций — результатов действия смысловой, «умной» энергии.

Энергийная основа слова мучительно осознается не только теоретиками языка, но и практиками слова — современными писателями. Ср., например, фрагменты из повести М. Ганиной «Оправдание жизни» [5]: *«В начале было Слово, и Слово было у Бога. Родного языка словом была крещена я русской... Вот где тайна, секрет, вот связь, крепче которой, как выяснится вскоре, нет ничего на свете... Ген языка, живший в клетках моей новой плоти, ген русского языка... желанно, понимая, отозвался в русской речи беременной женщины, акушерки, бабушки, отца... великих писателей... это и есть суть истинной национальной принадлежности, только так»*. Ср. в иной связи, после циничных откровений пасынка: *«Что, какие колебания мировой всесвященной энергии доносили, выносили беспрепятственно эти особые сочетания звуков?... В начале было Слово... Господи, Слово было у Тебя! Как можешь Ты, не содрога-*

ясь, принимать подобные сочетания подобных гною слов, почему смысл их, собравшись в единый заряд, не взорвал Вселенную?» Отмеченные параметры слова отвечают законам самоорганизации сложных систем (как систем координат, возможностей), идеям порядка из хаоса: «на наших глазах возникает новое единство: необратимость есть источник порядка на всех уровнях, необратимость есть тот механизм, который создает порядок из хаоса» [12: 363]. В собственно лексикологических ориентациях взаимодействие слова и среды находит выражение в представлениях о дискретно-континуальном строении содержательной стороны слова, имеющей переходную зону, уводящую в «меон» (по А.Ф. Лосеву).

Омонимический разрыв значений в структуре многозначного слова, кладущий предел лексико-семантическому варьированию, можно интерпретировать как своеобразную победу хаоса на синхронном уровне. Еще Д.Н. Шмелев отмечал ассоциативное сближение в структуре многозначного слова сравнительно далеких смыслов, как и фиксацию наличия «ничейной зоны» с помощью словарных помет типа «главным образом», «преимущественно», «чаще», представляющих лексическое значение слова как размытое множество, не исключающее роли случайности. Примером самоорганизации сложных саморазвивающихся систем, победы порядка над хаосом, напротив, может служить воссоединение исходных омонимов в структуре многозначного слова. Составители сборника «Актуальные проблемы академической лексикографии» [1] отмечают два значения, сложившиеся у слова *тандем* при его заимствовании: 1. Расположение машин или деталей друг за другом (из англ.) и 2. Два лица, объединенные общим делом, целью (из франц.).

Совершенно особый сюжет отражения культурно-исторического фона употребления слова связан с презентацией национально-специфической реалии, организующей ассоциативное поле слова в тексте. Такой реалией в повести Ф. Искандера «Софичка» [7] предстает очаг, «притягивающий» родственные реалии (огонь, костер и др.) и служащий основой концептуализации многих сложных явлений истории человечества и его современного состояния. Костер предстает как носитель уюта, защита, явление Бога, всеблагая и грозная сила, источник идеи дома, хозяин этой идеи: дом первоначально — защита костра и человека, а

части дома — средства такой защиты: «Дом остался — костра нет. Человек легко забыл, и не забыл об этом его язык, великий хранитель народного опыта. И человек, не понимая горькой самоиронии своих слов, иногда автоматически называет родной дом родным очагом, как говорили в старину». Воссоздаются функции очага, многие из которых уже утрачены: очаг горит, озаряет, обладает теплом, энергией, собирает семью, объединяет людей, побуждает к духовной активности, оттачивает фольклорные тексты, учит мастерству общения, этике понимания собеседника и т.д.

Элементы динамического фрейма «костер» (огонь, языки пламени, дрова, угроза обжечься, тянем к его струям руки) служат источником метафорического осмысления современных обычаев и психологии человека (заменитель живого огня — алкоголь, мокрый огонь, развязывающий человеческий язык, как когда-то языки пламени, живой огонь костра, «выжигающий из наших душ мусор суетных и тщеславных забот»). Костер в финале фрагмента — символ молодости, начала человеческой культуры, цивилизации, перерождения, очищения (последние смыслы представлены и в словаре символов). Таким образом, восполнение этнографической лакуны представлений о роли очага в жизни абхазцев осуществляется через утверждение общечеловеческих, общекультурных ценностей.

С учетом онтологии отношений слова и среды и современных о них представлений вряд ли можно считать «глубину семантического анализа» только одним из принципов составителей, только «лексикографической условностью», как об этом пишет Г.Н. Складарская [1: 22]. Связь слова со средой (включая психологическую) как своим инобытием наиболее отчетливо представлена в разработке понятий эстетической диалектики. Не случайно в современной ситуации принцип гармонии из частного в эстетике превращается в общий принцип исследования, помогает вписать человека в универсальную картину мира: «Гармония предстает как “инструмент измерения места сознания в космических процессах”» [8: 53].

Гармонизация становится ключевым концептом и по отношению к автору — творцу художественного текста, деятельность которого предполагает самоорганизацию, самопознание, самораскрытие в контексте общечеловеческих ценностей, в контексте

культуры и по отношению к адресату: «Художественные произведения как эстетические ценности необходимы людям и для образного познания действительности и в качестве особого рода организаторов и стимуляторов восприятия, сознания и воли» [15: 63]. Самоорганизация психического уровня личности достигается и за счет эстетики слова, его информационных, антиэнтропийных, энергетических возможностей (см. [16]). Выход из хаоса мира достигается порядком художественной реальности, создаваемой автором, и в силу сигнально-организующего свойства красоты, эстетики слова, воздействующей на читателя: «Структура художественных творений (включая и слово как элемент структуры. — *Н.С.*) входя в наше восприятие, способна перейти в психологический код и в составе этого кода организовать наши чувства и весь духовный мир» [15: 48].

Показательна в этом смысле лексическая структура прозы С. Довлатова, отчетливо чувствовавшего абсурд, хаос жизни и преодолевавшего этот хаос эстетикой слова, умением представить ее уродства и нелепости в мелком, смешном виде, преодолеть их силой искусства, игры, дара органической незлобности (по выражению И. Бродского). Так, «жизнь без помпы и парада» как «истинное и поэтическое содержание книг С. Довлатова» [3: 11] можно проиллюстрировать наименованиями текстов и отдельных новелл в их составе: «Зона (записки надзирателя)», «Заповедник», «Ремесло», «Наши», «Чемодан», «Виноград», «Игрушка», «Встретились, поговорили» и др. Комиозиционно-лексический уровень повести «Чемодан» (предельно бытовое название вместилища) организован на основе метонимической формулы «от вместилища к вместимому», выступающей в названиях глав, в которых описывается содержание чемодана как итог жизни и нищеты художника, покидающего Родину: «Креповые финские носки», «Номенклатурные полуботинки», «Приличный двубортный костюм», «Офицерский ремень», «Поплиновая рубашка», «Куртка Фернана Леже», «Зимняя шапка», «Шоферские перчатки». За этими номинациями скрываются целые пласты жизни общества и самого героя, актуализируется картина мира застойных времен, при этом определения к названиям предметов одежды и обуви часто имеют позитивные коннотации, не соответствующие способу приобретения вещей полукриминальным, полувывогательским путем.

В ходе повествования бытовое обозначение переводится в план экономических категорий (собственность) и квалификации своего социального статуса (нищий). «...Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного-единственного чемодана. Чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 из них я работал. Что-то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате — один чемодан. Причем, довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как это получилось?» Многое в описании чемодана соответствует типовым ассоциациям, представленным в реакциях на стимул «чемодан» в «Русском ассоциативном словаре»: старый, бесформенный, деревянный, небольшой, плохой, черный и др. В финале предисловия, посвященного истории чемодана, отношения вместимого и вместилища дополняются связями целого и его частей, образуя основу для создания символических, философских смыслов, творческих раздумий автора: «Я оглядел пустой чемодан. На дне — Карл Маркс, на крышке — Бродский. А между ними — пропащая, бесценная, единственная жизнь... И тут, как говорится, нахлынули воспоминания... Воспоминания, которые следовало бы назвать — “От Маркса к Бродскому”. Или, допустим, — “Что я нажил”, или, скажем, просто “Чемодан”». Предпочтение, как видим, «без помпы и парада» отдано последнему.

Таким образом, представление о языке как о доме бытия духа, осмысление его в образах пространства, сближающее научные искания начала и конца XX века, находят свое воплощение в лексикологической теории, теории и практике анализа художественного текста, в исследовании этнолингвистических проблем, включая проблемы перевода и устранения лагун — когнитивных, культурологических, языковых, а также в лексикографической теории и практике.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Актуальные проблемы академической лексикографии. — СПб., 1995.
2. Арнольд И.В. современные лингвистические теории взаимодействия системы и среды // ВЯ, 1991, № 3.

3. Арьев А. Наша маленькая жизнь // Сергей Довлатов. Проза. Т. 1. — М., 2000.
4. Басин М.А., Шилович И.И. Синергетика и internet. Путь к sinergonet. — СПб., 1999.
5. Ганина М. Оправдание жизни // Знамя, 1995, № 11.
6. Гийом Гюстав. Принципы теоретической лингвистики. — М., 1992.
7. Искандер Ф. Софичка: Повесть // Знамя. 1995. № 11.
8. Кормин Н.А. Онтология эстетического. — М., 1992.
9. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века // Язык и наука конца XX века. — М., 1985.
10. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1981, вып. XX.
11. Лосев А.Ф. Философия имени // А.Ф. Лосев. Бытие. Имя. Космос. — М., 1993.
12. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. — М., 1986.
13. Руденко Д.И., Прокопенко В.В. Философия языка: путь к новой эпистеме // Язык и наука конца XX века. — М., 1985.
14. Топоров В.Н. Миф. Символ. Ритуал. Образ. — М., 1995.
15. Филиппев Ю.А. Сигналы эстетической информации. — М., 1971.
16. Штайн К.Э. Гармония поэтического текста. — Ставрополь, 2006.
17. Язык и наука конца XX века. — М., 1995.

2.2.2. Лексическое структурирование текста как отражение средовых влияний

Идеи «лингвосинергетики» [8: 189) находятся на начальной стадии своей разработки (ср., например, [9], [10], [13], [16], [17] и др.).

Значителен вклад синергетики в решение актуальной для лингвистики проблемы соотношения системы и среды [4], [5] и др. Открытые развивающиеся системы (а такой в языке является прежде всего лексическая система) активно взаимодействуют со средой, получая из нее вещество, энергию, информацию, необходимые для деятельности системы. В результате обмена со

средой уменьшается энтропия системы (хаос), происходит накопление информации. Примечательно, что в работах по синергетике термины *система* и *среда* часто употребляются как взаимозаменяющие, что опять-таки связывается с открытостью системы по отношению к среде, ее вхождением в среду как части в целое, т.е. более сложную систему. Элементы среды (будь то социокультурная, коммуникативная, языковая, текстовая, ментальная, этическая, эстетическая, эмоциональная и др.) выступают в виде поля данной системы. Ее информационные потребности, необходимость самоорганизации и самосохранения (особенно в моменты бифуркаций) могут приводить к усилению потенциала элементов среды и их втягиванию в систему. Одно из подтверждений накопления энергии элемента поля на его пути в систему — увеличение частотности (социальной предпочтительности) и расширение ситуаций употребления языкового средства. В современном словоупотреблении процессы взаимодействия системы и среды с очевидностью прослеживаются на примере заимствований, иноязычных вхождений, средой для которых служат не только экстралингвистические обстоятельства, но и собственно лингвистические (достаточно вспомнить, что многие из новаций еще недавно ограничивались областями специальных знаний, включая знание иностранного языка).

Наличие лексической единицы в зоне бифуркации дает себя почувствовать в разнонаправленных речевых оценках, металингвистической деятельности, языковой игре, особенно в художественных и публицистических текстах. Ср., например: «Ее крепкая и вместе с тем юркая фигура наводила на мысль о тех низших духах, которых теперь определяют модным термином “полтергейст”. Наверное, и правда такие вот людишки незаметно суетятся — и беспокойство от них приписывают домовым» [15]. Экзотичное слово соседствует здесь с активизировавшимся старым для обозначения явлений с точки зрения иронически мыслящего врача. Сходные явления обнаруживаются в речи других персонажей повести М. Чулаки «Харон»: «— А если настоящие деньги пойдут, тут уж закипят рукопашные... Все станем дилерами и киллерами». Ср. еще: «Удивительное дело, подобные молодые люди бравируют своим видом, как бы носят униформу — солдаты мафиозной армии, объявившие войну законопослушной России. (Бравировать, кстати, от слова

bravo, которое означало в Италии наемного убийцу, — в прошлом веке итальянцы были патриотами и не признавали английского синонима “killer”).»

Нетрудно видеть разброс коннотаций, связанных с употреблением одного и того же слова разными персонажами, выступающими моделями разных языковых личностей. В авторской речи выявляются разные стадии освоения заимствований системой принимающего языка, особенности заполнения культурологических лакун, разного рода ассоциации культурного контекста: « Степа с Ольгой пили растворимый кофе из банки “Нескафе”, производство фирмы “Нестле”. В детстве Егор Владимирович ел кашу “Нестле”... Происхождение ее тоже было таинственно: рисовая варится из риса, пшенная из пшена, овсяная из овса, а “Нестле” из какого злака? Правда, нет и растения “манк”, хотя существует манная каша — не из манной же небесной варила ее мама. И до сих пор банка “Нескафе” вызывает какие-то трепетные детские воспоминания...» Главный герой в авторском описании предстает как рефлектирующая языковая личность, и одна из форм проявления рефлексии — раздумья по поводу смыслов, рождаемых словом: «Перед белым халатом доктора Савича публика расступилась, и обнаружилось белое “Вольво”, почти такое же белое, как крахмальный врачебный халат. Нет, применительно к обнаружившемуся авто средний род был неуместен: пружинистый, мускулистый, словно приготовившийся к прыжку лев, прижимался к стенке барака белый... “Вольв”. Только Дима приехал не на элегантном белом “вольве” (от слова «лев»), а на “запорожце” первого выпуска: «Валентин Викторович, я решил выдать вам интервью. Только вам, исключительно. Как говорят народе, “эксклюзивно”». Языковая личность утверждает себя как свободно ориентирующаяся в стихии современной речи, но не считающая для себя обязательным отступать от привычной речевой манеры.

Текстовые флуктуации поведения иноязычной лексики у разных авторов носят самый неожиданный характер: «Соединить в одно целое бидон и элегантную женщину в легких летящих одеждах, вкусно пахнущую то ли “плендэтьюдом”, то ли “проктер энд гэмблом”, невозможно, но это все невозможное идет мне навстречу», «...Митя мне шепчет, что надо умыться, чтоб не украл упырь, он на такую красоту падкий, хорошень-

кие девочки — это ему самый цимес. «Цимес я понимаю. Поднося деревянную ложку ко рту с борщовой жижей, бабушка причмокивает и говорит: «Цимес»... Я замираю над строчкой. Я должна разобраться. Звоню одной из своих умных подруг: «Слушай, а цимес — это что? — Изюм, — отвечает она. Она у меня девушка без сомнений, поэтому ее надо обязательно перепроверять. Звоню другой. — Курага, — отвечает другая, очень осведомленная в искусствах и науках. То-то и плохо. Осведомленные врут больше всех. — Выпаренный сок цитрусовых, — говорит третья, тоже из горнего мира литературы. Ночью мне приснилась морковка, желтая, корявая, с невкусовой зеленоватой сердцевинкой. “Я то самое слово!” — сказала она. И это была правда» [19]. Этот текст любопытен как иллюстрация и того, что неполностью освоенное слово вытягивает смежные узлы фрейма, и того, что значение слова имеет нежесткий, вероятностный характер даже для специально работающих со словом людей, и того, что часть языковых знаний усваивается подсознательно.

О роли среды в выведении системы на новый режим функционирования свидетельствуют ссылки на аналогичные случаи в ходе эволюции языка, к числу которых относятся моменты пика заимствований. Ср.: «Не так давно казалось, что “пantalоны, фрак, жилет”, — всех этих слов на русском нет». Ничего, появились. Теперь любой грамотный человек, идя на брифинг, наденет смокинг, а уж отправляясь на саммит, точно его не сымет. Да то ли еще будет» [6]. О неслучайности слова *саммит* в современном словоупотреблении (а точнее о случайности, становящейся закономерностью) свидетельствует рефлексия над ним и в уже упоминавшейся повести М. Чулаки: «И решил созвать на вершину властителей крупнейших стран (популярное слово саммит означало первоначально “вершину”: Эльбрус — саммит, и Монблан — саммит)». Нас интересует в данном случае не точность перевода, а самый факт обращения к иноязычному слову.

Изучение текстового поведения языковых средств представляет безусловный интерес прежде всего потому, что обнаруживает не только свойства самого лингвистического объекта, выявляемые в соотношении с другими, но и те его функции, кото-

рые подключают его к системе коммуникации, среды, взаимодействующей с данным языковым средством.

По словам Б. Гаспарова, осознание сообщения «невозможно без погружения в окружающую, ничем в принципе не ограниченную среду мыслительной деятельности говорящих. Погруженный в эту среду, текст высказывания растворяется в ней, становится одним из бесчисленных факторов, воздействующих на эту среду и испытывающих на себе ее воздействие, приобретает черты изменчивости, открытости и недетерминированной субъективности» [5: 319].

Иноязычная среда может выступать как стимулятор смены угла зрения на факты родного языка, остранения, неожиданной интерпретации, приведения в соответствие, семантическое или формальное, этих фактов: «С утра он так и не добрался до словаря, не узнал, что же такое “hostage”. Та-к: вот “host” — “хозяин”. А вот ниже и “hostage” — “заложник”! Интересное сближение: “хозяин” и “заложник”. Что ж, можно оказаться заложником собственных гостей. Да и сам известный в городе доктор Савич — хозяин этих комнат и заложник коммунальной квартиры, из которой не может выбраться, потому что любит старый Петербург... заложник своей жены Злобной Золушки... и даже заложник любимой кошки Таракаши... Заложники любви связаны особенно крепко, *узы любви* (курсив автора. — Н.С.) прочнее любых наручников» [15]. Так, привлекая внимание адресата к неожиданному созвучию, автор выстраивает психологический портрет главного персонажа.

Обращение к иноязычному слову может стать способом маскировки неблагоприятных поступков персонажа, как и «изобретение» такого слова, свидетельствующее о слабом знании реальных фактов чужого языка. В авторской речи интенции употребления новообразования с дистантным многократным его повтором сводятся к передаче неявной отрицательной оценки, к созданию подтекста. Примером может служить употребление слова «эскейпер» для обозначения пытающегося уйти из семьи персонажа в романе Ю. Полякова «Замыслил я побег...»: «— Как будет “побег” по-английски? — А вы разве еще не проходили?” “Escip”. “Побег” будет “Escip”... — Значит, “беглец” будет “искейпер”: Нет, лучше — “эскейпер”, а то как “эскавайр”... — Такого слова, кажется, нет... — Жалко. — Чего жал-

ко? — Что нет такого слова — “эскейпер”. Представляешь, тебя спрашивают: “Вы беглец?”. А ты отвечаешь: “Нет, я — эскейпер!”». В перспективе создаваемого возможного мира с привлечением номинаций иноязычной среды отчетливо выступает интерпретативный компонент значения исконно русского слова «беглец», не допускающий однозначно позитивных оценочных коннотаций. Ключевое слово романа служит орудием малого резонансного воздействия на психическую сферу адресата. Соглашаясь с ее внутренними свойствами, это воздействие выводит сознание воспринимающего текст на новый режим функционирования, рождает новации в структуре личности, новое понимание и, как следствие, поведение. Существенную роль в осмыслении авторской интенции играет строка пушкинского текста, взятая в качестве заглавия.

Как элемент общекультурной среды перцептивный текст становится ориентиром среди флуктуирующего хаоса ценностей, способом удержания культурных констант и опорой в самоорганизации сознания автора и содержательной структуры текста в целом. Ситуация, стоящая за пушкинской строкой, разительно отличается от изображенной в романа Ю. Полякова, как и масштаб личности лирического героя поэтического текста и персонажа со значащим именем Олег Трудович Башмаков. Элемент заглавия включается и в построение текстовой лексической парадигмы: побег — беглец — эскейпер (с подключением лексических элементов иноязычной среды).

По словам Б. Гаспарова, «непрерывно меняющееся взаимодействие языкового сообщения со средой делает каждое сообщение в каждый данный момент его бытования в мире говорящего субъекта уникальным и неповторимым» [5: 319]. Угол зрения субъекта речи организует и лексическое пространство текста, замкнутое в координатах «я-здесь-сейчас», нарушение которых порождает коммуникативные неудачи в общении с адресатом. Недостаточная выраженность, языковая эксплицированность угла зрения говорящего, его позиции ведет к коммуникативному сбою. Так, в следующем тексте очень долгое время остается непроясненной позиция повествователя в роли то ли встречающего, то ли пассажира (прибывающего): «Было 31 декабря: поезд прибывал в двадцать минут двенадцатого: сорок минут, чтобы успеть к праздничному столу... За час до прибытия зарабо-

тал радиоузел. Спела Шульженко, еще кто-нибудь... — Следующим номером выступил чтец... И то, что я не сразу угадал текст, а лишь под подсказку имен собственных, как-то: Киев, Хома, — совсем меня раздосадовало... Я отвернулся, перестав слушать. В ночном окне не было ничего — отражался тот же вант, тот же я» [3].

Зоны неустойчивости, бифуркаций, создающих единство тенденций к самоорганизации и хаосу, катастрофам, охватывают самые разнообразные области современной русской лексики и часто проявляются в причудливом смешении в текстах своего и чужого, старого и нового, высокого и низкого, в построении неожиданных текстовых парадигм. Ср., например, ситуативно-речевую синонимию и антонимию в обозначении смены приоритетов массового сознания в указанной повести М. Чулаки: «...Ольга и остальные так ошалели при виде богатого гостя — возможного мецената, благодетеля, спонсора, что уже неспособны стали соблюдать элементарные приличия по отношению к собственному начальнику (хосписа. — *Н.С.*), не говоря уж, что к собственному вождю и вдохновителю. Благодетель нынче куда дороже, желаннее, чем вдохновитель». В речи персонажей спектр обозначений еще разнообразнее: «Будет Его воля — спонсоры посыплются, как грибы из опрокинутой корзинки: не будет Его же воли — ни один меценат не явится вовек.

Ну, ты дала! Такой осетр с крючка сорвался из-за тебя!.. он закрылся как сейф. Захлопнулся... И мужчина еще — что надо! — Ой, спишь не выспишь. Миллионер на нас выбросился... Не могу слов найти при Егоре Владимировиче. Как написали в газете, что он у нас — “эталон нравственности”. Так у меня полovina слов отсохла сразу.

Встанет ремонт этому банкиру!»

Хаос жизни, переоценка былых ценностей переданы здесь соединением иноязычных заимствований (спонсор), активизировавшихся устарелых слов, штампов тоталитарного дискурса, разговорных метафор и др. И этим не исчерпываются проявления лексического взрыва в организации текста; в текстах Г. Щербаковой отражение речевой стихии предельно многопланово: «фиолетовый камень чудо... — чароит с сибирской реки Чары» противопоставлен как порождение природы реалиям техногенной цивилизации и другим сиюминутным ценностям в

сознании героини: «Как же я буду понимать глубинные подмигивания компьютера и скумекаю, что он мне заворачивает уголки (рукописи. — *Н.С.*)? Поэтому мне нужен на столе камень, неважно чароит он или какая каменная дворняга (зооморфная метафора другого природного явления, противостоящего цивилизации. — *Н.С.*), но именно камень, а не диод с триодом, с которыми у меня нет общего языка, хоть застрелись... По всему тому... я отвергла компьютер как предмет мне лично не подходящий. Одновременно я отвергла евроремонт и привычку есть лягушек в Париже» [19].

В ряде случаев смятенное сознание самоорганизуется сохранением былых ценностей, сигналом чего в лексической структуре текста выступает актуализация слов с национально-культурным компонентом (наряду с другими средствами): «Отняли же у меня Украину... Мне, конечно, нравится ее самостийность, я ею горжусь, но меня напрягают малые с ружьем на границе. Ну не люблю я ружье. И с ним этот оксюморон — “мирная цель”».

В следующем фрагменте национально-культурные символы соединяются с экологическими и активной сейчас строительной моделью метафоры, создающей неожиданное текстовое противопоставление «в бункере» (душе) — «в людях»: «Я отрыдала в своем личном «бункере», потом раздвинула его стенки подошла к девочке в пятнах. Девочка заметалась на крохотном пространстве, которое занимала она вместе со всей той будущей жизнью, которую я успела уже оплакать. Но сейчас, “в людях”, я была уже другой, во мне набрякли чувства и мысли человека общественного, социального, даже, можно сказать, защитника людей, детей и пашен. А также кокошников, бубнов и мацы».

Изменения в картине мира смещают традиционно позитивный для лексики с национально-культурным компонентом знак оценки: «Вернувшийся с войны мужик, удивленный скорбностью и безрадостностью пейзажа всей жизни, находил единственное утешение в магазине, в котором весьма часто не было ничего, но водка на родине была всегда. Как береза!»; «Тут выплывает из тумана мысль: А не будь наши женщины ломовыми лошадьми, пошел бы процесс или не пошел? Пришли бы мы к полному одичанию или Иванушки наши сподобились бы? Мысль эта грешная, потому как замахивается на самую основу

первооснов, что чревато, как говорится... Поэтому уйдем подальше от выплывающих из тумана мыслей и идей». Сказанное распространяется и на лексику с идеологически маркированным компонентом, вступающую в непредсказуемые текстовые связи: «Я вообще ни за что не ручаюсь. В моей голове мир устроен окончательно и бесповоротно, пока его не сжигает какой-нибудь Кибальчиш (имя собственное в значении нарицательного экстремист. — *Н.С.*). Тогда я кидаюсь грудью на обломки и лежу на них до тех пор, пока поджигатель где-то бродит поблизости. Дождавшись его ухода, я уже ладнаю (курсив автора. — *Н.С.*) новый мир, лучше прежнего, с запасом прочности на случай нового Кибальчиша. Хотя прийти и разрушить его может козел совсем из другого роду-племени» [19].

Проявлением хаоса, таящего новые возможности самоорганизации системы, становятся процессы криминализации общества, насилия, беззакония, отказа от норм. Все это находит зеркальное отражение в языке и способах построения лексической структуры текстов, часто ироничных, скептических, саркастичных. Ср., например: «Кстати, об авторитете. До недавнего времени так, в частности, называли человека, пользующегося безусловным доверием в какой-то области. Отныне же авторитет в какой-либо области — крупный деятель мафиозной группировки одного из регионов нашей все еще довольно-таки необъятной Родины. Подумайте сами, мыслимо ли, не рискуя попасть под суд за оскорбление чести и достоинства, произнести что-нибудь вроде фразы “Наш губернатор является общепризнанным авторитетом?”» [6] В основе текстопостроения — семантизация нового значения слова и нарочитая диффузность (своеобразный хаос, синкрета) лексических значений.

Или: «Выходит, пока тебе голову напрочь не снесло, ты не жертва, ты так себе... А что крыши нет над не снесенной пока головой... Хотя без крыши, между прочим, прожить нынче стало труднее, чем когда-то. Потому что крыша — это легальное прикрытие. Предприниматель А. (имя изменено) приехал в Петербург и нашел себе крышу. А тут как раз на его крышу наехала соседняя. У господина А. чуть крыша не поехала (здесь и игра многозначностью, и ассоциативно-деривационные сближения глаголов-компонентов фразеологических оборотов. — *Н.С.*). А как прикажете разговаривать иначе, если заказное

убийство стоит чуть дороже заказного письма, отправленного в пределах СНГ (расширение сочетаемости прилагательного фразеологически связанного значения. — *Н.С.*)? А уж простой наезд. Что касается наезда, то тут, как ни странно, намечается, кажется, возврат к одному из старых значений. Помните, в «Руслане и Людмиле»: «Как наеду — не спущу!» (апелляция к прецедентному тексту в его шутливо-ироническом столкновении с современным жаргонным словоупотреблением. — *Н.С.*) С чего бы все это? А с того, говорят в народе, что нуборишей много... слово это, от века имевшее благодаря своему французскому происхождению акцент на последнем слоге, теперь стало общепотребительным, но ударение в нем... прочно переместилось на второй слог — нубОриш... Язык реагирует чутко: каковы «новые», таково и ударение (распад языковой нормы напрямую связывается с распадом культуры. — *Н.С.*) (там же).

С точки зрения синергетики, выдвижение на некоей ступени эволюции определенного физического и психического типа людей, оптимально приспособляющихся к той или иной стадии развития общества, связывается с разными масштабами времени в его воздействии на индивидуальное развитие человека и его развитие как члена социума. Эта неравномерность с неизбежностью преломляется в языке индивидов и отдельных социумов, в сходстве, с одной стороны, и несовпадении — с другой, оценок по поводу однотипных языковых явлений, особенно в политически ангажированных текстах типа рубрики ЖПС — жизнеспособность политических субъектов в газете «Аргументы и факты»: «О. Сысуев: “У нас теперь не поощряется бедность, а поощряется через труд богатство”». Мысль, достойная афоризма: «Богатство и труд все перетрут» или перепрут, как вам будет угодно» [1]. Здесь же: «Б. Березовский: Но справедливого распределения собственности не бывает! Делить можно по-братски и по справедливости. У нас в стране, как известно, человек человеку брат». Реплика на высказывания политических деятелей строится на переосмыслении прецедентных текстов с их модификацией: замена компонентов афоризма, добавление сниженного параномаза, жаргонное употребление слова брат и производного, типичное в речи деятелей криминальных структур. Ср. еще нарочитое возвращение политичес-

кого смысла слову реабилитация: «В. Жириновский: “Я сторонник реабилитации Косяка Бессмертного”. Легко призывать к реабилитации того, кого физически невозможно репрессировать» [2]. Основа создания текстовых смыслов — межчастеречная ситуативно-речевая антонимия слов с идеологическим компонентом значения.

Разная мера адаптации социумов к лексическим явлениям, связанным с точками бифуркации жизни общества, находящего в неравновесном состоянии, отражается и в художественных текстах. Ср., например, текстовую интерпретацию новой лексики и той, которая находится на стадии устаревания, переходя в пассивный словарь: «На крупноблочном стандартном языке, где говорят “презентация”, “беспредел”, “крутой мужик”, такое действие называется “тянуть одеяло на себя”... Егор Владимирович смог попасть, наконец, в ванную и принялся укрощать совершенно непредсказуемый (слово столь же модное, как беспредел) кран, перемотанный в своем основании эластичным резиновым бинтом... Есть слова и идиомы, которые Егор Владимирович не переносит... И идиомы “за бугром”, “из-за бугра” для него как голый крысиный хвост. Так же, как “беспредел”, например» [15].

Герой плохо адаптируется к новым реалиям, его менталитет и уровень культуры не позволяют ему вписаться в блатной, торгашеский мир. Но и старые ценности и связанные с ними номинации дискредитировали себя, что усиливает драматизм персонажа, его кризисное, неравновесное состояние, приводящее к гибели, катастрофе. Ср. диалог с женой: «— Я сегодня прозвище придумал Кондратьевне (Анне Кондратьевне. — *Н.С.*): “Анна Конда”. Он думал, Кларе понравится. Но она переспросила: «Почему “конда”? Уж лучше бы “контра” — если от “Кондратьевны”, потому что она и есть самая злобная контра. Не то, чтобы Клара остается нераскаянной коммунисткой, просто она по-прежнему пускает в ход, не задумываясь, отжившую терминологию: “контрик” для нее остается плохим человеком, так же как “кулак”. — Змея есть: анаконда, — объяснил Егор Владимирович, досадуя, что не понят с полуслова» (там же).

Словесные битвы отражают не только кризисное состояние, психологические особенности личности, ее языковые предпочте-

ния, но и те активные процессы, которые происходят в среде и современной русской лексике как неравновесной системе. Ср. их отражение в тексте другого автора: «Она была крутая начальница... Вот сказала и споткнулась. Правильно ли я употребила слово “крутой”? Его теперь через раз произносят. Смысл-то тот же, — отвечаю я. — Тот же? — удивляется Шура. — Не морочь мне голову, не такая я идиотка»; объяснение для девочки-иностранки: «У нас де-мо-кра-тические перемены. Перемена — это когда одно меняется на другое. Например, шило на мыло» [19]. В основе подтекста — отрицательные коннотации фразеологизма как основы концептуализации явлений политического процесса, сигналом имплицитной информации служит авторская разрядка; семантические и лексические новации участвуют в столкновении семантики возможных миров на грани реальности и вымысла, абсурда: «Я тогда тащилась в старом смысле этого слова, в смысле еле-еле шла, едва передвигала ноги, а не пребывала в состоянии восторга (кайфа) или наслаждения. Я тащилась от усталости и обострения болезни коленной чашечки...» (там же).

Как уже отмечалось, **неравномерный, подверженный случайностям тип развития и поведения сложной, нелинейной системы связан не только с влиянием среды на систему как целое, но и с взаимодействием частей внутри системы, с возможностью влияния низших ее уровней в моменты бифуркаций. В языке это выражается в активизации разных пластов сниженной лексики (жаргонной, просторечной, диалектной)**, наполняющей, как мы видели, тексты разных стилей и жанров. Добавим некоторые примеры из приводившихся уже текстов: «...вручение мне бидона было идеальным выходом: все-таки, что ни говори, он мне личил больше. Или там хорошо в меня вписался!» (стилистически неожиданное сближение слов. — Н.С.); «Она жила в старой квартире, отказавшись переезжать в первые пятиэтажки хрущевского разлива»; «Немцы прострелили ему левую руку — он упал, и окончательной, как теперь принято говорить, зачистки сделано не было»; «Вспомнилось, и защемило, и шандарахнуло — такой я и осталась, чего уж там делать вид, что не так» [19]; «Адмиралтейства горят, а не то что ваша избушка на ножках Буша»; «— Чего ты, кисанька, чушенькаешься? Кто тебя кусает? “Чухаться”. “Чушенькаться” —

из собственного языка Клары. Нет бы говорить нормально: “чесаться”» [15].

Нетрудно, однако, заметить, что **лексический взрыв** таит в себе не только разрушительные тенденции, отчего **ориентация на старые нормы выступает как отражение инерционности, консерватизма языковой личности, но и выход на новую самоорганизацию лексической системы, преодолевающую «порядок» тоталитарно узурпированного языка, более демократичную, включающую творческую активность говорящих (возникновение порядка из хаоса через флуктуацию)**.

Низшие формы эволюции, характеризующие определенную социальную фазу развития нелинейных систем, проявляются в деформациях языка, его обеднении, что неоднократно отмечалось в работах, посвященных тоталитарному дискурсу (Н.А. Купина, А. Вежбицкая, Г.А. Золотова, П. Серию и др.). Языковая регрессия отмечается в первичной и вторичной мета-языковой деятельности — в словарных указаниях и речевых оценках по поводу этих указаний. Безусловный интерес в этом плане представляет фрагмент работы А. Битова «Гулаг как цивилизация»: «Тургенев-1979», «Ты один мне поддержка и опора...», «Словарь эпитетов русского литературного языка», — М.: Наука, 1979... В длинном столбце эпитетов изредка попадаются в скобочках примечания типа: (поэт.), (шутл.), или (устар.) — устаревший. Так вот — устар... Из 28 эпитетов к слову Дом «устар.» — три: отчий, добропорядочный и честный. Причем добропорядочный дом даже больше, чем устар. — он «устар. и шутл.» Из нескольких сот эпитетов к слову РАБОТА устар. — два: духовная и изрядная. Из 58 эпитетов к слову МЕСТО устар. лишь одно: живое. Из 75 к слову СМЫСЛ устар. только существенный. Что за слово, однако, устар. — и устал и умер!» Речевая оценка, рефлексия по поводу словарной пометы отражает отмирание традиционных этических понятий, духовных ценностей многовековой русской и общечеловеческой культуры, возврат к более низким ступеням эволюции и одичанию. Далее в тексте: «Устар. горе отчаянное» и “лето плодоносное” — устар. Устар. “деньги трудные” и “страх Божий” — устар. Устар. “опыт фамильный” и “лоб возвышенный” — устар. Устар. “надежда вольнолюбивая”, но и “надежда конечная” — устар. Устар. “мысль прекраснодушная”, но и “мысль храбрая” — ус-

тар. РАДОСТЬ устарела и быстротечная, и забывчивая, и легкокрылая, и лучезарная, и лучистая, нищенская и святая. Зато ПЫТКА не устарела и устаревшая: ни дьявольская, ни зверская, ни изуверская, ни инквизиторская, ни лютая, ни средневековая, ни чудовищная. Может, потому, что устарело само слово ПЫТКА?.. Так к слову СОВЕСТЬ вы не найдете ни одного эпитета, потому что этого слова в словаре нет вообще. Устар. МИР — благодатный. Благодетельный, благополучный, блаженный. Устар. МИР — неправедный и святой».

Особенно значима в оценке ментальности тоталитарного общества заключительная фраза текстового фрагмента: «Словарь открывается “авторитетом безграничным” и завершается “яростью удушливой и четкой”».

Сведение сложной самоорганизующейся системы к низшим ее уровням концептуализируется в терминах этики и предстает как текстовое противопоставление «естественная этика человеколюбия» — «искусственная этика исторической цели» в следующем тексте, лексическая структура которого подчинена этому противопоставлению и строится на текстовых синонимико-антонимических объединениях слов: «Долго нам надо было пожить, чтобы многие поняли: этика исторической цели — “безнравственна и бессмысленна”. Она — иллюзия: по дороге к великой цели сменяется череда не-великих целей. Как правило, альтернативных (естественная ситуация для нелинейной системы, имеющей ветвления в своей эволюции. — *Н.С.*). Всегда временных. Сегодня “правильно” разрушать, завтра “правильно” восстановливать. Сегодня “полезно” сажать, завтра “полезно” реабилитировать. И всякий раз это — слепота» [7]. В кавычки автором взяты слова из тоталитарного политического дискурса, сводящего взаимодействие необходимости и случайности в организации нелинейной системы к жесткому детерминизму линейных систем, когда стимул порождает единственно возможные реакции, догматизм, несовместимый с движением живой, многообразной в своих проявлениях жизни. В подтверждение и обоснование своей мысли автор метафорически изображает положение человека в истории, его угол зрения: «В горах вершина видна только из долины — до начала пути. В истории — тоже. Маршрут к желанной цели никем не проложен. Но делатели всех революций уверяли современников, что маршрут ими по-

нят загодя. А они проходили его лишь мысленно да еще кратчайшим — т.е. заведомо невозможным! — путем. Так было и так продолжается». То есть рационалистические утопии опять-таки предстают как концепция одного из возможных и не предсказуемого по последствиям варианта развития, эволюции человеческого общества среди множества других, столь же вероятных, а может быть, и более вероятных.

Вред социального эксперимента, реализовавшего логику исторической цели, описан с помощью синтаксически параллельных конструкций, включающих внутри- и межчастеречные антонимы, подчеркивающие экспрессивность инфинитивных построений с семантикой неизбежности, необратимости последствий: «Откуда же берется право решать — это полезно, а это вредно для движения к цели? (умелый популяризатор научных знаний, Д. Данин взывает к логике адресата, используя фигуру риторического вопроса. — *Н.С.*). И разве заранее известно, что она вообще достижима? Оттого-то этика цели бессмысленна и безнравственна. Убитых по этой этике — не воскресить. Убийц — не оправдать. Обманутых — не обнадежить. Разочарованных — не очаровать. Искалеченных — не отремонтировать. Ни физически, ни духовно!.. Социальная катастрофа, порожденная упрощением сложной системы, рисуется с помощью оксюморона и метафоры: “Безнравственная этика! — самый чудовищный кентавр из возможных. А ведь существует и непрерывно плодится”». Мутации этики связываются с противоестественностью революций, терроризма, нарушающих естественные процессы эволюции человеческого общества: «Этика человеколюбия возникла до христианства... Она — порождение Хомо Сапиенс, иначе он просто не выжил бы на земле. Иначе он просто не смог бы сойти с беспощадной дороги естественного отбора... На этике исторической цели зиждется сегодня весь мировой терроризм. Но не стоит унывать... И оттого что этика человеколюбия задана нам генетически, мы когда-нибудь разучимся революциям и, повторяя историю, успешно сойдем и с дороги искусственного отбора («унижения или уничтожения целе-неугодных или целе-непригодных». — *Н.С.*)». Таким образом, флуктуации хаоса ведут к новой самоорганизации на базе «этики человеколюбия» (как аттрактора будущих состояний).

«Этика исторической цели» разнообразно преломляется на уровне обыденного сознания, ее лексические маркеры выступают как обязательные и формирующие структуру сознания индивидуумов, подравнивая их под заданные образцы и тем самым опять-таки сводя сложные структуры к простым, что несовместимо с жизнью нелинейных структур как самоорганизующихся и саморазвивающихся, нуждающихся в поддержании баланса со средой с помощью разнообразных аттракторов, способов саморегуляции.

Искажение традиционных культурных ценностей в характеристике перехода элементов среды в языковые проявления пролеживается в «Скифском словаре» Г. Хазагерова. Это касается таких концептов, как *время, пространство, личность* (мещанин и чудаки), *наука, романтика* и др. Так, создание мифологии времени связано с отсутствием настоящего: «есть лишь **старое время и новое время... мрачное прошлое... светлое будущее...** В постсоветский период отношение ко времени не изменилось. Ключевые слова, открывающие эту эпоху, — застой, ускорение и перестройка. **Пережитки прошлого** тоже сохранили свою актуальность в виде **старой гвардии**, а **будущее** присутствует в виде **реформ и молодых реформаторов...** Нечто все время настает и никак не может настать по тем же причинам, по которым быстроногий Ахилл не может догнать черепаху». С этих позиций анализируется лозунг эпохи «Время, вперед!».

Ср. осмысление ключевого слова «вперед» в художественном тексте: «Коллектив у них дружный, они за грибами вместе ходят, дни рождения широко отмечают. Она же — часто в стороне. Все что-то думает, а что думать? **Вперед** надо, **вперед!** Такими же словами воспитывала Нину и свекровь. Слово “**вперед**” выходило у нее особенно выразительно, сине-олимпийским и с короткими ногами... Нина замерла, будто зависла над этим словом, вспоминая вкус и цвет самого понятия — вперед. Что это значит? Что значит **вперед** и **назад** в человеческой жизни? Если **завтра** — это **вперед**, то какой смысл в этом вперед, если лучшее было **вчера**? И человек хочет **назад**, потому что в конце концов он знает, что ему лучше. Это глупость, будто человек сам про себя ничего не знает, человек знает про себя все» [18]. И далее следует рефлексия героини над словом, отрицающая общепринятое его понимание в обществе: «Человек невероятное

количество времени **вспоминает**, значительно больше, чем **мечтает** о будущем. Так почему тогда **назад** хуже, чем **вперед?**» (там же).

Еще одна проблема лингвосинергетики — проблема слабых резонансных воздействий, малых **причин**, имеющих большие следствия. Нелинейные структуры особенно чувствительны к воздействиям, согласованным с их внутренними свойствами. Малые резонансные воздействия подталкивают систему на один из собственных и благоприятных для субъекта путей развития. В эссе М. Харитонова источником резонансных воздействий служат читаемые тексты, способные **выразить** переживание, т.е. произвести резонансное воздействие на адресата с помощью «воссоздающего языка». В синергетике подчеркивается повышение роли человека в социальных системах, особенно в моменты их неустойчивости, когда действия каждого отдельного человека, включая и речевые, могут повлиять на макросоциальные эталоны поведения. Достаточно вспомнить речь парламентских лидеров, имевшую то или иное резонансное воздействие («процесс пошел», «нАчать», «агрессивно-послушное большинство» и др.), или художественные новации типа «манкурт» у Ч. Айтматова.

Эта тема требует своего развития. Продолжая тему мертвящего влияния не свойственных живой системе штампов дискурса власти, сведения сложной системы к низшим ее уровням (применительно к языку — к уровню бюрократизованной речи), покажем способы пародирования их в современных художественных текстах: «Они (старушки. — *Н.С.*) говорили на том, ушедшем в прошлое русском языке, которого уже нет. С языком у Нины отношения очень личные. Она любит русские слова. Русские названия. Она добреет, когда их слышит. Как она ненавидела этих законодателей современной речи. Она содрогалась от возлюбленной ими деепричастной формы глаголов: «идя», «встречая», «побеждая». Лишенные смысла слова вянут и меркнут, как проколотые шары. Те старушки... Они воспринимались как привет откуда-то из времени без деепричастного оборота» [18]. Или: «Я сочла возможным его (старый конверт. — *Н.С.*) открыть. Профсоюзная карточка. Членский билет ДОСАРМа. Читательский. Мелкие фотки для документов. Справки об уплатах, сдачах анализов, о наличии и от-

существовании, о полагающемся и не имеющем права быть. Одна просто прелесть. “Гражданка Юрченко Любовь Кирилловна прошла проверку на ящур. Дана для мясо-бойни”. И лиловое пятно. Ничего не понять, но четко видно — Мясниковский район» [19].

Жесткая регламентация и абсурд жизни переданы с помощью штампов бюрократической речи, неожиданных деривационных сближений. Ср. еще: «...если судить по большому счету (дурацкая, между прочим, идиома, не бывает больших и малых счетов — все счета равнозначны в жизни)... он глава семьи» [15]; там же пародирование выспренного языка: «Ну, что ж, пара грибов тоже может служить поводом для широких обобщений, глобальных, как не гнушалась выразаться Клара» (там же).

Как показывает анализ, в лексическом структурировании текста отражаются такие идеи синергетики, как самоорганизация сложных систем на пути к порядку из хаоса, отбор и эволюции с возможностью возврата к старым формам, менее сложным; малых резонансные воздействия и др.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Аргументы и факты. 1998, март, № 10.
2. Аргументы и факты. 1998, январь. № 13.
3. *Битов А.* Гулаг как цивилизация // Звезда, 1997, № 5.
4. *Бондарко А.В.* Аспекты системного анализа грамматических единств // Русистика: лингвистическая парадигма конца XX века. — СПб., 1998.
5. *Гаспаров Б.* Язык. Память. Образ. — М., 1996.
6. *Голь Н.* Монологи праздношатающегося // Нева. 1997. № 5.
7. *Данин Д.* Дневник одного года, или Монолог-67 // Звезда. 1997. № 4.
8. *Сулименко Н.Е.* Некоторые лексические явления в зеркале синергетики // Тенденции развития языкового и литературного образования в школе и в вузе. — СПб., 1998.
9. *Сулименко Н.Е.* О некоторых общенаучных предпосылках анализа лексической структуры текста // Лексика, грамматика, текст в

свете антропологической лингвистики. Международная конференция. Тезисы докладов. — Екатеринбург, 1995.

10. *Сулименко Н.Е.* Слово в его отношениях со средой // Проблемы языкового образования и воспитания языковой личности. — СПб., 1996.
11. *Сулименко Н.Е.* Психологические аспекты общения и семантические связи слов в тексте // Проблемы лингвистической семантики. — Череповец, 1996.
12. *Сулименко Н.Е.* Картина мира в синергетике и ее текстовые проекции (в печати). — СПб.
13. *Телия В.Н.* Русская фразеология. — М., 1996.
14. *Харитонов М.* В поисках языка // Знамя, 1997, № 5.
15. *Чулаки М.* Харон // Нева, 1997, № 1.
16. *Шушков А.Я.* В поисках порядка (Лингвистические аспекты анализа оппозиции порядок / хаос) // Лингвистическая прагматика в словаре. Виды реализации и способы описания. — СПб., 1997.
17. *Штайн К.Э.* К вопросу о процессах самоорганизации в открытых нелинейных средах (на материале поэтического текста) // Организация и самоорганизация текста. — СПб., Ставрополь, 1996. Вып. 1.
18. *Щербакова Г.* Анатомия развода. — М., 1990.
19. *Щербакова Г.* Митина любовь // Новый мирю 1997. № 1.

2.2.3. Другие текстовые аспекты лингвосинергетики

В терминах синергетики могут быть осмыслены самые различные языковые, включая лексические, явления. И этот особый угол зрения позволяет получить информацию, находящуюся в отношениях дополнительности к уже приобретенным знаниям о способах существования и функционирования языка как сложной самоорганизующейся системы. Так, колебательный режим существования сложных систем, включая и языковую, обнаруживает себя в явлениях энантиосемии и антонимии. Здесь наряду с областями возрастания флуктуации (начальных возмущений) существуют и области их затухания, а средний член антонимической парадигмы уравнивает эти области, ниве-

лирует их. Схематически этот режим можно представить следующим образом:

горячий 1 теплый 0,5 холодный 0

холодный 1 теплый 0,5 горячий 0

Такое истолкование наглядно показывает взаимосвязь и взаимообусловленность лексических значений слов с противоположным значением и оправданность для них антонимического способа семантизации в словаре, помет типа «противопол. холодный» (для слова горячий).

С необходимостью замедлить процессы диссипации сложной системы связаны два важнейших языковых закона — закон избыточности языковых средств, обуславливающий надежность, устойчивость системы, и закон экономии языковых средств как ответ на вызов непрерывно флуктуирующей среды.

Речь также может идти о **многовариантности путей языкового отбора, отражений в нем ценностных предпочтений субъекта**. Самим фактом такого, а не другого выбора говорящий утверждает себя как вполне определенную языковую личность наряду с многими другими. Возможно объяснение особенностей языкового индивида связью с типом преобладающей сенсорной системы. Известна психологическая концепция деления людей на типы «визуалов», «аудиалов» и кинестетиков (при обычности смешанных форм). Такое разнообразие и вместе с тем типизация поведения живых организмов и их сообществ считается неизбежным следствием самой жизни как эволюции саморазвивающихся, открытых систем: «именно типизация объясняет оптимальные условия выживания биологического вида, так как благодаря ей среди входящих в вид особей всегда найдутся такие, которые смогут максимальным образом приспособиться к тем или иным вариациям изменяющихся внешних условий» [14: 10].

Указанные выше типы дают себя почувствовать в языковом отборе и организации лексической структуры текста. Ср. в плане **разной сенсорной акцентуации** лексическую структуру двух текстовых фрагментов: «В некошеных полях за парком воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков — все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те пролетающие мимо широких

окоп вагона-ресторана бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру» (В. Набоков. Другие берега) и «Под лавками и за печкой словно кто-то притих, а на столе таинственно и музыкально-тоненько поет самовар. Чего только не слышится в этом напеве? Присядь на лавку за стол, прислушайся, и твою душу ознобит на секунду холодный посвист январской вьюги, потом самовар тихонько прозвенит свадебным колокольчиком, потом затихнет и вдруг точно запоет песню неведомого бабьего хора, не спетую еще песню...» (В. Белов. Люба-Любушка). Или в другом рассказе того же автора: «На улице август. В ушах еще журчит апрельский жаворонок Петра Ильича Чайковского... Говорят, что в Подмоскovie уже несколько лет не слышно веселого голоса жаворонка. (В многократном семантическом согласовании по звуковой семе обнаруживает себя *та языковая избыточность*, которая обеспечивает надежность, относительное равновесие сложной системы звукообозначения в языке и речи определенного фрагмента картины мира. — Н.С.) Выходит, что Чайковский и Алексей Черкасов спели душу крохотной птички русских полей, увековечили ее в удивительных звуках. Исчезнув из жизни, жаворонок, подобно алябьевскому соловью, поет и трепещет в бессмертном и высоком небе искусства. Какое торжество жизни, какой восторг слышен в захлебывающихся звуках жаворонка, когда он отвесно и как бы поэтично, раз за разом поднимается в небо вместе с собственной песней!» (В. Белов. Душа бессмертна).

Как уже отмечалось, явление отбора свойственно разным нелинейным **системам** (биологическим, социальным, психологическим и др.), включая языковые. Отмечаются **две формы отбора — стабилизирующий и движущий**. Они согласуются с двумя основными функциями контекста по отношению к языковой единице — воспроизводящей, т.е. стабилизирующей, и производящей, т.е. движущей, распатывающей систему словоупотребления и запускающей новый процесс самоорганизации семантики слова. Сигналами изменения норм могут стать параллельные обозначения одного и того же явления: «— Из Москвы сами-то? — Из Петербурга, — ответил Егор Владимирович. — Из Питера, — не то пояснила, не то поправила Клара. — Из Ленинграда, значит? Из Питера? Ленинград мы уважаем» (М. Чулаки. Харон). Флуктуации могут затрагивать **характеристики**

типа лексического значения. «Наступил тот редкий случай, когда Егор Владимирович совершенно согласен с Кларой. Впал в консенсус... Всегда радостно впасть в согласие с Кларой. Ощутить, как легка и приятна могла бы быть жизнь» (там же).

Движущая форма отбора, рождаемая из стихии речевого словоупотребления, может рождать новые смыслы, возникающие из созвучий, звуковых сближений слов, и синергетика позволяет понять нарушение, случайность как креативный принцип. Ср. в том же тексте: «Он мало надеялся на свои тоскливые призывы. Он надеялся на объявления (о пропаже кошки. — *Н.С.*) и, покричав с полчаса, пошел расклеивать свои афиши. Или плакаты. От слова плакать». Способом передачи подавленного состояния (неравновесного в терминах синергетики) здесь выступает и ошибочное смешение гипонимов: объявления, афиши, плакаты. В ход идут и паронимия, и омоформия, и паронимазия: «И с чего Клара с нею враждует? Так бы они хорошо поняли друг друга. То есть подруга подругу»; «Кто это заметил из больных, что одинаково уход — от слова “уходить” и от слова “ухаживать”. Здесь в хосписе оба значения слились: двойной уход получается»; «Доктор Савич назначил Галямовой сразу большую дозу тазепама со снотворным. Пусть лучше грезит, чем грозит»; «В груди лекарств, которые натащили ему усердные абреки, находился почему-то и гексонал, хорошее средство для наркоза. Не иначе — больницу грабанули. Кого-нибудь грабанули для порядка».

Хаос, разрушение привычных семантических связей становится способом выведения сближаемых слов на собственные их структуры-аттракторы, стимулирующие новую самоорганизацию в создании семантики возможных миров. Этот прием меж- и внутрисловных ассоциативно-деривационных сближений оказался особенно актуальным в истолковании стремительно меняющейся реальности и абсурдности (хаотичности) мира: «Очень мудро, что слово “конституция” обозначает и основной закон, и врожденное, природное телосложение: какими диетами и упражнениями ни изнуряй себя, конституция свое возьмет, и точно так же, каким социальным экспериментам ни подвергай страну, скажется историческое предрасположение и национальный характер: стремление к свободе опрокинет любую деспотию, а привычка к послушанию и поклонению вождю перемелет в

пыль любую демократию» (там же.) «Телесная» метафора не случайно выбрана для концептуализации общественных явлений, она оправдана профессиональной принадлежностью главного героя повести — врача Савича.

Продуктивность отмеченных приемов в порождении новых смыслов, иногда скрытых, имплицитных, подтверждается их использованием в лексическом структурировании текстов других авторов: «Получив самую низкую категорию, фильм застрял в прокате, похожем на все российское бездорожье»; «Быстро брить молодые щеки, насвистывать что-нибудь... или нашептывать что-нибудь из “нового сладкого стиля”. Пардон, “не сладкого”, а “сладостного” все-таки. Вот они, русские суффиксы, таких нюансов не найдешь в других языках... Поневоле преисполнишься гордости за ВМПС им. Тургенева, как иные писатели ернически называют наш «великий-могучий-правдивый-свободный»; «Как это мило! — всплеснула руками Сильвия и немного смутилась, поймав на себе мимолетные, но все-таки не пролетевшие мимо взгляды маменьки и дяди Нормана»; «Ольга, потрясенная страданиями “недюжинной натуры”, уходила то этажом выше, то этажом ниже, что помогало ей, как ни странно каламбур, “выдюжить” очередную драму» (В. Аксенов. Новый сладостный стиль).

Текстовые флуктуации обнаруживают **взаимодействие не только системы со средой** (коммуникативной в данном случае, социокультурной), но и **различных частей внутри самой системы**, что приводит ее в состояние неустойчивости, потенцирующей возможности дальнейшей эволюции. Ср. еще: «Что мне сказать мальчику, которого я дернула за рукав? Какие такие советы я могу дать, и можно ли вообще давать советы, если у тебя их не спрашивают? Мы ведь живем совсем в другой эпохе, страна советов была до того»; «Истинному как бы полагалось быть плоховатым. Это только искусственное с виду “ах!”, но надо же понимать суть вещей. Взять хотя бы человека... И человека брали». (Г. Щербакова. Митина любовь). Здесь зоны неустойчивости связаны с такими лексикосистемными явлениями, как омонимия в первом случае и супплетивные формы слова, противостоящие множественности закрепленных за ними смыслов, включая культурологические, — во втором. Ср. в «Толковом словаре русского языка» Ожегова и Шведовой [13]:

Совет — «1. Мнение, высказанное кому-нибудь по поводу того, как ему поступить, что сделать, наставление, указание»; Совет — «Правительственный орган государственной власти, одна из форм политической организации общества». Или там же: Брать — «2. кого (что). Подвергать аресту (разг.)» и Взять — «3. ... кого (что), обычно в сочетании с «хотя», «хотя бы». Употр. для выделения того, что будет предметом дальнейшего высказывания (разг.)».

Здесь, разумеется, отмечены лишь отдельные аспекты влияния идей синергетики на возможности объяснения лексических явлений; лингвосинергетика как одно из направлений междисциплинарного знания нуждается в дальнейшей разработке (см. [15]).

В аспекте лингвосинергетики может быть осмыслено и такое явление, получившее интерпретацию в изучении интертекстуальных связей при лингвистическом анализе текста, как прецедентный текст. Для сложных социальных систем условием поддержания их организации выступает периодичность чередований режимов обострения процессов и их замедления, возможность попятного движения во времени, частичного возврата к старому, к культурным и историческим традициям. Прецедентные тексты становятся средством возвращения к вехам культуры, ее образцам, способом удержания культурных констант, своеобразным ориентиром среди флуктуирующего хаоса ценностей. Эти точки опоры организуют самосознание и речемыслительную деятельность текстового субъекта (автора, повествователя, персонажа, рассказчика) и содержательную структуру текста в целом: «Из времени, в котором я учила слова, что **за все** про все **в ответе**, я выпала. Именно с моей стороны у времени был рваный край, куда следом за мной вывалились все мои бебехи» (там же).

Переоценка ценностей ощущается в пародийном, горько-ироническом использовании названия романа Ю. Германа «Я отвечаю за все»; «Я их не знаю. Они не **даются мне в ощущениях**, эти мальчики и девочки, которых я взялась **строгать** без знания предмета. Старый дурак **папа Карло** мечтал о сыне, хоть каком-то, хоть деревянном, я тоже мечтала хотя бы понять. Не получилось» [19]. Здесь прецедентными служат фрагменты из классиков марксизма и сказки А. Толстого. Далее —

из популярной песни: «Ну что, мол, будто говорят они мне, доковыляла? И как тебе там? Я не думаю, что они сравнивают свои года с **“моим богатством”**... Здесь не то» (там же). «Ленка проходила этот же путь — **выдавливания из себя** идеализма» (там же). В основе осмысления неравновесного состояния героини лежит опора на знаменитую чеховскую фразу.

Ср. здесь же использование жанра молитвы и элементов и мотивов библейского текста: «— Ах, господи ты мой, ты сам-то мужчина? Можешь ли ты понять несовершенство слепленного тобой человека? Ты понимаешь, как нам трудно с ним? Конечно, господи, у тебя есть оправдание. Ты на нем учился творению, а нас ты лепил уже с некоторым опытом. И мы — если настаивать **на ребре** — все-таки сделаны из культурной материи. Ты же старался делать ребра? Ты их гнул, сгибал? Но **Адам** у тебя не получился, и не вали с больной головы на здоровую. **Змей** просто мимо шел...»

Очень широко используются в качестве прецедентных текстов пословицы, поговорки, особенно в газетно-публицистических текстах, с актуализацией этнолингвистических коннотаций, опорой на ситуации-прототипы данной культуры, часто с модификацией исходного текста, как в следующем случае: «А. Починок: “Я с горечью вспоминаю решения, которые сам принимал. И вот теперь они меня догнали и бьют по затылку”. — Симптом знакомый. Но поскольку живем мы не в Австралии, логичнее было бы предположить, что это не **бумеранг**. Это **грабли**» [1]. Ср.: «бумеранг возвращается» и «дважды наступить на одни и те же грабли».

К ключевым в синергетике относится понятие хаоса. Ранее мы рассматривали отражение в языке его креативных возможностей, выводящих систему (включая социальную, творящую язык) на новый уровень самоорганизации. Однако позитивными тенденциями его роль отнюдь не исчерпывается, другие тенденции (наряду с возрастанием роли социальных систем и личности в них) отмечаются современными исследователями: «XX век — крушение самой идеи человека. Социальные катастрофы, сверхвысокие давления на психику и органику человека, неуместные поиски смыслов на краю духовной ойкумены — такая невероятная экология повернула человека лицом к **Абсурду**. **Тропа к нему никогда не зарастала**» [12: 171].

Итог развития человеческой цивилизации автор объясняет «эсхатологией мышления и мирочувствия», глобальным абсурдом, при этом Абсурд рассматривается как аналог Хаоса, изначального в архаической космогонии. Аналогами хаоса выступают в текстовой архитектонике также категории абсурда и смеха. А с позиций Ю.М. Лотмана, отдающего приоритет Порядку, приступы хаотизации в социуме рассматриваются как знаки «апокалиптического рождения нового» [11: 268]. Очевидно, и здесь бифуркация как точка ветвления развития системы объединяет тенденции к самоорганизации и к катастрофам, диссипации. В некоторых случаях абсурд проявляет свое позитивное назначение в отсутствие активных действий, усиливающих энтропию, хаос, иногда, напротив, в смещении ценностей и норм порочной системы, их дискредитации. С последним мы встречаемся в художественной прозе С. Довлатова (ср. идеи карнавализации, логику оборотничества в мифологии).

Рассмотрим, как идеи синергетики, с одной стороны, и особенности творчества С. Довлатова — с другой, преломляются в лексической структуре литературоведческого текста: «...у Довлатова именно **абсурд** оказывается наиболее радикальным лекарством от параноидальных комплексов, и прежде всего от центральности и враждебности. **Абсурд** разрушает параноидальную дилемму: если, как говорит Камю, сознание абсурда возникает из отсутствия каких бы то ни было определенностей, каких бы то ни было универсальных норм — то, следовательно, нет и той последней стенки, к которой чувствует себя припертым параноик. Если зона — это пространство абсурда, в котором исчезают грани между зеками и охранниками, между партиями и партией, то о каком антагонизме может идти речь?.. Абсурд как великий примиритель и уравниватель — эта глубоко антипараноидальная функция абсурда чувствуется и во всем повествовании в целом, и в каждом его мельчайшем элементе... Абсурд замещает паранойю, превращая энергию борьбы в горько-смешную энтропию. Постмодернизм — лишь один из псевдонимов этого принципиально нового состояния культурной вселенной» (М. Липовецкий. «Учитесь, твари, как жить: паранойя, зона и литературный контекст» [8]. Тема абсурда, как видим, задана уже названием статьи как тематической сверткой ее содержания. Здесь и цитата из текста С. Довлатова со сме-

нением элементов речи зоны и охранников, и, казалось бы, не совместимые в логике здравого смысла понятия, данные в подзаголовке статьи. Абсурд представлен как благо и концептуализируется с опорой на гештальты «лекарство», «разрушитель», «примиритель», «уравниватель». В культурологическом, литературном плане он синонимизируется с энтропией, постмодернизмом и противостоит гештальтам сознания, придерживающегося определенных схем, догматов. Второй член «синергетической пары» здесь не назван, но он осмысливается как зло, болезнь («паранойя»), замкнутое пространство («стенка», «границы»), агрессивное начало («энергия борьбы»). Этот текст отчетливо показывает роль хаоса (абсурда) в выведении системы (социальной, включая коммуникативную) на поиск новых путей самоорганизации с учетом собственных структур-аттракторов.

По словам Д.С. Лихачева, «смех включает в себе разрушительное и созидательное начала одновременно. Смех нарушает существующие в жизни связи и значения. Смех показывает бессмысленность и нелепость существующих в социальном мире отношений... условностей человеческого поведения и жизни общества. Смех “оглуляет”, “вскрывает”, “разоблачает”, “обнажает”». Он как бы возвращает миру его изначальную хаотичность» [9: 3].

По словам В. Маркова, смех «обещает» новую космологию, делает предствимыми возможные миры с иной системой ценностей. Он рассматривается как сеанс язычества, проявление коллективного бессознательного, которое всегда инфантильно, как возвращение к древнейшей логике оборотничества, к архетипам.

Статья Ю. Лотмана, посвященная У. Эко, называется «Выход из лабиринта». Последний выступает символом синтеза, целостности, хаоса, а поиск выхода из него предполагает анализ. При этом смех связан с тупиковыми путями, с миром, открытым свободе суждений, но у карнавала есть еще одно лицо — «лицо мятежа» [10: 662], ибо «истина без сомнения рождает фанатизм», это не только «идеал средневекового аскетизма, это и программа современного тоталитаризма» [10: 665]. Как отмечал Я. Голосовкер, «алогизм вводит читателя в систему мифологической логики, которая как бы играет произвольно категориями — временем, пространством, количеством, качеством, причинностью» [5: 23].

Человек живет в мире культуры, текстов, оязыковленного пространства. Слово соединяет верх и низ, реальность факта и мифа, действительного и возможного мира, создавая единую синкрету антропокосмического пространства, где царствует не только необходимость, но и случайность, не только упорядоченность, но и хаос. Метафорический способ описания этого состояния, туманной «онтологии в языке» дан В. Марковым: «XX век — **Вальпургиева ночь** языка: неоязычество, торжество магических имен, восстание против синтаксиса, безудержные вербальные эксперименты, эстетизация “черных” слов (лагерных, уличных, ранее непечатных)», загрязнение информационного пространства, «потеря языка» [12: 103].

Стохастика языка как фактор его эволюции и способ существования как сложной системы проявляется в фактах прорыва подсознания, бессознательных процессов в вербальную сферу, в разного рода оговорках, описках, вызывающих определенную интерпретацию. Ср., например, у Н. Голя: «Делегация займется обустройством выведенных из Чечни федеральных **властей. Войска** — они сами как-нибудь обустроятся, им не привыкать»; «А.И. Лукьянов (о Жириновском): “Как только что сказал Владимир **Адольфович**... Сработало **подсознание**. Нашелся полумифический отец. Что же все-таки за умница этот Фрейд!”» [6]. Или: «Утром Нина написала: “Приезжай, девочка. Буду тебе рада”. Когда писала слово “**рада**”, допустила ошибку. Написала “**раба**”. Вспомнила, как боролась с собой в молодости. Она называла эту борьбу чеховским “выдавливанием” из себя по капле **раба**» [18]. Описка послужила способом актуализации, выведения в светлое поле сознания воспоминаний героини об истоках формирования своего духовного мира, основой рефлексии над словом.

Можно привести примеры влияния на подсознательные процессы современной заимствованной лексики, порождающей причудливые смешения в словоупотреблении: «Дай ей на ужин **егуна**» (йогурт и окунь — запись живой речи). В следующем тексте подобные случаи становятся основанием установления диагноза психического распада личности, изменения состояния сознания: «— Вот вы не верите, уважаемый Егор Владимирович, а Валька у меня бабушкин крест украла и **егуртистам** продала. — Кому? — Ну, **егуртистам** этим, нехристям. — **Иегови-**

стам? — догадался Егор Владимирович. — Ну да, **еговистам**, вам виднее, вы доктор... А я **егурт** покупаю, потому что только его мое нутро принимает. Для меня что **еговисты**, что **егуртисты** — один черт.

Прискорбно, что Тамара несла свой **бред** в трезвом виде. Это означало, что она уже **созревает для сумасшедшего дома**» [17].

Стохастика, синкрета, интуиция, репрезентации мира в его целостности — область ведения правого полушария по преимуществу. Не случайно в рубрике «Институт человека» в АиФ [1] одна из статей названа «**Гениальность** дружит с **помешательством**». Первое выступает символом сверхорганизации (режим с обострением) сложной системы, второе — хаоса, диссипации. Диалектика разных степеней отклонения от нормы в ту или другую сторону связывается с наличием четырех типов личности, что не может не влиять и на типологию языковой личности. Первый тип личности предполагает мощный патологический и мощный творческий потенциал. Это условие реализации в одаренную личность, если она развивает свои способности. В случае нормы (второй тип) у человека мало и того и другого. Третий тип личности характеризуется большими патологиями и малым творческим потенциалом, это путь к психической болезни. У способных личностей присутствует большое желание творить, но практически отсутствуют психопатологии. Эта классификация разработана главврачом психиатрической больницы им. Алексеева (бывш. им. Кащенко) В. Козыревым. Реабилитация правополушарного типа мышления, образного, мифологического, метафорического, связанного с истоками формирования человеческого интеллекта и эйдетической памяти, получает своеобразную интерпретацию в лексической структуре художественных текстов: «А на крыльце сидят **две Офелии** в **веночках** и поют “Виють витры, виють буйни...” У Любы голос — тонкий бисер, а у Зои — контральто, бархат. И они, значит, как бы вышивают песню» [19]. Отклонение от нормы, измененное состояние сознания, не лишено творческих потенциалов, передается и с опорой на прецедентные тексты, и с помощью метафор и сравнений, демонстрирующих гармонизацию личностей в их приобщении к искусству.

Эта же тема способности провидения к возврату сложной системы, какой является разум и психика человека, на прежние

уровни своего развития, «спуск в основания» и необходимости терпимости общества к этим явлениям как условия его гармонического существования раскрывается и в других фрагментах повести: «Зачем нам нужна Зоя? Зоя — знак некоего “**другого ума**”, который возьми и проявись в здоровом, нормальном роду. Если можно следить за фокусами природы и изучать их, то фокусы провидения должно принимать безропотно. Мы еще не дожили до еврейской мудрости благодарить Бога за посланный тебе или твоим близким “другой ум”, но не дожили — так не дожили... — Станный мальчик, странный... По чьей-то линии... — По моей линии, — сказала я. — “Это у нас **побег другого ума**, — **Побег? Побег ума?**” — Он смотрел так ясно и недоуменно, что, существуй в моем организме смех, я бы уж дала ему волю» (там же).

Основой этих текстовых фрагментов выступает прецедентный текст чужого языка, меняющего угол зрения на тип личности, а также фитометафора «побег другого ума», осмысленная собеседником в соответствии с его уровнем менталитета как омоним, что и вызывает комический эффект. В то же время автор понимает относительность состояния психического здоровья как неравновесного состояния и отстраняется от общепринятых стандартов и предрассудков в его оценке: «Даже удивительно, как по **ниточке-волосочку карабкается** к нам прошлое... Бабушка так уж норовила отделить ее (Зою. — *Н.С.*)» от нас, чтобы, не дай Бог, не перешло **безумие**... Перешло, бабушка, перешло. Так во всяком случае считает с л е д у ю щ и й п о в р е м е н и (разрядка автора. — *Н.С.*) народ. Выследил-таки *другой ум* (курсив автора. — *Н.С.*) мальчонку, **летающего на небко**, и забрал к себе». Прямолинейное наименование отклонения от нормы — безумие (символ хаоса, диссипации личности) маркирует здесь несобственно-прямую речь бабушки и «следующего по времени народа». Автор же в метафорической форме описывает генетическую обусловленность и проявления психического состояния мальчика. Сложные системы особенно чувствительны к случайным воздействиям.

Ранее речь шла о резонансных воздействиях, согласованных с внутренними свойствами системы, выводящих ее на новый режим функционирования, рождающих искры новаций в структу-

ре личности, новое понимание и, как следствие, поведение. Малые резонансные воздействия дают себя почувствовать и в способах языковой игры, рождающей виртуальную реальность, новые ментальные пространства, меняющей угол зрения на уже известные факты. «Игровая синергетика» рассматривается как один из способов экспериментирования с реальностью. Синергетически мыслящий человек — это человек играющий, не навязывающий рецепты нелинейным ситуациям (например, общения с другим человеком или самим собой), а позволяющий сделать себя творимым, открытый воздействию другого, способный «строить себя от другого». Эти мысли перекликаются, с одной стороны, с метким замечанием знаменитого биолога Тимофеева-Ресовского о том, что ни одно великое дело не делалось «со звериной серьезностью», а с другой — с идеями Бахтина о диалогичности общения, «другости», о законах построения диалога открытого типа, никогда не кончающегося в контексте культуры.

Все это, а также современные концепции интра- и интертекстуальности и их сигналов в тексте, интерпретационного характера языковой семантики получают общенаучное синергетическое обоснование.

Примеры языковой игры приводились во множестве в предыдущем изложении в описании других аспектов лингвосинергетики. Поэтому здесь ограничимся лишь несколькими примерами диалога Ф. Искандера «Думающий о России и американец»: «— Что больше в России сейчас ценится, совесть или честь? — Для думающей России — совесть, а для ворующей России — честь. — Почему? — **Честь — последний человек в свите совести**, но он делается первым, когда **совесть дает задний ход. Честь — совесть картежника**... В России сейчас бесчестные люди бесконечно судятся друг с другом, отстаивая свою сомнительную честь. И ни у одного судьи не хватает воли встать и сказать: “Суд отменяется по причине отсутствия предмета спора”. Христос все время говорит нам о совести и никогда — о чести» [7]. Культурные концепты «честь» и «совесть» интерпретируются с опорой на антропоморфную, игровую. «юридическую» метафору, метафору механизма, т.е. актуальные для современника модели метафоризации, служащие проявлением языковой игры и неожиданного разведения понятий общей се-

мантической сферы как способа утверждения христианских ценностей.

Ср. там же: «Что такое **гордость**? — **Гнев, скованный презрением**. — Что такое **скромность**? — **Очень терпеливая гордость**... — Может быть, вы знаете, что такое **шутовство**? — **Тайная целомудренность истины**. (Чем не игровая синергетика и оборотничество мифологемы? — *Н.С.*). — Кто **пользуется** наибольшим авторитетом? — Наибольшим авторитетом пользуется тот, кто **не пользуется** своим авторитетом. (Основа афоризма — противопоставление разнотипных лексических значений многозначного слова, помещенного в казалось бы взаимоисключающие реплики диалога. — *Н.С.*)».

Открытость к диалогу, коммуникативному сотрудничеству как путь самоорганизации психической, духовной, ментальной сферы проявляется в разработке и других «культурных тем» (термин Ю.С. Степанова). Одна из них — тема смерти — воплощена в лексической структуре текста А. Битова, передающего размышления автора, и одновременно в серии риторических вопросов, адресованных читателю. Тема обозначена уже в названии эссе — «**Некролог-1982**» [4], совершенно необычном по своему смысловому наполнению, так как речь идет о живом человеке: «Радио сказало голосом друга... как тут выговоришь **“бывшего”**? Или — **прежнего, тамошнего, убывшего**? Как назвать теперь друга, с которым вы никогда не ссорились и оба, слава Богу, не умерли, а его — **нет?**» (Гулаг как цивилизация). Уже здесь выстраивается серия ситуативно-речевых синонимов, смещающих границы жизни и смерти, пространства и времени. Далее подключается речевая оценка, показывающая недостаточность обычного языка для изображения нестандартной ситуации, распад человеческих связей влечет за собой деформацию в системе коммуникации: «Между тем, на второй день разлуки вы поймаете себя на том, что **говорите** о нем в **прошедшем времени**, как **об умершем**, одновременно будучи уверены, что он **жив и здоров**, и желая ему того же **в будущем**». Смерть осмысливается как **«пропасть невестри** между **«завтра»** и **«когда-нибудь»**, равная **«никогда»**, т.е. будущее исчезает: «А что более, чем **никогда, равно смерти?**». Размываются границы реальности, бытия с его координатами **«я — здесь — сейчас / он — там — тогда»**, хронотопом становится очередная мифологема: «Миф

ассимилирован человеком настолько глубоко и обширно, что ушел за горизонт самопонимания и самоконтроля. Это уже... мифоидные образования, которые отложились в структурах языка, искусства, философии, религии, в социальных организациях, фольклорном и массовом сознании» [12: 11].

Ср. эти мифоидные образование в тексте А. Битова: «**Трепетно-уклончивые формулы “там”, “тогда”, “по ту сторону”, “в ином мире”** слились в **нашем сегодняшнем простодушии**) (текстовый синоним мифологизованного сознания, перехода сложной системы на ее низшие ступени. — *Н.С.*), **одинаково означая и западный мир и загробный**». Реликт мифомышления обнаруживается в неожиданных текстовых сближения прилагательных, создавая новую синкрету, семантику возможных миров. Она эксплицируется и глагольными формами: «**Неужели умер?** — **Нет, уехал**». «**Неужели уехал?** — **Нет, умер**». Культурная тема развивается и в неожиданных ассоциативно-деривационных сближениях слов: «**улететь**» стало иметь новый корень — **«Лета»** (в другом тексте автор сближает слово **«менталитет»** с жаргонизмом **«мент»**, характеризуя истоки советско-тоталитарной модели сознания). Таким образом, пространственная модель выступает способом характеристики не только физического перемещения, но и утраты духовных ориентиров: «Радио сказало **загробным голосом** друга... Мне стало так обидно, что оно сказало! Что он сказал... **Он-оно** сказали, что никого уже **“там”** не осталось в литературе. Что все уже **“здесь”**». Причем **«“там”** он имел в виду именно нас, оставшихся дома. **Где “там”, “где здесь”**...». Растерянность субъекта размышления и повествования передается и неясностью точки отсчета («дом перестал быть домом?»), и словами, размывающими границы бытия / небытия («загробным голосом друга», «он-оно сказали»), и самой фигурой риторического вопроса, и графическим знаком незавершенности мысли, неопределенности, открытости диалога.

Идеи малого резонансного воздействия, разного энергетического уровня состояний психической активности, возможности привнесения потока информации и энергии в открытую систему, какой является человек, лежат и в основе педагогической программы ненасилия как базы гуманизации образования, отрицающей педагогику насилия. В соответствии с этой программой

необходим отказ от манипулирования сознанием с помощью языка, отказ от монополии на язык в ситуациях с несимметричными ролевыми отношениями коммуникантов (см. [16]).

Лингвистический анализ текста обнаруживает действие лингвосинергетики не только как объясняющего феномена, но и как способа лексического структурирования текста, отражающегося в отборе языковых средств и в приемах их внутри- и межтекстовой организации.

Общенаучное синергетическое обоснование могут получать различные идеи общей теории текста, его лексического структурирования, включая концепции интра- и интертекстуальности, прецедентных текстов. Для сложных социальных систем, находящихся в состоянии неустойчивого равновесия, условием поддержания их организации является периодичность процессов ускорения и замедления в развитии, возможность попятного движения во времени, частичного возврата к старому, к культурным и историческим традициям. Прецедентные тексты с их языковыми маркерами становятся средством возвращения к векам культуры, ее образцы — способом удержания культурных констант, своеобразным ориентиром среди флуктуирующего хаоса ценностей. Эти точки опоры организуют самосознание и речемыслительную деятельность текстового субъекта (автора, повествователя, персонажа, рассказчика) и содержательную структуру текста в целом.

Явление хаоса, одно из ключевых понятий в синергетике, обладает как разрушительными, так и креативными возможностями, выводящими систему (включая социальную, творящую язык и текст) на новый уровень самоорганизации. Первое наблюдается в текстовом воплощении активных языковых процессов современного русского языка, второе — в преодолении штампов тоталитарного дискурса, низведшего сложную систему на более низкий уровень ее функционирования. В некоторых случаях хаос (и его аналог — абсурд) проявляет свое позитивное назначение в отсутствии активных действий, усиливающих энтропию, иногда, напротив, в смешении ценностей и норм порочной системы, в их дискредитации.

Идеи абсурда, карнавализации, смеха, логика оборотничества отчетливо выступают в лексической структуре текстов С. Довлатова и отмечаются литературоведами. Абсурд представлен как

благо и концептуализируется с опорой на гештальты «лекарство», «разрушитель», «примиритель», «уравнитель». Хаос (абсурд) выводит систему (социальную, включая коммуникативную) на поиск новых путей самоорганизации с учетом собственных структур-аттракторов. Смех «оглуляет», «вскрывает», «разоблачает», «обнажает». Он как бы возвращает миру его изначальную хаотичность» (Д.С. Лихачев), «обещает» новую космологию (В. Марков), делает представимыми возможные миры с иной системой ценностей. Стохастика языка как фактор его эволюции и способ существования как сложной системы проявляется в тексте в фактах прорыва подсознания, бессознательных процессов в вербальную сферу, в разного рода оговорках, описках, вызывающих рефлексию, определенную текстовую интерпретацию. В лексической структуре текста разрабатывается тема способности провидения к возврату сложной системы, какой является разум, психика человека, на прежние уровни своего развития, тема «спуска в основания», проявления коллективного бессознательного, которое всегда инфантильно, возвращения к архетипам.

Измененное состояние сознания, не лишенное творческих потенциалов, может объективироваться в метафорическом строе текста, демонстрирующем гармонизацию личности в ее приобщении к искусству. Со стохастикой правополушарного мышления связывается и интуиция как выход сложной системы на новый уровень самоорганизации, «прозрения», основанного на разбуженных интенциях. Лексическая структура текстов обнаруживает и такое качество языка, обусловленное мифологической основой первобытного мышления, его синкретизмом, огромную роль интуитивного начала, лежащих в истории языка, как прогностическая функция в создании семантики возможных миров, текстовой картины мира, потенцирование в слове информации, осознанной, открытой носителями языка значительно позже или обращенной к миру виртуальной реальности.

С позиций синергетики может быть осмыслено и хорошо известное явление языковой игры. «Игровая синергетика» рассматривается как один из способов экспериментирования с реальностью, а синергетически мыслящий человек — как человек играющий, не навязывающий рецепты нелинейным ситуациям (например, коммуникации), а позволяющий сделать себя твориче-

мым, открытый воздействию другого, способный «строить себя от другого». Ср. мысли М. Бахтина о диалогичности общения, «другости», о законах построения диалога открытого типа, никогда не кончающегося в контексте культуры, или меткое замечание Тимофеева-Ресовского о том, что ни одно великое дело не делалось «со звериной серьезностью». Открытость к диалогу, к коммуникативному сотрудничеству как путь самоорганизации психической, духовной, ментальной сферы субъекта обнаруживается в лексической структуре текста в разработке «культурных тем» (термин Ю.С. Степанова). В способах языковой игры, рождающей новые ментальные пространства, меняющей угол зрения на уже известные факты, обнаруживает себя такое явление синергетики, как малые резонансные воздействия, согласованные с внутренними свойствами системы, выводящие ее на новый режим функционирования, рождающие новации в структуре личности, новое понимание и, как следствие, поведение.

Среди метафор, «которыми мы живем» (и это в первую очередь относится к лингвистам), значительное место занимают визуальные образы, навеянные синергетикой: ментальные пространства (ландшафты), крест реальности с его составляющими вчера-сегодня-завтра по вертикали и внешнее-внутреннее по горизонтали, ситуация здесь и теперь как точка отсчета самосознания, картины «сгущения» и «разрежения» культурных инноваций (в характеристике перехода элементов среды в языковые проявления) и др. Метафора как синкрета, свернутый миф оказывается в основе процессов концептуализации, упорядочения (идея порядка из хаоса) новой информации на пути от эмпирической к рациональной ступени познания.

Подытожим то, о чем шла речь в данном разделе. По аналогии с термином *гомосинергетика* в отношении языковых явлений и процессов правомерно использование термина *лингвосинергетика*, также имплицитно обращенность к человеку, особенностям встраивания его в социокультурную среду, способам воссоздания и создания реальности. Синергетика как междисциплинарная наука об общих закономерностях функционирования саморазвивающихся систем не является чем-то чуждым для лингвистики, так как служит логическим продолжением общенаучного системного подхода.

Основные синергетические мотивы единства человека и универсума, его природно-космических циклов, самоорганизации, взаимоперехода порядка и хаоса, отбора и эволюции, красоты как гармонизирующего, упорядочивающего начала и многие другие обнаруживаются в способах лексического структурирования текста, языковой концептуализации мира. Поскольку основной пафос всякой мифологии с ее мироустроительной, антиэнтропийной направленностью связан с переходом от хаоса к Космосу, последняя сохраняется и в метафоре языка как свернутом мире (ср., например, метафору антропокосмологии как единого эволюционного текста) и в мифопоэтических образах, построенных на языковой метафоре. Зыбкая грань между реальным, нереальным и внереальным давно размываема языком, мифологическим в своей основе, сумевшим соединить миф и науку, отразить все стадии культурного развития этноса. Синергетическое истолкование делает вполне оправданной антропоморфную метафору языка как предмета лингвистики. Мироустроительная функция мифа преломляется, так же как текстоустроительная и текстообъясняющая функция метафоры.

Колебательный режим существования сложных нелинейных систем, необходимость замедлить процессы диссипации, рассеяния, сохранить и восстановить целостность объясняют многовариантность путей языкового отбора применительно к системным и текстовым явлениям. В итоге взаимодействия лексики как открытой системы со средой слово в своем текстовом использовании меняет, варьирует системно-языковое значение, расшатывая его стабильность. С другой стороны, далеко не все текстовые новации закрепляются в языке. Отмеченные синергетические особенности обнаруживают себя как в общих законах экономии и избыточности языковых средств, так и в более конкретных явлениях, например, антонимии, энантиосемии, омонимизации, усложнения смысловой структуры слова. Две формы отбора, отмечаемые в синергетике, — стабилизирующий и движущий — согласуются с двумя основными функциями контекста — воспроизводящей и производящей. Текстовые флуктуации обнаруживают взаимодействие системы не только со средой, но и различных частей внутри системы, что приводит ее в состояние неустойчивости, потенцирующей возможности дальнейшей эволюции. Элементы среды выступают в виде поля данной сис-

темы, одно из подтверждений накопления энергии элементом поля на его пути в систему — увеличение частотности (социальной предпочтительности) и расширение ситуаций употребления слова. Наличие лексической единицы в зоне бифуркации, ветвления, точках выбора дает себя почувствовать в разнонаправленных речевых оценках, металингвистической деятельности, в языковой игре. В разнообразных текстовых преломлениях активных процессов в современной русской лексике, в разной мере адаптации социумов и индивидов к этим процессам, в возможности влияния низших уровней системы, находящейся в неравновесном состоянии (ср. активизацию разных пластов сниженной лексики). Низшие формы эволюции, характеризующие определенную фазу развития нелинейных систем, проявляются в деформации языка, его обеднении (ср. исследования тоталитарного дискурса как попытки насильственного сведения сложных структур к простым).

Однако сложные системы с периодичностью чередований режимов обострения и замедления процессов имеют возможность к частичному возврату к старому, к культурным и историческим традициям. В этих ориентациях может быть осмыслено такое явление, как прецедентный текст (своеобразный ориентир среди флуктуирующего хаоса ценностей). Лексический взрыв (аналог хаоса) таит в себе не только разрушительные тенденции, но и возможности выхода на новую самоорганизацию лексики, отчего ориентация на старые нормы может быть отражением инерционности, консерватизма языковой личности. Стохастика языка как фактор его эволюции и способ существования как сложной системы проявляется в фактах прорыва бессознательного в вербальную сферу, в создании семантики возможных миров (прогностическая функция), в смене угла зрения на известные факты. Лингвистический анализ текста выявляет и такие феномены синергетики, как малые резонансные воздействия, квалификация психических состояний как неравновесных систем.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Аргументы и факты. 1998, март, № 10.
2. Аргументы и факты. 1998, март, № 13.

3. Аргументы и факты. 1997, апрель, № 18.
4. *Битов А.* Гулаг как цивилизация // Звезда. 1997. № 5.
5. *Голосовкер Я.* Логика мифа. — М., 1987.
6. *Голь Н.* Монологи празднующегося // Нева. 1997. № 5.
7. *Искандер Ф.* Думающий о России и американец // Знамя. 1997. № 9.
8. *Липовецкий М.* Учитесь, твари, как жить (паранойя, зона и литературный контекст) // Знамя. 1997. № 5.
9. *Лихачев Д.С. и др.* Смех в Древней Руси. — Л., 1984.
10. *Лотман Ю.М.* Выход из лабиринта // Эко У. «Имя розы». — СПб., 2000.
11. *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. — М., 1992.
12. *Марков В.* Мир человека и человек в мире. Антропоморфный универсум. — Рига, 1995.
13. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. — М., 1992.
14. Синергетика и психология. — СПб., 1997.
15. *Сулименко Н.Е.* Психологические аспекты общения и семантические связи слов в тексте // Проблемы лингвистической семантики. — Череповец, 1996.
16. *Суховой Е.А.* О способах концептуальной поддержки слов в газетных текстах переписки с читателем // Актуальные проблемы функциональной лексикологии. — СПб., 1997.
17. *Чулаки М.* Харон // Нева, 1997, № 1.
18. *Щербакова Г.* Анатомия развода. — М., 1990.
19. *Щербакова Г.* Митина любовь // Новый мир. 1997. № 1.

2.2.4. О судьбах этноса и слова на грани тысячелетий

Рассмотренный материал показывает, что общество, этнос и его язык находятся в точке ветвления, бифуркации, и состояние сложных систем, каковыми выступают человек и его язык, является крайне неустойчивым и далеко не всегда отвечает оптимистическому варианту прогнозов путей дальнейшего

их развития. Прогнозы относительно судеб слова в меняющемся мире возможны лишь при понимании лексики как открытой нелинейной саморазвивающейся системы, взаимодействующей со средой, находящейся в состоянии неравновесия и в большой мере предопределяющей варианты путей развития языковой системы.

Перспективы развития социокультурной среды и судеб слова предстают в оценках как на уровне научного, так и обыденного сознания, причем оба случая не отличаются однозначностью. Любопытно соотнести научные концепции с теми сентенциями, которые отражены в современных народных афоризмах [4], отражающих ментальный и речевой опыт достаточно широкой прослойки этноса — читателей газеты «Аргументы и факты». Авторы афоризмов представляют языковую личность постсоветской эпохи с довольно высоким, хотя и не всегда профессиональным, уровнем языковой компетенции. Она склонна к эксцентрике, языковой игре, парадоксам как отражению кризиса сознания и «мерцания» новых смыслов и ценностей во флуктуирующей, хаотической среде. Такое сопоставление правомерно и по собственно лингвистическим основаниям, поскольку сентенционный тип текста тяготеет к жанрам научной речи как отражению тезаурусного уровня языковой личности.

В научных прогнозах общественного развития отмечаются две противоположные тенденции: одна из них связана с апологетикой духовности, христианских ценностей, другая — с их отрицанием и утверждением глобального прагматизма. С этим связываются и отношения человека со словом. Так, согласно первой концепции [3], «XXI век будет одухотворенным или его не будет вообще». Физик-теоретик Ю. Симонов связывает утверждение «открытого христианства», христианства без шор и оков, но нигде не изменяющего своей вере и своим традициям («в православии о таком христианстве говорили Владимир Соловьев и протоиерей Александр Мень») [3: 151], с ограниченностью рационально-логического разума, необходимостью скачка в сознании, интуиции при переходе от опыта к обобщению (здесь он идет вслед за А. Эйнштейном).

Формирование таких культурных концептов, как «красота», «интуиция», «совесть», автор связывает также с развитием науки (Фрейд, Юнг) и отсутствием ее противоречий с верой.

Нормы же современного либерализма признаются противоречащими христианским заповедям: элитарность утверждается против демократизма христиан, справедливость — против милосердия, вседозволенность — против личной ответственности и христианской нравственности, поклонение идолам, суеверие и нарциссизм — против развитой и глубокой религиозности.

Эти противоречия отчетливо обнаруживает анализ лексической структуры текстов народных афоризмов, авторы которых во многом интуитивно ориентированы на систему христианских ценностей, укорененных в русской культуре и подспудно пронесенных народным сознанием через века. Прямое же использование лексики, связанное с культовой сферой, сравнительно редко: «Жизнь — это рай для грешников» (Г. Малкин). Парадокс связан с совмещением «церковного» и «мирского» значений слова рай: «1. В религиозных представлениях: место, где души умерших праведников пребывают в вечном блаженстве. 2. Перен. Легкие и радующие условия, обстановка» (СОШ). Ср. еще: «Хотелось бы жить как все, да совесть не позволяет» (С. Сокур); «Раньше лишь напутствовали “Совет да любовь”, а теперь советуют, как заниматься любовью» (Е. Якимов): «У грязных денег и сила нечистая» (С. Мягков). Дополнительные смыслы, связанные с помещением криминальных понятий в религиозный контекст, возникают при разложении фразеологизма с последующим переосмыслением компонентов и антонимических связей прилагательных по лексически связанным переносным значениям. Или в собственно комических целях: «Все мы братья не только по крови, но и по другим анализам» (Б. Крутиер).

Особое разочарование вызывают случаи проявления псевдодемократии и вседозволенности: «Демократия по-русски; один день голосуем — четыре года голосим» (Ю. Чиркаев). Основа осмысления концепта — включение в его ассоциативное поле паронима к одному из лексических экспликаторов. Ср. с подключением параномаза в создание обобщенного смысла: «Выбор у президентов, увы, невелик: либо Моника, либо клиника» (С. Метелкин). Идеи социального расслоения, краха, беспредела при выборе однотипных противительно-сопоставительных конструкций лексически оформляются по-разному:

«Народ разделился: одна половина не способна ни на что, другая способна на все» (А. Архипов).

В рамках конструктивно обусловленного значения прилагательного противопоставлены сочетающиеся с ним антонимичные местоимения, при этом возникает дополнительное противопоставление по признаку полной социальной непригодности, недееспособности одних и полного социально-нравственного беспредела других. Ср.: «Народ в России делится на крутых и всмятку». Словарь «Новые слова и значения-80» связывает новое значение слова *крутой* — «отличающийся энергичностью, решительностью, хваткостью, самоуверенностью (обычно о молодых людях) (жарг.)» с прежним «решительный, резкий». В одном ряду с этим субстантиватом оказывается антоним деривата от соответствующего прилагательного *вкрутую* (о яйце). Такое неожиданное (хотя и провоцируемое системой языка) сближение привносит в текстовое значение слова *крутой* сему «подавляющий, уничтожающий, разрушающий других».

Основу ситуативно-речевой антонимии может составить и антропоморфная метафора, приводимая во взаимодействие с паронимичным прилагательным: «Если жизненный уровень еще опустится, то станет безжизненным» (А. Рас). Картина нарастания нищеты рисуется и с помощью лексико-семантического повтора в усилительной функции, и путем текстовой семантизации значения нового слова: «Сначала мы жили бедно-бедно, а потом нас ограбили» (С. Ардашов); «Спонсор — это человек, который помогает бедным, предварительно их обобраз» (В. Айдынян). «Заплатил налоги и сплю спокойно. На лавочках, в подвалах, на вокзале» (П. Куницын). Здесь пародируется текст рекламы с помощью присоединительной конструкции и ее лексического наполнения.

Поппание идей справедливости болезненно воспринимается не только с позиций общечеловеческой морали, но и стереотипов мифологизованного тоталитарного сознания, причем далеко не всегда их можно разделить, помня об истоках русской коммунистической идеи. Но в ряде случаев основой интертекстуальности служат именно штампы тоталитарного дискурса: «Называть нищих господами — это не по-товарищески» (Ф. Исшаилов); «Ясно, куда подевался Советский Союз. Но куда пропало все прогрессивное человечество?» (А. Дутов); «Отве-

тим на их ИнтерНет нашим ИнтерДа» (В. Шестаков). Ср. с более сложным случаем наложения указанных штампов на структуру пословицы с общим негативным смыслом: «Будни спецслужб: холодная голова чистым рукам покоя не дает» (А. Ванович). Или вкрапление отдельных элементов пословицы, песни с полным ее переосмыслением: «Старые времена считают добрыми только те, кто их пережил» (Д. Зайцев); «Мы рождены, чтоб сказку портить былью» (В. Гараев).

Однако при этом и ценности западной демократии преломляются в русском сознании совершенно особым образом, в соответствии с вечными ценностями российской духовности: «Так, любой народ, конечно, хочет жить по справедливости. Но для западного человека справедливость (лат. «юстиция») есть понятие прежде всего правовое, юридическое, и жить по справедливости для него означает жить по правилам. А для русского это понятие нравственное и означает для него жизнь по совести... Сам “закон справедливости” для него всего лишь нижний этаж высшего “закона любви”» [1: 140]. Отсюда и разочарование во власти и в тех, кто ее представляет, в силу отождествления общественной жизни с государственной, между тем как «именно личность и общество в лице народа есть творцы и хранители ценностей духовной культуры — в отличие от противостоящей народу власти» [1: 139]. Максимализм русского духа и от государства требует добра и совести. И эти обманутые ожидания становятся ведущим мотивом народных афоризмов и их лексической структуры: «Неужели правда состоит в том, что нам постоянно лгут?» (В. Колечицкий). Кризис веры выражается не только риторическим вопросом, уже подразумевающим положительный ответ, но и межчастеречной антонимией названий культурных концептов *правда* — *ложь*. Безграничная вера служит и предметом сарказма, отмечающего скрытую возможность разрыва слова и дела, предполагаемую значением глагола *обещать*: «Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало» (Б. Крутиер). Но способность шутить над своими слабостями даже в кризисной ситуации, смех над своей излишней доверчивостью — это признак нравственного здоровья, духовной силы этноса. Ср. еще: «Нет такого обманутого вкладчика, которого нельзя было бы обмануть еще раз» (А. Рогов). Повтор глагольной формы как бы компенсирует смысловую лауну

многократности, не предполагаемой системным значением устойчивой номинации.

«Мы выбираем, нас обируют» (Н. Семилетова). Здесь в основе каламбура — прецедентный текст песни и паронимическая аттракция. «Если виноватых нет, значит, они уже у власти» (А.Б.). Правовой беспредел подчеркивается скрытой антонимией *виноват — прав*, последний член пары сближается с текстовым обозначением “у власти”. «Парадокс, не правда ли: надувают вкладчиков, а лопаются банки» (Д. Шмелев). Парадокс строится на внутритекстовой противопоставленности системно-языковых глаголов, используемых в несоотносительных значениях (ср.: *шары надувают, и они лопаются*). Парадокс видится в нарушении причинно-следственных отношений глаголов, связанных с разными субъектами.

Способом интерпретации бедственного положения части народа выступает и «спортивная» метафора, которой соприкасаются смыслы фразеологических единиц и их прототипов — свободных словосочетаний: «Комплекс упражнений для пенсионеров: согнуть спину, опустить руки, протянуть ноги» (Е. Вакар). Сходные идеи передаются и привлечением прецедентного текста, указанием на парадоксальную диспропорцию в отношениях части и целого: «Слуг народа становится все больше, а народа — все меньше» (Ж. Калмыков). Ухудшение демографической ситуации выявляет и такой способ лексического структурирования текста, как целенаправленное переосмысление значения термина, придание ему вероятностных смыслов: «Уважаемая редакция! Я давно хочу уточнить: у нас в стране прожиточный минимум — это показатель уровня жизни или ее продолжительности?» (О.Р.). Ср.: «Потребительская корзина годится только на то, чтобы с ней ходить в лес за грибами» (А. Фокин).

Специфическому осмыслению и оценке россиянами подвергаются разные стороны жизни и ценности западной цивилизации. Оно дает себя почувствовать в оценке как всего процесса реформирования, так и связанных с ним реалий. Это относится прежде всего к лексической экспликации таких базовых концептов культуры, как *жизнь — смерть*. «Как мы живем — государственная тайна, на что — коммерческая» (Б. Крутиер). В основе афоризма — не только видовая дифференциация с помощью относительных прилагательных явлений одного класса, но

и разные узлы фрейма глагола *жить*, представленные его актантной структурой (*как и на что*). «Это не жизнь дорогая, а мы дешевые» (Мариненков). Здесь, скорее всего, не метафорическое использование второго прилагательного, а сохранение системно-языковой антонимии с осмыслением местоимения как замены деперсонифицированного сочетания «рабочая сила». «Чем больше жизнь дорожает, тем больше обесценивается» (Л. Михайлюк). В данном случае мы имеем псевдоантонимическое противопоставление глаголов, используемых в несоотносительных значениях.

Вообще двуединный концепт *жизнь — смерть* структурируется лексической противоположностью (скрытой или явной, системно-языковой или текстуальной): «В нашей стране умирают легко, потому что живут трудно» (А. Верчук); «Конечно, люди умирали и раньше, но не от такой жизни» (А. Лебедев); «За то, чтобы избежать смерти, можно и жизнь отдать» (С. Скотников). В других случаях новые смыслы, «мерцание», «пульсация» смыслов возникают за счет соединения смысла фрагментов прецедентного текста со смыслом иронического устойчивого выражения или за счет распространения последнего лексическим повтором. Ср.: «И жизнь хороша, и мы хороши» (А. Рас) и «Никто так не умеет жить, как мы не умеем» (Б. Крутиер).

Специфическое осмысление получают экономические, информационные, политические реалии, связанные с реформированием: «Правда ли, что в стране готовится втайне новая денежная реформа: вместо нулей будут убирать цифры, стоящие перед ними?» (А. Панисяк) (в слове *реформы* актуализируются смысы закрытости и антинародной направленности. — Н.С.); «Повод для оптимизма можно найти всегда: например, старость нас ожидает хотя и тяжелая, зато недолгая». Связанные значения прилагательных к слову *старость*, вопреки соединительным отношениям, свойственным им в системе языка, вступают в тексте в уступительные отношения, чем и мотивируется повод для «оптимизма», который противоречит житейской логике. В терминах этики осмысляется концепт *деньги*, и совмещение этих несовместимых концептов порождает эффект «обманутого ожидания»: «Деньги — зло. Зайдешь на рынок, и зла не хватает»

(К. Родионов) (устойчивый оборот распадается на компоненты с переосмыслением одного из них).

Предметом осмеяния становятся и способы накопления капитала, богатства, типичные для России: «В России есть два вида крупных личных состояний: ворованные и краденые» (Д. Ковригин). В текстовой перспективе синонимические отношения однородных определений заменяются в иронических целях видововыми, создавая картину «безальтернативного» воровства как глобального способа обогащения. Ср. еще один способ разрушения «экономической парадигмы» в описании бедственного положения большинства: «Да что мы все о пенсиях да о зарплатах, давайте лучше поговорим о деньгах» (А. Костюшин). Неспособность правительства освоить новые экономические реалии и процессы также получает афористическое выражение: «В новом году правительство обещает стабилизировать рубль. А если получится — то два» (В. Вансович). Парадокс строится на столкновении обобщенного значения слова *рубль* как названия валюты и значения конкретной денежной единицы, поддающейся счету. Именно первое значение предполагается терминологическим сочетанием «стабилизировать рубль». Ср. пародийное использование лозунговой формы: «Госдолги — наше богатство». Парадокс связан с неоднозначностью смысла слова *долг* (*наш* или *нам*) и смысла предиката.

Некоторые экономические реалии осмысляются в терминах военизированного сознания: «Кто к нам с кредитом придет, тот от него и погибнет» (Г. Покацкий); «Очереди еще могут вернуться, в том числе и автоматные» (А. Кузнецов). В последнем примере разнотипные значения слова *очередь* выступают способом передачи дурной бесконечности обращения времени вспять, балансирования экономики и жизни на границе хаоса. С другой стороны, веяние времени дает себя почувствовать и в том, что «экономическую» интерпретацию получают самые разнообразные предметы, процессы, явления. Это относится к историческим событиям: «Если бы Зимний дворец брали “новые русские”, он был бы взят в аренду» (С.Х. Келлер); к трудовой деятельности: «Быстрой езды не любит тот русский, на котором ездят» (Д. Фролова) (ответ на риторический вопрос в лирическом отступлении Н. Гоголя с использованием обобщенно-целостного значения фразеологизма); к межличностным связям: «Раньше

дружили домами, а теперь все больше “крышами” (Ю. Ходус), «Если ваша жена — клад, вам причитается 25%» (А. Ботвинников), «С деньгами мужчина чувствует себя мужчиной, а женщина — человеком» (Н. Коломиец), «Добившись руки любимой, вы постоянно будете ощущать ее в своем кармане» (Н. Житов), «Почем вы, девушки, богатых любите?» (Е. Лукошина); к здоровью: «Теперь хирургическая операция все чаще требует банковской» (К. Кушнер), «Дороже здоровья только лечение» (А. Тарасов).

Исследователи (И. Ильин, А. Вежбицкая и мн. др.) неоднократно отмечали такую особенность духовной сферы русских, как повышенная эмоциональность, открытость и даже иррациональность, максимализм, отсутствие полутонов. Эти особенности менталитета также отражаются авторами афоризмов и выступают при лексическом структурировании текстов, связанных, например, с оценкой политических лидеров: «В России больше всего ненавидят тех, кого сами выбирают» (Н. Кузнецов), «Российский избиратель посещает выборы исключительно из желания отомстить», «В России три беды: дураки, дороги и дураки, указывающие, какой дорогой идти» (Б. Крутиер). Отсылка к прецедентному тексту сочетается с использованием многозначности слова *дорога*, что переводит содержание высказывания в политический контекст.

Разнообразны и очень иногда эмоциональны реакции на такое «новшество», как реклама, Интернет и др. В дополнение к ранее приведенным отметим следующие афоризмы: «Не научила мамка, научит рекламка» (Коврижных) (негативная оценка воспитательного эффекта подчеркивается параллелизмом уменьшительно-ласкательных форм сопоставляемых слов); в заменах частей рекламного текста могут выступать и приоритеты отечественного сознания и связанных с ним бытовых реалий: «Самогон — вот это по-нашему! Не дай себе просохнуть!» (А. Голянов). Ср. использование с этой целью интертекстуальных вкраплений в других текстах: «Водка — враг народа, но наш народ врагов не боится» (В. Колесников), «Нет, не перепились еще на Руси таланты!» (В. Васильев), «Как прежде без присмотра дети — они теперь блуждают в Интернете» (А. Леонов) (ср. текстовую неоднозначность использования в связи с новыми информационными технологиями глагола *блуждать*).

Рассмотренный материал показывает, что общество, этнос и его язык находятся в точке ветвления, бифуркации, и состояние таких сложных систем, как человек и его язык, является крайне неустойчивым и далеко не всегда отвечает оптимистическому варианту прогнозов путей дальнейшего их развития. Ср.: «Всемирная, всечеловеческая роль России возросла неизмеримо» [1: 144], что связывается с космическим началом человеческой соборности, утверждаемой в русской культуре и православной ее традиции. Но критика западных, либеральных ценностей идет и с позиций «морального кодекса строителя коммунизма», не изжитого нашим обществом, а кризис духовных ценностей имеет своим следствием и возврат на более низкие ступени развития. Наступление хаоса в последнее время рассматривается как вполне возможный вариант самоорганизации сложной системы в случае ее распада.

Подобные прогнозы пессимистического толка, относимые как к судьбам человечества, так и к судьбам языка, слова находим в статье А. Неклесса, руководителя проекта Российского фонда фундаментальных исследований «Глобальное, сообщество: изменение социальной парадигмы» под названием: «Пакс экономикана, или эпилог истории. Размышления у дверей третьего тысячелетия» [2]. Исследуя понятийный аппарат синергетики, представления философии и культурологии (например, понятие Большого Модерна, развившегося на протяжении последних двух тысяч лет, определившего развитие основного социального замысла и тесно связанного с христианской культурой), автор отмечает кризис евроцентрической, а затем и североцентрической конфигурации глобальной Ойкумены. Ревизия недавно бесспорных прогнозов и решений, с его точки зрения, идет с позиций неклассических, фундаменталистических, радикальных, эсхатологических, экологических и качественно новых мировоззренческих. Особенно настораживающей предстает гипотеза автора о «вероятности глобальной альтернативы цивилизованному процессу». Она истолковывается как «возможность распечатывания запретных кодов мира антиистории, освобождения социального хаоса, выхода на поверхность и легитимизации мирового андеграунда» [2: 121]. И хотя демодернизация не объявляется магистральным направлением социального развития, она определяет поворот истории к утверждению на пла-

нете неoarхаической культуры. Как замечает автор, «сегодня в лоне глобального сообщества происходит вызревание вполне определенного мироустройства — наднационального неэкономического континуума, объединяющего на основе универсального языка прагматики светские и посттрадиционные культуры различных регионов планеты» [2: 123]. Вспомним в этой связи отмеченный ранее сугубо прагматический, «экономический» способ концептуализации самых разнообразных жизненных явлений, отмечающийся в лексической структуре текстов народных афоризмов. Трагическое обращение времени вспять видится как одна из печальных перспектив человечества в третьем тысячелетии, как попытка «освободиться от тягот исполненного ответственности и требующего нравственных усилий подвига бытия, возвести на пьедестал безликую повседневность, утвердив на планете универсальную и деятельную иллюзию жизни» [2: 134].

Не будучи лингвистом, автор статьи тем не менее связывает макросоциальные процессы с судьбами слова, отношением к нему говорящего социума, с отражением в коммуникативно-речевой деятельности такого фактора, как невротизация личности, выводимой за пределы культурного контекста Большого Модерна и прямых человеческих связей: «Становление индивида, критически важные условия его внутреннего роста предполагают произнесение слов и совершение действий, имеющих персонифицированный характер, порождающий отклик, результат в рамках некоей осязаемой общности. Массовость же и анонимность уходящих в бесконечность социальных схем и информационных конструкций многоликого “планетарного субъекта” есть некоторым образом коррозия общества...» [2: 134]. Процессы деперсонализации, обезличенности отчетливо обнаруживают себя в выборе авторами афоризмов специфических построений с определенным субъектом или предикатом: «Много будешь знать — не дадут состариться» (А. Рябцев); «Иные времена — иные правы» (А. Ботвинников); «Воруют у нас все, но встречаются и профессионалы...» (В. Гусельников). В свете отмеченных выше тенденций обезличенности, анонимности слова и дела сам факт обращения к жанру афоризма, сентенционному, обобщающему типу речи представляется не случайным. Способы обобщения здесь предельно разнообразны. Ср. в до-

полнение к указанным: «Шутка — это самый быстрый способ расположить человека, только одного — к вам, а другого — против вас» (В. Айдынян). Номинация класса предметов сочетается с индивидуализацией путем расширения возможностей конструктивно обусловленного значения глагола *расположить* и употребления однородных определений к слову *человек*. Или: «Правда ли, что, только отсидев в Госдуме три года, депутат становится авторитетом?» (Л.С.) (обобщенный способ выражения идеи срастания власти и криминала в их обезличенном виде).

С нарастающей угрозой карнавализации и обезличенности А. Неклесса связывает упорно повторяющиеся, нередко абсурдные с точки зрения здравого смысла попытки утверждать свое право быть услышанным методами эксцентрики и насилия (ср. в этом плане выступления В. Жириновского и других депутатов). Подобные факты описываются авторами афоризмов и эксплицируются благодаря использованию прежде всего субстандартной лексики: «Юмор бывает блестящим и матовым. Последний доходчивее» (И. Шевелев), «Жизнь как шахматы: в правительстве регулярные рокировки, в народе — сплошной мат» (Ю. Ильин) (в обоих случаях эксцентрика достигается речевой многозначностью однокоренных слов. — *Н.С.*), «Совершенно не понимаю, зачем нам понадобилась свобода слова. Народу вполне достаточно свободы выражений» (А.Б.) (и здесь книжное терминологическое значение оборота сталкивается с обыденным осмыслением словосочетания. — *Н.С.*); «Правда ли, будто в Древней Греции тамошних братков уважительно называли атлантами за то, что они тоже держали “крышу”?» (П.А.), «Не сори деньгами — заметут» (Л. Ишанова). Ср. иные случаи языковой эксцентрики: «Не надо фамильярно хлопать Кавказ по хребту» (С. Алешина), «Ахиллесовой пятой чаще всего бывает голова» (Л. Ишанова), «С увеличением градусов даже углы тупеют» (В. Евдокимов), «Порядочные деньги редко водятся у порядочных людей» (А. Медведев), «В сущности ракетеры — парни неплохие. Они всегда готовы прийти на выручку. Была бы у вас выручка!» (Е. Коган).

Особая опасность видится в техногенной коммуникации, подменяющей прямое человеческое общение: «Диван, телевизор — и нет человека» (В. Посоховский), ибо тиражируемая

СМИ версия событий исключает самостоятельность оценки их личностью, рождает массовый конформизм. Гиперинформатизация «искажает саму основу взаимоотношения индивида со словом, провоцируя его девальвацию, унижение и соответственно исподволь предуготовляя кризис личности, нередко фатальный», «нарастающее равнодушие к профанированию слова и цинизму публичных политиков» [2: 135]. Ср. в афоризмах: «Вовремя пообещать — это почти что сделать» (В. Кислов), «1991 год: ум, честь и совесть как-то перегрызлись» (В. Семенов).

Следовательно, предлагаемый образ засасывающей цивилизацию воронки, возрождения / вырождения глубокой архаики выглядит как один из вполне реальных путей изменения социальной парадигмы и связанного с ней слова. Какая из альтернатив одержит верх, покажет лишь будущее.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Выжлецов Г.П.* Аксиология культуры. — СПб., 1996.
2. *Неклесса А.* Пакс экономикана, или эпилог истории: Размышления у дверей третьего тысячелетия // Новый мир. 1999. № 9.
3. *Симонов Ю.* Либерализм и христианство. Размышление ученого на пороге XXI века // Новый мир. 1999. № 2.
4. Суперальманах народных афоризмов: Золотая серия. Творчество читателей еженедельника «Аргументы и факты». — М., 1999.

2.2.5. Текст как основа дальнейших интерпретаций: фольклорные элементы в лексическом структурировании текста

2.2.5.1. К истокам российской ментальности

Одним из оснований проведения типологии языковой личности выступает наряду с другими уровень ее культурно-языковой компетенции [1, 3, 6]. Языковая личность писателя, ориентированная на определенный эстетический идеал, предстает в норме

как воплощение эталонного владения языком, какие бы «возможные миры» она ни создавала. Под возможными мирами понимаются «ментальные модели действительного (или воображаемого) мира, возникающие в ситуациях восприятия, получения информации и построения высказывания и существующие в полном описании мира на правах альтернатив» [4: 27]. Такими альтернативами выступают, в частности, ментальные модели мира, стоящие за русскими пословицами как проявлением этнической ментальности усредненной языковой личности и модели индивидуально-авторского художественного сознания, обусловленные рефлексией по поводу смысла этих пословиц. С последней мы встречаемся в «Сравнительных комментариях к пословицам русского народа» В. Пьецуха [5].

Эти комментарии позволяют проследить (и прежде всего на лексической основе) авторскую концепцию этнической ментальности, выстраиваемую также и с привлечением тематически близких одножанровых высказываний в других языках. Отчетливая лингвокультурологическая составляющая прозы В. Пьецуха вынуждает нас в исследовании лексической структуры некоторых ее фрагментов идти от той композиции, которую избрал сам автор, вынося при построении текста пословицу в позицию заглавия соответствующего раздела, лексическая структура которого во многом обусловлена ключевым словом соответствующей пословицы, замыкающим на себе ассоциативные поля текста-интерпретации.

Смерть смертью, а крышу крой.

В этом первом разделе автор объясняет необходимость обращения к фольклорному жанру пословицы в раздумьях о глубинах и истоках национального сознания и характера народа, о его судьбах. Автора занимает вопрос, почему со времен Даля не прибавилось русских пословиц, хотя «почему-то **чапушки** по-прежнему сочиняют, культуре **анекдота** конца не видно, а **пословица** выродилась в дурацкую остроту и лозунг на злобу дня». В этом противопоставлении пословицы семантизируются как «этические формулы, порожденные соборным сознанием», нуждающимся «в кодексе моральных норм на все случаи жизни» и испытывающим сейчас кризис, упадок, включая культур-

норечевой: «дело идет к тому, что, как сто лет назад, русак **перестает понимать фразу, если в ней больше десяти слов**. И поскольку в пословице их меньше, то “в стране, где Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло”, только на **пословицу** и приходится уповать».

В соответствии с заглавной пословицей автор обращается к таким константам культуры, как концепты *жизнь — смерть*, требующим для своего раскрытия межъязыкового и межкультурного сопоставления: «правнук должен соображать, какого он роду-племени, кто таков по своей духовной сути, — посему для него насущны не просто комментарии к пословицам русского народа (в качестве доказательства тому, что они непреложны как абсолюты), а сравнительные комментарии, иначе не понять, кто ты в семье народов, камо грядеши и какая твоя судьба».

Фрагмент любопытен по двум причинам: во-первых, несмотря на всю серьезность поставленной проблемы, она подается в форме сказа, особую непринужденность авторскому стилю придает свободное владение разными функционально-стилистическими пластами лексики, от разговорной до устарелой, используемой в целях юмористической архаизации текста в соответствии с замыслом, жанром и авторскими интенциями; во-вторых, размышления писателя перекликаются с мнениями специалистов о возможности понимания культур через посредство ключевых слов [2]. Так, они говорят об ограниченности принципа этноцентризма, необходимости сопоставления с иными формами восприятия, иным опытом, с одной стороны, и учета принципа «культурной разработанности» словарного состава языка, с другой (А.А. Вежбицкая, Ю.Д. Апресян, Ю.С. Степанов, А.Д. Шмелев и др.).

Ключевые слова и ядерные ценности культуры проявляют себя, в частности, и в пословицах, в составляющих их элементах: «Некоторые слова могут анализироваться как центральные точки, вокруг которых организованы целые области культуры» [2: 37]. Очевидно, что «алфавит человеческой мысли» включает в себя и концептуальную оппозицию «жизнь / смерть». В авторских комментариях отчетливо просматривается предположительная модальность, лексическими сигналами которой выступают прежде всего модальные слова. Ср.: «**Верно** в нем глубоко сидит родовое сознание на тот счет, что его **временная**

жизнь есть насущная частица **жизни вечной**, неотъемлемое передаточное звено». Мысль, заключенная в поговорку, оценивается автором как «благородная и мудрая», которая «сделала бы честь любому племени на Земле».

Как видим, создаваемый возможный мир связан с разными «форматами знания» и ценностями, представленными в нем: мнение, предположение, знание, вера. Жизнь сознания автора и этноса проявляется в установлении не только национально-специфического в ментальных репрезентациях, но и созвучного, универсального, с привлечением паремологии других народов: арабов («**Жизнь** кончается, работа никогда»), древних римлян, «во время оно сетовавших на то, что искусствоечно, а **жизнь** до обидного коротка. Следовательно, соборное сознание у народов работает более или менее одинаково, разве что не так художественно, как у нас». Художественность как черту национального мышления автор подчеркивает постоянно: «мы и **живем-то** так, точно прозу пишем, а не **живем**. Вот редчайший случай: в последнее время родилась у нас **поговорка** — «утром выпил — весь день свободен»; ведь это целая **повесть** о русском человеке, который может действительно напиться с утра пораньше и который действительно свободен, как никто в мире, в чем, собственно, и беда». Фольклорный жанр приравнивается к жанрам художественной прозы и отождествляется со способом бытия.

Кто в море не бывал, тот Богу не малывался.

Другая древнейшая концептуальная оппозиция, разрабатываемая писателем (о ней уже упоминалось в предыдущем изложении), — свои / чужие; наши / ваши. Отсюда организующая фрагмент роль ключевых слов-конкретизаторов семантики местоименных членов этой оппозиции. В числе таких конкретизаторов в концептуальном пространстве текста, в одном из возможных миров, возникающих в ситуации восприятия поговорки и соотнесения ее содержания с личностными знаниями о мире, — гипо-гиперонимические номинации стран и этносов, метонимические обозначения особенностей их истории и судьбы с помощью имен собственных правителей и эталонных представителей мировой и этнической культуры, слова с предикатной

семантикой и т.д.: «**Наши** — один из самых сумрачных, невеселых, сосредоточенных, словом, слишком поживших, что ли, **народов** в мире, потому что **мы горемычные** и нам по воле **Провидения** досталось **как никому**. В отличие, скажем, от **американцев**, которые потому и дети, что они за двести лет своей **куцей** истории настоящей жизни не видали, что их забаловали **геополитические условия, климат и англосаксонский бог**». Различие судеб народов здесь выявляется и с обращением к «возрастному коду»: взрослые — дети, и к антропоморфной метафоре, передающей черты целого народа как отдельного человека. Судьба «**британцев**» тоже более благополучна: «**эти** тоже пригрелись на **своем** острове, со времени **Вильгельма Завоевателя чужого сапога** не нюхали». Авторская пристрастность обнаруживает себя и в метафорическом строе (*пригрелись, чужого сапога не нюхали*), и в проведении исторических параллелей (**Кромвель** — современник «Миши Романова»), и в квалификации названия **войны Алой и Белой роз** для обозначения «междоусобной розни» как «**парфюмерного**». Слова-хронофакты, слова-свидетели «нашей» истории, которая «**густо замешана на крови**», — «**царь Иван Грозный**», который «**матушку Россию** городами вырезал», «**поляки**», «**Можайск**», «**крымчаки**», «**царь Михаил**», «**боярская Дума**», «**сакма**» (след татарской конницы. — *примеч. ред.*), и это «когда **Паскаль** разрабатывал начала кибернетики, **Гюйгенс** выдумывал часы, жил и творил **Мольер**».

Самый выбор концептуальной оппозиции, организующей данный текстовый фрагмент, продиктован авторской интенцией — понять и донести до читателя тайну российской судьбы, «главную нашу народную беду». Здесь не просто бесстрастное, отстраненное описание, а определенная выстрадавшая концепция, связанная с личностными структурами знания, эмоциями, оценками, волевыми импульсами, стратегиями самовыражения автора и его воздействия на адресата. Отсюда обилие слов (включая местоименные) с эмотивными, образными и оценочными коннотациями, с национально-культурным и идеологическим компонентом в их семантике. Как «**беда**» оценивается переплетенность «**у нас**» частной жизни с историческим процессом: «**У нашего же горемыки** детство пало на две **революции** подряд, юность — **на каторжную индустриализацию и зубодробитель-**

ную коллективизацию, молодость — на десятилетние сроки за здорово живешь, зрелость — на самую кровопролитную войну в истории человечества, старость — на “перестройку”, т.е. **крушение веры и всех начал**» (здесь текстовая семантизация политического термина и кавычки выступают способом дискредитации всего процесса). Жизнь «**русского человека**» проецируется автором и на осмысление пословицы, вынесенной в заглавие раздела, ее семантизацию и сравнительный комментарий к ней: «Одним словом, “Кто в море не бывал, тот Богу не маливался”, т.е. кто в **России** не жывал, тот жизни не видал. У **народов**, которые мореходны, есть похожие пословицы, но смысл, конечно, уже не тот». Различие смысла у народов, имеющих общее в географическом положении и хозяйственной деятельности, связывается с особенностями страны, в которой они живут, ее культуры и истории.

Бодливой корове бог рог не дает.

Традиционная ментальность этноса включает в себя обиходные представления, обозначенные автором как «свychаи и обычаи», которые он связывает с единым для этносов «нравственным законом» и единым источником его: «Как же, скажите на милость, **Бога** нет, а “все одна химия”, если **готтентот** и **бельгиец**, которые совсем недавно узнали о существовании друг друга, исстари исповедуют одни и те же **правила** — “**не укради**” и “**не убий**”». Эти правила, христианские заповеди, по автору, обуславливаются примерно одинаковым путем развития этносов, хотя он допускает и обратную зависимость от понятийных, этических универсалий культуры: «**может быть** (опять предположительная модальность как знак авторских раздумий, построения личностной концепции. — *Н.С.*), как раз одинаковые **понятия** обрекают их развиваться одним путем». К числу таких понятий он относит «**добро**» и «**зло**», усматривая, однако, их этническую специфику, отраженную в пословице «**про бодливую корову**, т.е. **злонамеренность**, которую Провидение лишило возможности вершить **зло**». Концепт зла в лексической структуре высказывания включает в свое ассоциативное поле не только активное начало, но и намерение, осмысляемое через родственное слово и гештальт, лежащий в основе пословицы,

связанный с крестьянским бытом и получающий неожиданную и предельно точную семантизацию в тексте.

Подобный способ осмысления пословицы рождает авторскую аргументацию своего мнения как структуры сознания, маркируемой лексически и синтаксически и оправданной избранным жанром сравнительного комментария: «**Трудно сказать навверняка**, но, **кажется, русский народ улавливает** через эту пословицу некую **закономерность**, известный **план**. Именно: он угадывает, что **зло** на земле только допускается, причем по необходимости... А в свободном виде **зла** вовсе не существует, и это, в свою очередь, нам говорит о том, что общий **замысел** благ, высокоумр и имеет **цель**». Провидение здесь осмысляется как высшее начало, творящее мир в соответствии с благом замыслом, целью, планом, определенной закономерностью, допускающей зло лишь «по необходимости» (ср. текстовый антоним «в свободном виде»). В традиционном народном сознании автор отмечает не столько рациональный план, сколько дорациональный, интуитивный, мифологический (предчувствия, озарения, догадки и т.д.). Приоритет отдается прагматическим структурам сознания как исходным в человеческой деятельности, в процессах адаптации к условиям универсума и регуляции поведения в социуме.

Правда, автор не до конца разделяет раскрываемые им традиционные смыслы, стоящие за этой пословицей, апеллируя к другой, не менее ярко характеризующей изобретательность, диалектичность мышления народа, цепкость и меткость его жизненных наблюдений, получающих отточенную форму своего выражения в языке: «Впрочем, **зло в свободном виде** все-таки существует... Это ли не оно — **землетрясения, наводнения, моровые поветрия, дураки**? Но **русский народ, находчивая бестия**, и тут, прибрав соответствующую бытийную формулу, говорит: “На то и **щука** в море, чтобы карась не дремал”». Здесь символом зла является щука (ср. прототипическое значение слова в представлении класса хищных рыб в русской культуре, отсюда текстовая антонимия со словом карась). Эта лексема становится в культуре этноса ключевой, ее гештальтная основа организует структуру не только пословицы, но и полисеманта с его антропоморфным метафорическим значением, и целого словообразовательного гнезда, включающего, по данным словарей

А.Н. Тихонова, прилагательные, могущие иметь негативные коннотации.

Концепт зла рассматривается и применительно к той «кромешной тайне», согласно которой «все к лучшему в этом лучшем из миров, как заметил еще Вольтер»: «откуда берется такая **сила**, которая перемалывает количество **зла** в качество **прогресса**», причем повсеместно, неукоснительно и всегда? Еще более **загадочно**, что эта **сила** отзывается **Провидением** и вместе с тем представляет собой **закон** (раздел «**Страшен сон, да милостив Бог**»). Здесь слово зло как номинация ключевого концепта культуры сопрягает содержание двух разных пословиц и комментирующих их текстовых фрагментов, включая в свое ассоциативное поле номинации, относимые не столько к его ядру, сколько к периферии, если иметь в виду стандартные семантические связи. Ср.: «тайна, сила, прогресс, загадочно, Провидение, закон, страшен, сон, милостив, Бог» и рассмотренные выше ассоциации авторского лексикона.

Проблема добра и зла занимает автора не сама по себе, а в свете тех перспектив, которые могут ожидать страну и народ с учетом особенностей его национального характера, геополитических условий, истории и культуры. Поэтому ассоциативные поля номинаций базовых концептов пополняются в лексической структуре текстовых фрагментов, связанных и с другими пословицами.

Бедность не порок.

С этой пословицей применительно к «русскому случаю» автор согласиться не может: «**Видимо**, мы оттого и **бедны**, что чрезмерно **богаты**... Впрочем, тут уже не **вина** нашего соотечественника, а **беда**. Ни при каком режиме он не может дожидаться, чтобы государство существовало за счет **мозгов** государственных служащих, а не за счет **обмана** и **грабежа**. Словом, так сразу и не решишь: **бедность** — это **порок**, **вина**, **беда** или **призвание** и **судьба**?» Пессимистические прогнозы автора подкрепляются сопоставлением с сентенциями носителей других языков: «Финны говорят: “Можно быть бедным, но не беспомощным”, французы: “Бедность — мать искусств”, китайцы: “Лучше быть живым бедняком, чем мертвым императором”»,

мы, в свою очередь, настаиваем, что бедность не порок. **Наверное**, и **правда**, не **порок**, а **диагноз** и **приговор**».

Система текстовых синонимов и антонимов, входящих в ассоциативное поле концепта *бедность*, одновременно связывает его с концептом более высокого уровня иерархии — зло, а их текстовые ассоциативные поля находятся в отношениях включения, включаясь, в свою очередь, и в ассоциативные поля гиперконцептов *жизнь / смерть*.

Своеобразную и не менее интересную текстовую лексическую разработку, открывающую доступ к тезаурусу элитарной языковой личности, обнаруживают и другие тексты — интерпретации, т.е. фрагменты произведения, замыкающиеся на серии пословиц, служащих стимулом в осмыслении особенностей миропостижения российским этносом и его судьб.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Апресян Ю.Д.* О состоянии русского языка // Русская речь. 1992. № 2.
2. *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. — М., 2001.
3. *Караулов Ю.Н.* О состоянии русского языка современности // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Материалы конференции. — М., 1991.
4. *Переверзев К.А.* Высказывание и ситуация. Об онтологическом аспекте философии языка // Вопросы языкознания. 1998. № 5.
5. *Пьецух В.* Сравнительные комментарии к пословицам русского народа // Октябрь. 2002. № 8.
6. *Сиротинина О.Б.* Устная речь и типы речевых культур // Русистика сегодня. 1995. № 4.

2.2.5.2. Пословица и лексическая структура художественного текста

Пусковым моментом в создании новых интерпретаций определенных слоев культурного опыта, в сюжетно-композиционном

движении текста, в определении его жанра могут служить прецедентные тексты русских пословиц. В частности, они определяют лексическую структуру, композицию и жанр произведения В. Пьецуха «Сравнительный комментарий к пословицам русского народа» [6].

Отмеченный здесь и выше набор этих пословиц отражает раздумья автора над истоками русской ментальности и связан с построением прогнозов относительно судеб российского этноса. Каждая из пословиц определяет содержание и лексическую структуру выделенных автором фрагментов, выступая в функции заглавия отдельных разделов. Рассмотрим более подробно отмеченные зависимости.

Гусь свинье не товарищ.

Пословица в силу ключевого для ее смысла и последующего текста слова «товарищ» обращает автора к металингвистическим и культурологическим наблюдениям, к истокам формирования коммунистического новояза: «Хотя это слово (господин. — Н.С.) давно потеряло свое первобытное значение, и *господами* в России величали даже городских, новые власти повелели народу в общих случаях употреблять обращение “*товарищ*”, в зловещих случаях — “*гражданин*”. С “товарищем” вышло недоразумение: во-первых, это понятие узко корпоративное и коммерческое, обозначающее купца, который торгует тем же товаром, что и ты, скажем, дворянской водкой по пяти гривен за полуштоф; во-вторых, в женском роде “*товарищю*” соответствует “*товарка*”, поэтому “*товарищ Сидорова*” — это такая же лингвистическая нелепость, как кормилица Иванов» (здесь и далее текст «Сравнительных комментариев» цитируется по изданию [6]; курсив в цитатах наш. — Н.С.).

Обращение к фольклорному тексту позволило не только выстроить текстовую парадигму обращений, связанных с разными культурными кодами, слоями культурной памяти, но и в связи с этим восстановить былые мотивационные отношения слов, использовать архаичную лексику (гривна, полуштоф, товарка и т.д.), отражающую хронологическую перспективу слова, на примере каламбура показать «лингвистическую нелепость» новообразования. Далее автор указывает на сложившийся дефи-

цит средств общения, поскольку слово «товарищ» прижилось лишь в «официальных бумагах», а не в «живом человеческом общении» и заменилось в нем номинациями по половому признаку: «Вы, *женщина*, тут не стояли», «Скажите, *мужчина*, который час?».

Автор рассматривает эти лакуны в речевом этикете как месть природы за непонимание простых вещей: «нет, никогда не было и не будет равенства между людьми, потому что оно противоестественно, как два одинаковых отпечатка большого пальца, потому что если бы все писатели писали на манер Алексея Кассирова, у нас была бы не великая литература, а кабаре». Так, отталкиваясь от ключевого слова пословицы, автор создает собственную социологическую концепцию с привлечением неожиданных сравнений и метафорических ассоциаций. Идея равенства воспринимается им как рецидив «совкового» мышления: «Но если русский делопроизводитель претендует на равенство с академиком Павловым, то он либо “*товарищ*”, либо клинический идиот». Но не все столь однозначно с ассоциативным полем слова «товарищ» даже у одного автора, который возвращается к этому культурно значимому слову в другом разделе:

Свой своему поневоле брат.

«А все-таки хорошее слово — “*товарищ*”, теплое, союзное, намекающее даже на родство. По-своему жаль, что оно ушло из нашего оборота, особенно в связи с тем, что замены ему настоящей нет. *Господа!* Но какие мы, в сущности, *господа!*.. Мы поневоленные *труженики*, *бедняки*, едва ли не призраемые всеми государственными институциями, от начальника жилищно-эксплуатационной конторы до министерства ужасных дел». Расширение ассоциативных связей слова товарищ, включение новых членов в текстовую парадигму также подсказано элементами заглавной пословицы («свой», «брат»), порожденной соборным сознанием. Архаичные наименования «барышня», «сударь», «кавалер», «милостивый государь» автор называет «словами-покойниками» и задается вопросом, что же все-таки объединяет этнос: «Ведь мы все *свои*, говоря по-русски, и даже сверх всякой меры, ибо у нас всеобщая *любовь* к *сорокаградусной* и

витанию в облаках. Правда, в России “Кто любит попу, а кто попову дочку”, “У кого щи жидкие, у кого жемчуг мелкий”, но, с другой стороны, нас почти *кровно роднят прекрасный язык и прекрасная литература*, которые в российских пределах материальны, как паровоз». В подтверждение этой особенности российской ментальности, отмеченной не только отечественными (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Шмелев, Т.В. Булыгина и др.), но и зарубежными исследователями (А. Вежбицкая), автор приводит диалог М. Пришвина с солдатом-фронтовиком: «Ты за что воевал, солдат? — За родину. — А что есть твоя родина? — Это, — говорит солдат, — такая земля, где всякий встречный старичок — отец, а всякая встречная старушка — мать». Так на основе интертекстуальных включений, расширяющих текстовую парадигму обозначений лица при обращении к нему, словесная «виртуальная» реальность проливает свет на родственный культурный код как способ осмысления (ср.: родство, брат, отец, мать).

Грех воровать, да нельзя миновать.

Это еще одна этическая формула, замыкающаяся на ключевом концепте христианской культуры «грех» и его подвиде «воровство». Ее расшифровка выводит на понимание культурной и исторической самобытности страны: «Ничего похожего на эту нашу поговорку в прочих языках нет. Ну да ведь Россия такая оригинальная страна, что в ней все единственно и самобытно, как междометие “е-мое”. Это, наверное, оттого, что враждебные силы во время оно отрезали нас от источников европейской цивилизации. И мы шестьсот лет варились в своем соку. И как-то так сложилось, что у нас воровать зазорно, но можно, хотя свободно можно не воровать». Сказово-ироническая манера повествования обусловила соединение, казалось бы, несоединимого: семантических и грамматических архаизмов (языцах, во время оно), иронически-оценочной лексики, рефлексии по поводу уникальной междометной формы, прецедентных текстов (силы враждебные, вариться в собственном соку), ссылки на чужой паремиологический опыт, синтаксических фигур-перевертышей, книжной лексики (источники европейской цивилизации).

Ср. еще: «Впрочем, России как *хозяйственному организму* такой *дуализм* не опасен, поскольку она сказочно богата, т.е.

настолько, что ее полторы тысячи лет *рассказывают кусочники* и никак не могут *рассказать до логического конца*. Интересно, что *интенсивность* этого процесса зависит не от *развития национального характера* и *характера государственной власти*, а *неведомо от чего*. В ассоциативное поле концепта «воровство» попадают не только приведенные номинации (рассказывать, богата, кусочники, процесс), но и другие (казнокрадствовать, приворовывать, распоясаться, стяжательство, воровать). Выстраивается динамический фрейм, серия пропозиций в описании этого, казалось бы, необъяснимого концепта (при какой власти и когда воровали, кто воровал, почему воровали «с редким постоянством»): «Так, при добродушном Алексее Михайловиче казнокрадствовали куда меньше, чем при тиране Петре Великом, при людоедах-большевиках только приворовывали и совсем распоясался народ в эпоху гражданских прав».

Автор пытается объяснить исторически, почему «живучи в России, трудно не *воровать*»: «Как, например, не срубить пару берез в барском лесу, если барин им владеет на том основании, что его прапрадед угодил государыне как ходок?»... Главная же причина видится в том, что исстари «работнику платят то крохи, то ничего»; «По-настоящему у нас даже председатель совета министров должен *красть направо*, потому что он за месяц зарабатывает столько, сколько американский полицейский за трудодень». Пополнение ассоциативного поля концепта, обозначенного в поговорке — заголовке раздела, связано со стремлением докопаться до корней этого пагубного явления и раскрыть их для читателя текста. К аргументам тезиса о неизбежности воровства в России «плюсуются» особенности соборного сознания, «древние» коммунистические убеждения русского народа, который и «при крепостном праве настырно стоял на том, что *земля Божья, забор ничей*». Это убеждение лежит в основе отношения к любому виду собственности как к «объекту, который *плохо лежит*, даже если его положили относительно хорошо», а глагол «украсть» эвфемистически заменяется фразеологизмом «*прибратать к рукам*», и это действие воспринимается в русской ментальности как «законное дело, что-то вроде тринадцатой зарплаты или премии за беду».

Резюме автора, его концепция по поводу особенностей российской этики сводится к следующему: «То есть *воровать*, ко-

нечно, *грех*, но вот что нужно принять в расчет: переведи романо-германца на положение нашего колхозника, и он за неделю *растащит* помещение сельсовета на кирпичи. Следовательно, мы хотя и *виноваты*, но перед Богом за нашу вину будут отвечать владыки России, от Владимира Мономаха до преемников Ильича. Как же иначе, если они показали себя неспособными поддерживать национальную государственность помимо того, чтобы русак существовал на одном хлебе и без штанов». Не случайно по отношению к обычному «русаку» слово «грех» заменено этически более мягким «вина».

Кто прямо ездит, дома не ночует.

По мнению автора, «иная *пословица больше наука*, чем, например, марксизм-ленинизм, которым нас давили семьдесят с лишним лет, а названная поговорка заставила бы вождя внести крутую коррективу в свою *науку о мятежах*».

Здесь, по существу, ставится вопрос о тесной связи быденного и научного знания, разрыв которых рождает лженауку, саркастически названную «наукой о мятежах», непонимание того, что «по-настоящему коммунист — это оголтелый капиталист», что утверждение коммунистического устройства, если оно возможно, может быть только следствием «эволюции общества и человека; а не вооруженного восстания в центре и на местах. Потому что это не коммунизм — утопия, а человек — сволочь». Революция концептуализируется в терминах медицинской метафоры как хирургическая операция на истории, подобная операции удаления мозжечка. Ее последствия — «серия процессов», «внутрипартийная резня, пайка вместо зарплаты, нефеодализм в деревне, беззаконие, террор, наконец, искусственная экономика, из которой логически вытекают бедность и дефицит», особенно при отсутствии «политической культуры, бытовой культуры и культуры промышленного труда». Так в серии номинаций, помещенных в однородный ряд и рисующих социальные последствия «*прямых*» *путей, абсолютизации исторической целесообразности*, раскрывается обобщенный смысл поговорки в целом и ее ключевых слов. Дискредитация большевистской идеи идет по главному пункту: «не так бытие определяет сознание, как сознание — бытие». Поэто-

му «в тех землях... где... оголтелые капиталисты вчуже работают на коммунистическую идею, уже с полвека практикуется по крайней мере реальный социализм». В заключение раздела выносится лингвистический комментарий автора, указание на необходимость лингвистического знания, отражающего когнитивный опыт народа: «Одним словом, те господа, от которых в той или иной степени зависит судьба нации, должны знать русские пословицы назубок».

С волками жить — по-волчьи выть.

Пословица получает неожиданное осмысление, теряя свои негативные коннотации ввиду своеобразной авторской концепции человека вообще и «человека переходного» в частности: нормальная «человеческая психика умнее собственно человека, поскольку она освобождает нас от бессмысленного состязания с порядком вещей, который мы не в силах преодолеть». Неистребимым злом, коренным, изначальным представляется автору «человек нынешний, переходный, не злодей и не праведник, но существо загадочно способное извратить любую социально-экономическую модель»; он «переходит в направлении человека вполне», хотя «прогресс человечности не имеет никакого отношения к научно-техническому прогрессу». В антропоморфном осмыслении «по-волчьи выть» означает *для человека «со здоровой психикой» «прилежно делать свое дело, как-то: растить хлеб, строить дома, сочинять прозу, изобретать летательные аппараты, независимо от того, какие именно урки на текущий момент хозяйничают в стране», «наслаждаться счастьем собственного бытия», что оценивается как «наиважнейшее человеческое занятие». Таким образом, «по-волчьи выть» означает не состязаться с данным порядком вещей, «что, конечно, куда веселее, чем восемь часов подряд одну и ту же гайку завинчивать, но у сумасшедших вообще интересная, зажигательная жизнь».*

Идеологические клише тоталитарного новояза получают в авторском переосмыслении поговорки иное, альтернативное звучание, ориентируя адресата в ином ментальном пространстве: «Может быть, даже так: тот и есть *несгибаемый борец за светлое будущее человечества*, кто прилежно делает свое дело и умеет наслаждаться счастьем личного бытия». Жанр сравни-

тельного комментария заставляет автора обратиться к афоризмам других народов и их прокомментировать: «Нечто, отчетливо перекликающееся с нашей пословицей, есть у индийцев; они говорят: “Не хлебнув горя, не станешь Буддой”. Тоже ничего».

Суженого конем не объедешь.

Вопреки представлениям культурологов и лингвистов [3; 4; 5], определявших фатализм (ср. культурные концепты *рок*, *судьба* и т.п.) как особенность российской ментальности, автор видит в заглавной пословице «не фатализм, а скорее напротив — *стихийный материализм*. Русак как в воду глядит: коли ты уголовник по химии своей крови, то утонуть тебе не дано». Универсальность смысла, заключенного в близкой по смыслу пословице «Человек предполагает, а Бог располагает», подтверждается ссылкой на пословицы других народов, определяющие зависимость следствия от причин. Однако «нигде, кроме как в России, причины не бывают такими *затейливыми*, а следствие до того *не отвечает ожиданиям*, что кажется решительно не зависящим от причин».

Эта непредсказуемость российской судьбы иллюстрируется серией вопросно-ответных комплексов, передающих парадоксальность авторского мышления и неожиданность выстраиваемых в сатирическом рассуждении причинно-следственных связей: «Почему, спрашивается, у нас красавиц такая пропасть? Потому что должно же быть хоть что-нибудь прекрасное в стране, где хлеб не родит, автомобили не заводятся, центральное действующее лицо — вор. Или почему у нас первая литература в мире? А тоже, можно сказать, с горя, потому что русскому писателю триста лет не давали “оспаривать налоги”, “мешать царям друг с другом воевать”, и он вынужденно пристрастился к операциям на душе. Есть, впрочем, и вопросы, не подразумевающие ответа, например: почему дурнушки всегда удачно выходят замуж, а с красавицами долго, как правило, не живут?».

Парадоксальности «следствия» соответствует и стратегия авторского использования языковых средств с полярным разбросом их эмотивно-оценочных коннотаций, интертекстуальными включениями, разной функционально-стилевой прикрепленностью. С парадоксальностью причин и следствий связывается не-

однократно отмечаемое смирение русского человека как особенность национального характера: «То-то русский человек мудро смиряется перед лицом Провидения, ибо он твердо знает, чему бывать, того не миновать, тем более что у нас трудно предвидеть даже самый очевидный, казалось бы, результат. Причины-то ведь затейливые, и следствие представляется решительно не зависящим от причин». Сказанное распространяется и на парадоксы последнего времени, когда «в результате демократических преобразований» «бывшие кухонные мыслители» (неожиданная номинация инакомыслящих. — *Н.С.*) оказались «в тридевятой, чужой стране» (элемент фольклорного сказа соединен с нейтральным текстовым синонимом. — *Н.С.*): «Все-то тут не по-нашему, все не так, начиная от *вокабуляра* и кончая *сливками нации*». В числе последних по закону текстовой антонимии названы «не ученый, поэт, живописец», а «пройдоха, певичка и теннисист». Апеллируя к содержанию пословицы, ассоциатам ее ключевого слова «суженый / суженое» — Бог, Провидение и др. — к историческому опыту этноса, автор оптимистически вопрошает: «Однако Ивана Грозного мы пережили, и крепостное право пережили, и большевиков; может быть, и эту сволочь переживем?» Оценочное сниженное слово попадает в общее текстовое семантическое поле названий зла.

Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет.

Слово «жнет», как символ российского крестьянского труда, направляет и размышления писателя вокруг крестьянской темы, судеб деревни. Отсюда фольклорные номинации «селянин», «Микула Селянинович», который «ковырял свой надел до седьмого пота, а результаты были примерно одинаковые: “От колоса до колоса не слышать бабьего голоса”». Одну из причин «рока», нависшего над нашим сельским хозяйством «со времен Рюрика», автор видит в чрезмерном уме русского мужика: «Вместо того, чтобы, ни о чем надолго не задумываясь, потеть восемнадцать часов в сутки, он, *родной*, поутру сядет на зава-linkу и скажет про себя: а ведь через шесть миллионов лет на месте наших угодий будет море, и при чем тут, собственно, рожь с овсом? То-то не найти в Европе более неопрятного существа, чем русский крестьянин, и более страшной институции,

чем русская деревня, а все потому, что мужик наш чересчур умен». В подтверждение аргумента приводится китайская поговорка: «Если детей нет, кровать в этом не виновата» с последующим авторским комментарием: «И точно: на Руси ежели умен, то по обыкновению *нищ* и *наг*». Исключение сделано лишь для нескольких процентов из репрессированного русского крестьянства, «которые были генетически приспособлены к сельскохозяйственному труду. Ну, нету их, а до 1928 года они представляли собою государство в государстве и *даже не то чтобы совсем национального образца*».

Какая барыня не будь, все равно ее...

В комментарии автор отмечает такую черту национального характера, как чувство собственного достоинства: «Это поразительно: откуда взялось такое прочное чувство собственного достоинства у народа, который с Бориса Годунова ходил в рабах... А помещика наш хлебопашец даже считал узурпатором и похитителем угодий, поскольку он от века стоял на том, что земля Божья, грибы ничьи». В состав номинаций узурпаторов — элементов ассоциативного поля, порождаемого ключевым в поговорке словом «барыня», входят не только Борис Годунов, помещик, но и вся «аристократия крови, наши Рюриковичи, гедиминовичи, чингизиды, тем более “птенцы гнезда Петрова”, которые вышли преимущественно из низов... И с царями этот народ запросто обращался». Приводится диалог императрицы Екатерины II с солдатом суворовского полка при его осмотре: «Вот, братцы, две тысячи верст я проделала, чтобы на вас посмотреть. Правофланговый первой роты отвечает на эту *декларацию*: “От *эфтакой матушки-царицы* чего только не приходится ожидать”. «Узурпаторам», таким образом, (включая и матушку-царицу) противостоят «народ», ходивший «в рабах», «хлебопашец», Бог («земля Божья»), «солдат суворовского полка, правофланговый первой роты». Таким образом, истоки национального характера связываются с христианской идеей соборности, исключаяющей пиетет перед социальной стратификацией общества.

Соловья баснями не кормят.

Ключевое слово «соловей», имеющее текстовыми синонимами «писатель», «сочинитель», «пишущая братия», «не совсем

люди» (и их имена собственные), организует размышления автора о судьбе литературы и всякого художества, поскольку «мы-то — Россия, страна, конечно, дикая, однако — первая в мире по *линии художества и души*»; «у нас литература искони была *вторая религия*, курсистки, завидя *Блока*, в обморок падали, яснополянские гости поражались тому, что *Толстой* ест, и даже такой сравнительно скромный *сочинитель*, как *Максим Горький*, отбивался от поклонников костью»; «Изящная словесность», «литература, в которой все евангелическая недоговоренность и полумрак, ...в глазах человека есть преломленное отражение того, что составляет самую его суть. Именно *частицу божества*, которую мы носим в себе в отличие, скажем, от строителя-бобра, знающего толк в гидрологии, семьянина и едока». Книга, по автору, — «вечный намек на то, что *человек загадочней семьянина* и *едока*. Да еще сочиняют их *как бы не совсем люди*, если они способны из ничего сотворить, например, *Акакия Акакиевича Башмачкина*, в которого веришь больше, чем в закон сохранения энергии».

Судьба писателя вызывает сожаление автора, как и другие символы ушедшей культуры: «*писатель* донельзя обеднел... его *кормят баснями* про то, что высшее благо цивилизации составляет рынок, свобода слова вплоть до матерного и гегемония безвредного дурака. Но литературы все-таки жаль, как зимних баблов под Рождество, сюртуков, цыганского хора Соколова, барышень в шелковых кофточках под горло, которые стесняются буквы “хер”». Будущее изящной словесности, которое «в лучшем случае гадательно, в худшем случае — его нет», не исключает и возможности воцарения тысячелетнего нового средневековья, «только без алхимии и Христа».

Такие далеко идущие ассоциации выстраиваются вокруг содержания поговорки в целом, формирующей и неожиданные текстовые ассоциативные поля составляющих их компонентов, ориентирующие читателя в ментальном пространстве автора и готовящие ответную реакцию адресата как итог понимания текста.

Бог шельму метит.

В ассоциативное поле ключевого слова поговорки «шельма» попадают номинации: человек, мерзавец, живодер (в противо-

поставлении «хорошему человеку»), ни Богу свечка, ни черту кочерга, (в обозначении человека по преимуществу), злодей, 666-е антихристово число, великий сатанист, революционер (Петр I, Робеспьер, Жан-Поль Марат), бомбист (Ленин, Сталин, Гитлер, Наполеон Бонапарт). В этом описании просматриваются последствия действия промысла Божьего (комментарий к первому ключевому слову пословицы): «Есть только одно неопровержимое доказательство *Божьего бытия*: хорошего человека по лицу видно... Отсюда вопрос к *агностикам и атеистам*: если *Бога* нет, то кто же тогда *шелм* метит, оберегая нас, *простаков*, подавая знак. Отсюда же и такое замечание: ведь и у немцев есть пословица “Лицо выдает *негодяя*”, однако и они дали маху в 1933 году, следовательно, не мы одни *идиоты*, которые манкируют *опытом праотцов*». Апелляция к этому опыту предполагает понимание смысла пословицы, помогающей обычному человеку (человеку между Богом и шельмой) не стать «простаком» и «идиотом», не «дать маху».

Худой мир лучше доброй ссоры.

Интерпретация содержания этой пословицы приводит автора к неожиданной, нестандартной культурологической концепции, базирующейся тем не менее на исконных ценностях традиционной культуры. Он считает эту пословицу «гласом вопиющего в пустыне, хотя и у финнов есть точно такая же пословица, и китайцы говорят: “Мудрый здоровается первым”, и вообще, кажется, все согласны, что с соседями лучше не воевать». Межкультурные сопоставления призваны подтвердить авторскую догадку, мнение о назначении культуры: «Культура есть явление асоциальное, т.е. она сообщается исключительно с личностью человека, а всему обществу действует перпендикулярно и вопреки. По крайней мере, ясно, что человек лучше человечества, а личность выше общества, ибо с Ивановым всегда договоришься с глазу на глаз, а в составе маршевой роты Иванов — зверь». Парадоксальность концепции усиливается столкновением афористических дефиниций абстрактных понятий с предельной конкретизацией ситуации, доведением ее до абсурда, комического эффекта. Конечная цель культуры рассматривается как «дела десоциализации личности, чем успешно зани-

мались Моисей, Спиноза и Лев Толстой», хотя «культура работает мучительно медленно, как, например, строятся светила и наша материя».

Свято место пусто не бывает.

Переосмысление пословицы связано с привлечением сравнительного комментария и историко-культурной энциклопедической информации: «Китайцы говорят прямее: “В *святых местах* много *нечисти*”. Русачок же *юлит*, как обычно, *литературничает*, но вообще первоначально эта пословица сложилась про наши монастыри». Таким образом, слово *пусто* в порядке эвфемистической замены шифрует inferнальную силу, проникающую в сакральные, святые места. В наши дни к нечисти автором относится такой наиболее независимый от любой формы правления индивид, как «зловредный холерик», положительно не способный к систематическому труду: «А *зловредный холерик* умеет только *фигурировать* и *стяжать*... То-то мы такие несчастные, то-то нам и при самовластье не живется, и демократия нам резко не по нутру». Носитель наиболее «зловредных», сатанинских качеств (сверхактивность, показуха, стяжательство, неспособность «к положительному труду», разрушительство) эвфемистически назван здесь по типу темперамента «холериком».

Что русскому здорово, то немцу смерть.

Еще О. Мандельштам отмечал, что «чужелюбие» не относится к числу наших достоинств. Древнейшая оппозиция *свое / чужое*, лежащая в основе пословицы, получает неожиданную интерпретацию в лексической структуре раздела, ею озаглавленного, определяет направленность авторского комментария и оказывается связанной с такими концептами русской культуры и языка, как душа в ее противопоставлении телу.

Думается, что одна из причин ущербности этической отечественной установки, проявляющейся и в поговорке «знай наших», и в явлении шапкозакидательства, удали и чванства, кроется, с одной стороны, в осознании размера, размаха своей территории, огромной численности населения и величия истории, а с другой — в вековом рабстве, требующем психологического выхода хотя бы во вне.

Порицание этих установок сопровождается в тексте объяснением их живучести: «Кажется, больше ни у кого нет этой *моды* — *повеличатся перед другими народами* даже и в *поговорке*, которая, по сути, есть сама *этика* и *бонтон*». В текстовой семантизации вскрывается и этическая основа поговорки, и ироническое отношение к утверждаемым ею нормам (ср. иронию в словах «мода, бонтон, повеличатся»). Аналогии усматриваются только в поговорке древних римлян, содержащей выпад в адрес своих «соседей-греков», «а так трудно себе представить, чтобы *англичане* выдумали *уничтожительную поговорку про французов*, а *французы* в своих *поговорках* *чванились бы перед англичанами* здоровым климатом и тонким пониманием красоты. Причем у англичан-то с французами есть основания *повеличатся*, а у нас оснований, пожалуй, нет».

Эти лингвокультурологические сентенции сопровождаются саркастическим комментарием (ср. фигуру противопоставления своих и чужих), передающим боль автора за судьбы своего этноса, к которому он относит и себя: «Есть такая *догадка* (лексический сигнал не столько знания, сколько иной когнитивной структуры — мнения. — *Н.С.*): причуды русского способа бытия происходят от того, что у нас все не так, как у *добрых людей*, за исключением физиологического строения тела и головы». Отсюда повторы местоимений первого лица, противопоставление *мы* / *добрые люди*, нагнетание определенно-личных конструкций, сдвоенных экспрессивных номинаций, смешение разностильной лексики, привлечение эмотивно-оценочных номинаций как сквозная тактика иронической передачи авторского мнения, не претендующего на особую достоверность и требующего встречной активности адресата, его вклада в процессы концептуализации мира: «В бане мы паримся *до обморока*, потому что у нас лекарств нет и восемь месяцев в году стоят *марсианские холода*. В проруби купаемся в связи с тем, что библиотека сгорела, *кинищик* заболел, электричество отключили и телевизор безмолвствует, как *усоп*. Наконец, пьем мы оттого, что почти в каждом *русском человеке* живет *душа*. А это не *шутка*, особенно когда она не *полагается*, а *живет*. Это совсем не *шутка*, если душа-то не то, что у *прочих положительных народов*, — просто *антоним телу*, а такой *выматывающий агрегат*, что в другой раз с утра *приадушаешься* и к обеду *уйдешь*

в запой». Душа как «феномен человеческой цивилизации», будучи не очень распространенным, объясняет, с точки зрения автора, всю бесхозяйственность, расхлябанность российской жизни: «А то *беда*: когда *душа действует*, дороги сами собой приходят в негодность, начинаются перебои с подачей электроэнергии, спички перестают зажигаться и с запасных путей исчезают товарные поезда».

Какие сани, такие и сами.

Рассмотренная выше «этическая формула» получает здесь у автора расширенное истолкование в свете содержания заглавной поговорки, исключаяющей «*предрассудок*, будто бы *русский народ* заслуживает лучшей участи, нежели которая ему выпала *случайно ли*, в силу исторического детерминизма или по *произволу верховных сил*. Эта «судьба» (еще один базовый концепт культуры. — *Н.С.*) представляется автору вполне заслуженной, «судя по тому, что представляет собой *русак* как *личность* и *гражданин*». Здесь не только определяются ипостаси «русака», но он подводится под родовое обозначение «существо» с окказиональным осмыслением определения к нему — «*всемогущее* (в том смысле, что он может копать, а может и не копать) и без меры *богатое* качественно (в том смысле, что в нем уживаются и *радетель*, и *хищник*, и *страстотерпец*, и *прокурор*)». Этот разброс социальных психологических ролей, широта «ролевого статуса» получают в тексте наглядную конкретизацию: «*русачок* в понедельник *нарезает болты* до седьмого пота, в среду *пьяненький*, в пятницу *плачет над «историей дипломатии»*, в субботу *смертным боем воспитывает жену*». Далее в ироническом ключе писатель обосновывает порочность, бесперспективность таких психологических особенностей этноса, их иррациональность: «Отчасти такая *разносторонность* льстит *национальному самосознанию*, однако вот что нужно принять в расчет: чем богаче характер, тем больше в нем черт, взаимно отрицающих одна другую, и тем менее он приспособлен к деятельности вовне. То есть кид у человека с таким характером *приближается к математическому нулю*. От него как раз *бесполезного действия* приходится ожидать».

Здесь техническая метафора в аргументации авторской мысли соседствует с сочетанием детерминологизованного значения,

включающим антонимичное прилагательное (полезный — бесполезный). И эта сентенция подтверждается истолкованием мотивов народа при «устройстве» переворота 1917 года и ответов в ключе этой логики на вопрос «зачем»: «Да низачем, наверное, т.е. затем, что он чувствителен, *завистлив*, легко *возбудим*, *мечтателен*, *озлоблен*, *не признает частной собственности*, что *излюбленный его национальный герой — речной пират Стенька Разин* и что в 988 году *крестили его силком*».

Такой социально-психологический портрет дикаря, язычника, человека иррационального, насильно обращенного в христианскую веру, опять ведет к несоответствию причины и следствия предпринимаемых им действий, к движению по кругу: «Именно низачем, ибо результат этого дела уж больно *бессмысленный*: от чего ушли, к тому и пришли — к эксплуатации труда капиталом, царству бюрократии и падающему рублю». Но «самой чудесной из наших черт» автору представляется та, что «при всех своих *нетях русский человек способен сочинять пословицы*, которые представляются куда более литературными, чем роман». Подобные «перлы» отмечаются у других народов мира, «однако *наша пословица — это само литературное вещество*». И в этом опять загадка русского характера, не разрешаемая пословицей: «Но тогда какие же мы в действительности *сами* — вот вопрос! — если, фигурально говоря, *сани у нас никудашные*, а вместе с тем *в области этической формулы мы способны творить полные чудеса?*».

Или грудь в крестах, или голова в кустах.

Пословица отмечает максимализм как свойство российской ментальности, на что неоднократно указывалось в работах лингвокультурологического и когнитивного направления в лингвистике (А. Вежбицкая, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев, В.В. Колесов и др.). В лексической структуре анализируемого текста она эксплицирована типом синтаксической конструкции и обращением к сравнительному комментарию паремииологии других народов: «У многих народов мира есть вариант на тему древней *латинской пословицы*: “*Или Цезарь, или ничего*”. Но, кажется, одни русские *живут по-писаному*, т.е. не признают Горациеву “золотую середину” и любят *крайности*, как никто». Текстовая

семантизация авторского выражения «жить по-писаному» и сравнительный оборот передают специфический смысл русской жизни и национальной ментальности. Эта особенность национального самосознания «наших» описывается через использование условно-следственных и разделительных конструкций с номинациями, содержащими семы интенсивности, эмотивности, образности: «Наши уж если пьют, то *до положения риз*, если воюют, *то до последнего человека*, если любят, то *до самозабвения*, если проигрываются, то *в прах*. Та же мода у нас наблюдается и по общественной линии: то мы существуем на положении *белых рабов*, и главное, органично существуем, то нам подавай *царство Божие на Земле*». Жизнь «по-писаному» обнаруживает себя в свойствах российских характеров, которые «бывают полярно противоположными и часто являют крайности почти *литературного естества*. У нас коли человек *мерзавец*, то уж он *всем мерзавцам мерзавец*, *фантастическая нелюдь*, какую не встретишь в чужих краях. Но если он хороший человек, то, по европейским меркам, почти *святой*. Коли он *вор*, то мать родную *обчистит при отягчающих обстоятельствах* (ср. выводные смыслы, вытекающие из необычного соединения слов. — Н.С.), а если *интеллигент*, то *ему неровня наследный принц*».

Помимо слов-интенсивов, пронизывающих всю лексическую структуру текста, в нем содержатся неожиданные ситуационно-синонимические сближения и антонимоподобные противопоставления (мерзавец, нелюдь — хороший человек, святой; вор — интеллигент, наследный принц). Все вместе они создают этическое, эмотивно-оценочное пространство текста, включающего с учетом разных его разделов такие виды оценок, как сенсорные (гедонистические и психологические ценности), сублимированные (эстетические и этические оценки) и рационалистические (утилитарные, нормативные и телеологические оценки), представленные в типологии Н.Д. Арутюновой [1, 2].

Объяснение причин описываемого психологического феномена — крайностей русской души — вызывает затруднение автора, но что для него «предельно ясно», так это то, что «эффективной экономики с *таковской* нацией не наладить и настоящего порядка не навести», не в этом ее предназначение: «Усредненный человек Запада, *не плохой и не хороший*, но за-

конопослушный и деловой, обеспечивает социально-экономический прогресс вплоть до культурного тупика. Русские же, видимо, призваны *сохранять генофонд человека сложного, сотканного из противоречий*, и это даже нам не миссия такая, а *благодать*. Ибо еще из Гегеля нам известно, что единство и борьба противоположностей есть источник всякого бытия». Апология «сложного» человека в его противопоставлении «усредненному» строится с привлечением не только оценочных определений и, на первый взгляд, алогичных, а по-своему глубоко оправданных газетно-публицистических штампов, но и элементов философского и богословского дискурса, в шутивно-юмористической форме догадки, предположения вскрывающих парадоксальность и оригинальность авторского мировидения.

На то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Фрагмент в этой лексической структуре рисует наивную философию «нашего соотечественника», «тонко понимающего закономерности и логику бытия, близкие экзистенциализму»: «целый огромный народ почти поголовно неграмотный, неотчетливо постигший то религиозное учение, которое он исповедует, тем не менее широко принял *философскую систему*, заключенную в *поговорку про щуку и карася*». Эти ключевые слова поговорки, проецируясь на социально-психологические различия людей, опровергают идею «*губительного равенства и мелочной государственной опеки*», которые «до того доводят нацию, что каждый второй лопаты не держит и каждый третий не способен себя кормить». Величие же нации видится в том, что на всякое «зачем» существует свое затем. Этот тезис доказывается серией вопросно-ответных комплексов, имитирующих живой диалог: «*Зачем* бывают землетрясения, наводнения, моровые поветрия? *Затем*, чтобы каждый человек не слишком возносился над всемогущей природой и в конце концов не сгубил самого себя. *Зачем* случаются революции? *Затем*, чтобы доказать нации, что они не способны решить ни одного коренного вопроса жизни. *Зачем* всякая жизнь заканчивается трагедией смерти? *Затем*, что вопреки умозаключению Льва Толстого, именно вечная жизнь быстротечна и коротка. Короче говоря, *зачем* щука в море? — чтобы карась не дремал». Так с опорой на каркас при-

чинно-следственных отношений, предполагаемых заглавной поговоркой, и ее обобщенно-целостное, сентенционное значение, позволяющее не только наметить ситуацию-основу, но и повторить поговорку в итоговом высказывании в позиции концовки текста, выстраивается концепция по коренным проблема бытия — экологическим, политическим, философским (лексические экспликации — землетрясения, наводнения, моровые поветрия; революции, жизнь, смерть). В ее основе — обыденное знание о чрезвычайной подвижности и плодовитости карася, спасающегося от щуки.

Всякая сосна своему бору шумит.

Отношения части-целого, задаваемые ключевыми словами поговорки и растительная метафорическая модель становятся той основой, на которой развивается текстовое ассоциативное поле, связанное с концепцией патриотизма. В него входят такие слова и обороты, как: «*всех собак вешать*, имея виду наши отечественные порядки»; «чисто русское занятие — *ругательски ругать* своих соотечественников и страну... валять в грязи властный аппарат, общественное устройство, народное хозяйство *национальные свьчаи и обычаи*, а главное, *человека родных кровей*», «*выносить сор из избы*»; «*диссиденты*».

Единство этноса передается поговоркой, согласно которой у нас «*весь народ из одних ворот*», то есть какого нашего соотечественника ни возьми, у каждого *изощренный характер и резвый ум*. (Пословица подвергается семантизации в соответствии со сквозной авторской интенцией. — Н.С.) Ибо *презираючи страдать* или *страдаючи презирать* (это у нас почему-то всегда ходит парой) — дело настолько общенациональное, что стоит собраться вместе столяру и сантехнику, как тотчас *выносятся святы*».

Далее тема развивается с привлечением «литературной и медицинской» метафорической модели: эта критика «будет прямой художественной прозой — с завязкой-развязкой, легким томлением и истерикой в кульминации, любовным томлением и слезой. Наверное, это и есть — любить свою родину по-русски, нервно, чуть ли не навзрыд, как в семьях любят больных детей». На этом фоне получает свое объяснение и сатирическое

истолкование аномальности официального патриотизма и созвучной ему поговорки: «*Патриот* в России потому *аномалия*, что он *профессионально* предан тому, что нельзя ни уважить, ни оправдать. Вообще у нас *настоящий патриот* тот, кто ни при каких условиях не променяет родину на Ривьеру, кто ей горячо симпатизирует не за что-то, а вопреки... А поговорку “*Всяк кулик свое болото хвалит*”, видимо, выдумали немцы либо думцы социал-демократической ориентации и нетвердой национальности, но определенно не мыслитель и не русак».

Голый, что святой, беды не боится.

Заглавные субстантиваты замыкают на себе ассоциативное поле всего текста, распределяемое по двум направлениям: голый — вещи, несчастья вещественного происхождения, кошелек, карман, в долг, бьют, побьют, возведут пасквиль, могут посадить, спокоен, недвижимость, вилла на Ривьере, собирательство, собиратели, предпринимательство; святой — деятельность души, человек высшей организации, нормальный человек, изгой, кара, Господь, развиваться по Христу. В этом сопоставлении вырисовывается оптимистическая концепция будущего России: «...за малым исключением все наши несчастья имеют вещественное происхождение и редко когда связаны с деятельностью души. То у вас кошелек вытащат в кармане, то побьют мимоходом, то долг не отдадут, то возведут пасквиль на вашу мать. Однако человека высшей организации обидеть невозможно, и на пасквилянта он смотрит, как на птичку, которая надедала на пальто. В долг же у «голового» не возьмешь. Когда бьют, это, конечно, очень неприятно, но ведь и змеи нападают на человека, и бактерии, и слепни. Однако у «голых» недвижимости не водится и кошелек в их обиходе — разве что сувенир. Правда, еще могут посадить за понюх табаку, что у нас случается сплошь и рядом, однако надо принять в расчет: бывают такие государства и времена, когда нормальное положение нормального человека — изгой, и место ему в тюрьме.

Следовательно, для того, чтобы избежать несчастий вещественного происхождения, нужно избавиться от вещей... достаточно воспитать в себе имущественный иммунитет... и голый спокоен, ибо если и сгорит вилла на Ривьере, то, во всяком слу-

чае, не его... Конкретной кары за это собирательство (частную собственность. — *Н.С.*) Господь не назначил, но по всему видно, что так просто оно человечеству не пройдет. В России, во всяком случае, собирателей уже регламентированно отстреливают среди бела дня, и предпринимательство у нас — такая же опасная профессия, как военный и космонавт. Из этого, в частности, следует, что наше отечество более, чем прочие, развивается по Христу».

Содержание поговорки и ее структура, как видим, служит основой для дальнейших интерпретаций идеи соборности, христианских ценностей.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Арутюнова Н.Д.* Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. 1982. — М., 1984.
2. *Арутюнова Н.Д.* Оценка. Событие. Факт. — М., 1988.
3. *Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Языковая концептуализация мира. — М., 1997.
4. *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. — М., 1996.
5. *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. — М., 2001.
6. *Пьецух В.* Сравнительные комментарии к поговоркам русского народа // «Октябрь». 2002. № 8.

2.3. ТЕКСТОВЫЙ СУБЪЕКТ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ МИРА: СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

2.3.1. Еще раз о текстовом субъекте: лексический аспект

Когнитологи говорят об «одновременном существовании информации о прошлом и будущем развитии структуры в синхроническом срезе структуры аттрактора» [5: 232]. Это объясняет значимость триады «я-здесь-сейчас» в описании основных коор-

динат бытия субъекта. По словам У. Эко, некоторые элементы текста «зависят от воли автора, а другие зависят только от реального мира, который чисто случайно вклинивается в произвольный мир повествования» [17: 612].

В одних случаях текстовый субъект — артеавтор предстает как субъект синергетического взгляда на мир с апелляцией к таким базовым концептам синергетики, как гармония и хаос: «В одном они (писатели. — Н.С.) сходятся, но это одно — самое главное: миссией писателя оба считают борьбу с природно-стихийным хаосом, с “бесконечным ужасом жизни” (по слову Блока), отстаивание божественного в человеке (Попов называет это “порывом к эlegantности и обаянию”») [5]. Основа такой интерпретации роли текстового субъекта кроется в синергетических механизмах языка, его антиэнтропийной, упорядочивающей направленности: «Язык — это созданный людьми код, специально приспособленный для обмена информацией... Все члены общества оказываются погруженными в объединяющую их информационную среду (т.е. культуру. — Н.С.)... Таким образом, информационно-семиотическое понимание оказывается логически вытекающим из синергетического подхода к обществу [4: 321].

Авторы усматривают фрактальность культуры в подобии ее как коллективного интеллекта асимметрии полушарий головного мозга отдельного человека. Но эта же асимметрия отражается и в языке как явлении культуры с его интеллектуально-логической и эмоционально-образной подсистемами.

Базовые концепты синергетики трансформируются в структуре текста Ф. Искандера «Одержимость истиной» [3] как два типа мировой литературы — «литература дома» и «литература бездомья». Первый гештальт служит образным представлением «достигнутой гармонии», второй — «тоски по гармонии»: «Интересно, что в русской литературе эти два типа художников появлялись нередко в виде двойчатки, почти одновременно», первый тип обеспечивал «жизнь читателя под крышей дружеского дома», второй — «над бездной» (это еще один гештальт концепта хаос). Для литературы дома, по мнению автора, характерна преимущественно «мудрость», большая детализация «домашней утвари» (в персониферу этого концепта входят имена Пушкина, Толстого, Ахматовой), для литературы бездомья —

преимущественно «ум, дальновидность, динамизм кругозора» (Лермонтов, Достоевский с его «Бесами», Цветаева). Автор исповедует принятую в синергетике идею целостности мира, циклического, а не линейного времени, проявления которого ищутся в настоящем: «И вся серьезная русская и европейская литература — это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарию этому никогда не будет конца».

В силовое поле концептов синергетики попадают этические понятия добра и зла, верха и низа, создающие в литературе «этическое напряжение», развивающие «нравственные мускулы»: «дело художника — вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной». Как видим, «смысл» применительно к литературному тексту выступает как синоним «гармонии». Другие ее текстовые маркеры у Ф. Искандера — «Бог, талант, красота, вдохновение, честность, правда, нравственность, природа, истина, одержимость, смелость, утешение, брезгливость, культура, цивилизация, покаяние». Текстовыми сигналами хаоса служат номинации «неискренность, греховный, отвратительный, хамство, дерзость, наглость, грубость».

Любопытна авторская рефлексия над энантиосемией значений слова «дерзкий», выдержанная в синергетическом ключе мотива о флуктуациях хаоса: «...В связи с наступающим хамством... Насколько я помню из литературы, в конце 18 и начале 19 века слово “дерзость” имело отрицательный смысл. Говорили: “Повар надерзил. Пришлось отправить его на конюшню”. Уже у Даля, конечно, в связи с развитием живого языка, это слово имеет два практически противоположных смысла. *Дерзость — необычайная смелость. Дерзость — необычайная наглость и грубость.* С начала 20 века положительный смысл этого слова, в сущности, становится единственным. Чем больше хамство побеждало в жизни, тем более красивым это слово выглядело в литературе. И уже невозможно ему вернуть первоначальный смысл. Иногда люди, не замечая комического эффекта, противопоставляют это слово первоначальному смыслу: “Наглец, но какой дерзкий”, — говорится иногда не без восхищения. Таким образом, слово “дерзость” — *небольшая филологическая победа большого хамства.*»

В синергетических терминах осмысливается не только филологическая, но и все другие стороны жизни, истории страны. Синергетически мыслящий человек — это человек играющий, разрушающий стереотипные представления и утверждающий новую онтологию. Ср.: «В России был величайший *гармонический поэт, а гармонии* никогда не было. Но раз *Пушкин* был в России, значит, *гармония* в России в принципе возможна. Почему же ее нет? Выходит, мы плохо читали Пушкина. Особенно политики... *Пушкин* — наш последний шанс. И если мы еще иногда способны шутить, это тоже *Пушкин*». О том, что Пушкин — «наше все», свидетельствует и его высказывание о ключевом понятии современной синергетики — случае, случайности как одном из видов порядка: человек «видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, но невозможно ему предвидеть *случая* (курсив А.С.П. — Н.С.) — мощного, мгновенного орудия *провидения*» [12: 324].

Проблема синергетически мыслящего субъекта отчетливо обозначена и решается при обращении к «первичным», наиболее естественным литературным жанрам, каковыми являются эссе, дневники, письма. Недавно опубликована переписка Д.Е. Максимова с Ю. Лотманом [12]. В письме 1984 г. Ю. Лотман ставит целый ряд вопросов организации сложных, нелинейных, самоорганизующихся систем, выходящих на собственные аттракторы, «стратегии поведения»; определения границ детерминации и свободы (т.е. порядка и хаоса). Одна из таких систем — художественный текст: «Механизм, в котором каждая часть *детерминирована* именно как часть и, одновременно, *свободна* как целое, включается в сложные, переплетенные комплексы более общих поведений и имеет свое собственное поведение (вплоть до *свободы не быть* (курсив автора. — Н.С.), определяет и место биографии в культуре. Наиболее совершенным примером того, как увеличение контекстных связей не связывает, не замораживает, как это бывает в механическом мире, а раскрывает и освобождает, является художественный текст. Чем больше пересечений и “связей”, тем выше непредсказуемость его прочтения. Движение культуры — превращение *биографии в творчество*». Две последние номинации служат текстовыми синонимами соответственно жесткой детерминированности и свободы, насильственного порядка и креативного хаоса.

Ср. иное истолкование концепта «биография» у М. Жванецкого (телепередача «Дежурный по стране»): то, что хотели с нами сделать — судьба, а то, что получилось — биография. Ю. Лотман говорит о различных типах причинности «в *стабильных системах, с константным уровнем информации, и в системах подвижных, динамических («играющих») — с возрастанием информации*». Именно метафора игры характеризует синергетические системы, системы «самовозрастающего Логоса»: «Первые самодовлеют и имеют симметрические структуры. Вторые — симметрично — асимметричные... то, что разнообразные *асимметричные структуры мира* суть механизмы разнообразных недоступных для нас форм интеллектуальной жизни, мне представляется естественным... Я же думаю, что и вне погруженности в мировое интеллектуальное пространство никакая индивидуальная интеллектуальная жизнь невозможна».

С приведенным выше мнением Ф. Искандера о вневременности содержания библейских текстов перекликается мысль Ю. Лотмана о единстве культурного пространства: «Прошлое и будущее — одна структура. Пока есть настоящее, прошлое не прошло». Ср. синергетическое истолкование этой вневременности этических норм: «Крушение идеала оказывается *возмездием* (курсив авторов. — Н.С.) за нарушение общечеловеческой морали. Отвергая идеал, общество восстанавливает подорванную в ходе его реализации мораль. Это акт самозащиты общества, в котором проявляется его способность к саморегуляции и самоорганизации [4: 361].

Применительно к филологическим явлениям синергетическое понятие хаос у А. Гениса [2] преломляется как «*абсурд, административный буквализм, эксцентрический номер*» и с помощью медицинской метафоры «*гермафродит*». В терминах синергетики открытая сложная система взаимодействует со средой, черпая из нее вещество, энергию, информацию. Для слова такой средой выступают лингвистические и экстралингвистические знания субъектов коммуникации — говорящего и адресата. Так, среда влияет на осмысление необычного употребления родовой формы женского рода имени собственного как японской фамилии на *-а*, что и используется для показа абсурдности среды и автором, и интерпретирующим его литературоведом. Ср. у В. Попова: «— *Синякова*, — ткнув мне руку, про-

бормотал он. В машине я спросил режиссера, не японец ли он. Тот отвечал, что нет. Просто решил взять фамилию жены. Когда получил паспорт, там было написано: Синякова. «Но ведь вы просили фамилию жены», — объяснили ему». Комментарий А. Гениса: «Гермафродит, рожденный административным буквализмом, — типичный персонаж Попова. В тексте он ничего не делает, появляется *случайно* и ненадолго, а главное — исчерпывается содержащимся в нем *зарядом абсурда, тем эксцентрическим номером*, ради которого его взяли в повествование». В. Попов рассматривается как играющий со словом писатель, и средствами такой игры выступают «лексические сгустки» для внутреннего употребления («Он в Сочи. Сочиняет. Ржавые баржи. Бомжи»), «лексические инвалиды» («Когда я на почте служил ящиком», «шестирылый Серафим»), «игра с буквами», полная для Попова «высшего, ритуального значения» («а-тю-тю-женный» или «неконвертиру — е-мое»).

По словам А. Гениса, эти лексические аномалии «служат пропуском на волю. Минимальный сдвиг смысла ведет автора в параллельную вселенную, где он получает магическую власть, позволяющую переплавлять жизнь в искусство». Сигналами прорыва в хаос, в параллельную вселенную, в иные миры выступают оговорки, аллитерации, случайные на первый взгляд звуковые сближения, рождающие новые смыслы, не равные сумме предшествующих: «Только прозу, единицей которой является не действие, не поступок, не дело, а *слово*, следовало бы назвать *словесностью*».

«Лики» синергетически мыслящего субъекта осмысляются в «филологическом романе» А. Гениса, относящемся к личности и творчеству С. Довлатова [1]. В терминах гармонии определяется соединение юмора и страха, характерное для прозы С. Довлатова: «Юмор и страх внеположны друг другу, но, соединяясь, они образуют *динамичную гармонию*, составные части которой примеряются, не теряя своего лица (вспомним здесь о подсистемах Ю. Лотмана. — *Н.С.*)». Идея вневременности, единства бытия соединяется с лексической разработкой национально специфического концепта «тоска»: «Тоска — это осознание *предела, о существовании которого в юности только знаешь, а в зрелости убеждаешься*. Источник тоски — в безнадежной *ограниченности* твоего опыта, которая саркастически

контрастирует с *неисчерпаемостью бытия*. От трагедии тоску отличает *беспросветность, потому что она не кончается смертью*. “Печаль и страх, — пишет Довлатов — реакция на время. Тоска и ужас — *реакция на вечность*”».

Лексическими экспликаторами распада системы, ее разрушения, хаоса выступают члены текстового ассоциативно-семантического поля ключевого слова «бытие»: время, предел, ограниченность, беспросветность, смерть, тоска, печаль, страх, ужас, а сигналами ее гармонии — неисчерпаемость, вечность. Далее в это ассоциативное поле, рисующее предпочтения художника, попадает слово «жизнь» и номинации разнообразных гештальтов базовых концептов, входящих в концептосферу автора: «Для художника прелесть тоски в том, что она *просвечивает сквозь жизнь, как грунт сквозь краски*. Тоска — *дно мира*, поэтому и идти отсюда можно только *вверх*. Тот, кто *поднялся*, не похож на того, кто *не опускался*». Не случайна здесь ссылка на тютчевский текст: «О, бурь заснувших не буди. Под ними *хаос* шевелится». Секрет авторствования, писательства А. Гениса рисует с помощью разнообразных гештальтов: «Становясь писателем, автор *до последней капли отжимает* из жизни все, что не является литературой. Но и тогда вместо *входного билета ему достается лотерейный*». Семное речевое варьирование значения слова билет, выступающее в устойчивых словосочетаниях, связано с актуализацией, усилением яркости семы обязательности — в первом случае, семы проблематичности вхождения в литературу — во втором.

Особое место в описании концептосферы С. Довлатова занимают базовые концепты синергетики — порядок и хаос. Первое осмысляется автором парадоксально: «в перестроечной России он отдавал предпочтение не авангардистам и частникам, а *официальным государственным издательствам*. “Хочу получить сдачу, — говорил Сергей, — там, где обсчитали”. Им руководила жажда не *мести, но порядка, что, впрочем, одно и то же*». Казалось бы, разрушительное начало — месть — способствует борьбе с насильственным официальным порядком в выходе системы на новый уровень самоорганизации, но, по Довлатову, необходима гармония справедливости, воздаяния по делам его. Повесть «Компромисс» написана, «как и все остальные книги Довлатова, о другом — о распределении *порядка и хаоса*

в мироздании... «Основа всех моих занятий, — писал он, — любовь к порядку. Страсть к порядку. Иными словами — ненависть к хаосу».

Напомним, однако, что А.Генис и порядок рассматривает как частный случай хаоса, в соответствии с синергетическими представлениями о сгущении материи, вещества и энергии в определенных точках пространства. Это относится и к способам искусственного самоограничения: «Впрочем, и в Прибалтике порядок — не антитеза, а частный случай хаоса, его искусственное самоограничение... В поисках большей однозначности Сергей наткнулся на честное балтийское простодушие... Эстония у Сергея — страна буквализма, где все, как в математике, означает только то, что означает».

Концепция порядка как частного случая хаоса в лексической структуре текста филологического романа эксплицируется через номинации: ошибка с ее гештальтом след, ветер свободы, пороки, преступления, дурные привычки, аморальный мир с его гештальтом отверстие в броне, под последней подразумевается ненастоящий, фальшивый, искусственный, безжизненный порядок, «зона, огороженная повествовательной логикой»: «У Довлатова ошибка окружена ореолом истинности. Ошибка — след жизни в литературе. Она соединяет вымысел с реальностью, как частное с целым». «Несовершенство самой человеческой природы» объясняло внимание С. Довлатова к «абсурду». «странностям жизни», «семантическим туманностям», «едва заметным сдвигам рациональности, которые коварно, как подножка (еще один гештальт случайности. — Н.С.), выводят душу из равновесия».

Флуктуации хаоса нарушают стабильность сложной, динамической, неравновесной системы, расшатывая ее, ведут к новой ее самоорганизации более высокого уровня. Здесь проявляется креативная роль хаоса, поэтому точность, пртивостоящую «необязательности слова», Довлатов считал «необходимым свойством бессмыслицы и абсурда», «первым признаком гения» (каковым считал Д. Хармса). С. Довлатов не боялся показаться смешным и слабым, ставил себя вровень с читателем: «Все силы Довлатов тратил не на то, чтоб ему помочь, а на то, чтобы не помешать. Эта философия недеяния порождена «уважением к не нами созданному» и сознанием невозможности из-

менить состояние абсурдного мира: «Бороться с враждебными обстоятельствами — все равно, что поднимать парус в шторм. Поэтому свое несогласие с положением дел Довлатов выражал тем, что не пытался их изменить... Сергей считал, то человек не может быть хозяином своей судьбы, чужой — другое дело». Пунктуационно эта философия выражалась в том, что «он стал рекордсменом *многоточий* (символ недосказанности, невмешательства. — Н.С.), эстетически — в любви к джазу, «потому что он сам занимался искусством, согласным впустить в себя хаос, искусством, которое не исключает, а переплавляет ошибку, искусством, успех в котором определяют честность и дерзость».

К концу книги в характеристике этих черт писателя А. Генис все чаще прибегает к синергетическим номинациям: самым честным писателям «приходится признать существование хаоса, страдать от него, сжиться с ним, научиться его уважать, даже любить и терпеливо ждать, когда — и если — в нем откроется скрытый от непросветленного взгляда порядок. Довлатов знал цену «чудодейственной силы абсурда, но мечтал он о норме, которая тоже вызывает ощущение чуда. Норма — это и начало, и конец пути... мир впускал художника в себя, открывая ему неизбежность своего с ним единства», поэтому в финале «Заповедника» Довлатов пришел туда, где «случайное совпадает с необходимым: «Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все совершалось на моих глазах»».

Понимание единства мира сопровождается «уважением» к истокам, к его биологической основе, объясняющей такие сложные явления психики, как ностальгия, патриотизм, если использовать концептуальный аппарат синергетики с ее теорией резонансных воздействий: «Любовь к родине — это рефлексивное физиологическое узнавание (в другом месте — чувство физической привязанности. — Н.С.), резонанс внешней природы с той, которая растворена внутри нас. Поэтому патриотизм рождает самые сильные и самые стойкие привязанности: борщ труднее разлюбить, чем Достоевского, не говоря Солженицына. Патриотизм неизлечим, потому что он неотделим от почвы в куда более прямом смысле, чем считают «почвенники». Любовь к родине, действуя в обход сознания, возвращает нас даже не к животным, а к растениям».

Таким образом, в текстовое ассоциативно-семантическое поле концепта «патриотизм» включается цепь номинаций, развивающих идею о единстве сложной, живой, самоорганизующейся системы, о единстве сознания и подсознания субъекта.

С использованием соответствующих терминов синергетики рисуется и внимание С. Довлатова к флуктуациям хаоса, имеющим большие следствия: «...он наслаждался *нелинейностью искусства: микроскопические перемены в тембре и тональности влекут за собой катастрофические по своему размаху последствия*. Так, трижды рассказывая историю своей женитьбы, Сергей каждый раз получал другую супружескую пару, лишь смутно напоминаящую то, что я знал». Такими вариациями «на заданную тему» послужил текст главок повести «Чемодан»: «Лапидарный, как приговор, и емкий, как Ковчег, этот образ вырос в символ эмигрантской жизни, не переставая быть чемоданом». «Самовозрастающий Логос» текста передан с помощью когнитивных понятий образа и символа. Система терминов синергетики используется автором в истолковании коллективного бессознательного, со сферой подсознания А. Генис связывает «архетипические черты» героев Довлатова («Наши»). Объяснительная сила этой междисциплинарной науки позволяет автору истолковать сущность литературного процесса и даже таланта: «Секс — универсальная метафора. Это — нижняя точка *траектории*, по которой катится наша жизнь... (дно. — Н.С.) в теории хаоса называется *аттрактором*... В литературе таким *аттрактором* является талант. В конечном счете — к нему сводится все... Животная природа художественного дарования всем нам казалась беспорочной».

Глобальный антропоцентризм художественного текста как текста, написанного человеком о человеке и для человека, обуславливает и особенности построения ассоциативно-семантического поля субъектных концептов разного ранга: оно может включать в себя номинации самых различных сторон универсума, «проходящего» через человека, частью и частицей, фракталом которого человек является. Ср. у А. Наймана: «А «как влито» — и конкретной земле, и пространству, и человеку — была *изба*. Андрей видел себя как *очертание расходящихся на воде кругов* (гештальт человека. — Н.С.): сердце — костяк — кожа — рубаха — тулуп — изба» (Все и каждый [10]).

Этот ряд номинаций можно продолжать до бесконечности. Ср. хотя бы фрагмент из «Новой книги жизни и мудрости» А. Курчаткина [7], выводящей на серию концептуальных признаков, сближающих человека и животных: «Опять о животных. Как известно, *козлы* любят капусту и *пускать их в огород* с этим овощем никак нельзя. *Козлы*, однако, не меньше любят кору *молодых деревьев*, и к ним их тоже нельзя подпускать. *Козлы*, кроме того, вообще *лезут* туда, куда их не просят. *Козлы* *вздорны, драчливы и, в отличие от коз, не дают молока*. Вот почему о *всяких тупых, надоедливых людях, которые всюду суют свой нос, но лучше бы сидели и не возникали, говорят коротко и внятно: козлы!*» У того же автора концепт «человек» разрабатывается через темное речевое варьирование имени собственного, лежащего в основе текстового обеднения концептуальных признаков, сужения их состава и создания подтекста: «Как известно, все *рыжие коты* в России теперь *Чубайсы*. Почему *Чубайсы* — это понятно. Непонятно, за что такое предпочтение семейству кошачьих. Разве собаки не столь достойны? И среди них встречаются *рыжие*».

Как мы уже видели, в синергетическом истолковании мира автор (артеавтор, ментеавтор) прибегает к приемам и методам когнитивистики. Так, использование слова «гарнир» как номинации гештальта концепта закономерность, противостоящего главному синергетическому концепту «случайность», понадобилось автору для истолкования концепта «судьба»: «— Это уже на случайность и совпадение не похоже. Я попытался ей возразить. Мол, *случайности еще и не такие случаются. И совпадения тоже. Поскольку из случайностей и совпадений любая человеческая судьба и состоит. Именно из них. Остальное — гарнир* (А. Хургин. *Нюанс* [14]). Своеобразным текстовым синонимом случайности выступает и заглавное слово нюанс, фиксирующее динамику, флуктуации хаоса. Иную направленность использования обнаруживает упомянутый выше гештальт гарнир в эпиграфе к эссе А. Наймана и Г. Наринской «Процесс еды и беседы», здесь он используется для шуточного объяснения лингвистического термина [11]: «*Гарнир* — только к чему-то, сам по себе не существует и есть, следовательно, *имя прилагательное*». Тайный словарь Академии Наук». Способом привлечения внимания читателя у «играющих» со словом авторов

выступают наивнолингвистические представления адресата, ведущие к смешению вещи и слова, бытовые ассоциации.

Лексическая структура текстов выводит на концептуальные признаки разрабатываемых концептов с учетом прогностической функции языка как саморазвивающейся системы. Единство реальности в теории универсального эволюционизма (другое название синергетики), включающее и «жизнь после смерти», делает достаточно ограниченными возможности естественного языка, продуцируемого трехмерностью воспринимаемого человеком пространства. Преодолеть эту ограниченность позволяет обращение автора к аллигатурам — объединениям слов по общности не только корня, но и других морфем, выводящим на концепты «смерть», «небытие». Этот механизм использован в одном из последних произведений М. Чулаки «Осколки памяти печальной» [16]: «Я уже не понимал толком, сколько прошло земного времени после много неожиданного сюда *прибытия*, а что же говорить о старжилах... Кстати, уместно ли здесь слово “старжил”? Как определить, что делают здесь души, если не живут? — *Прозябают*, — тотчас включилась Надя. Наверное, так, если не слышать в глаголе “прозябать” явственного корня зябнуть, потому что о тепле и холоде здесь тоже нужно забыть. Наивные представления об адских жаре и пламени должен отставить сразу всяк сюда входящий». Ассоциативно-деривационные связи глагола прозябать и зябнуть подчеркнуты текстовыми сближениями слов «тепло, холод, жара, пламень, уводящими от былого значения (ср. в поэзии: “и дольней розы прозябанье”»).

Текстовая антонимия глаголов жить и прозябать подчеркнута и противопоставлением системных гипо-гиперонимов «существование» и «жизнь» в противительной конструкции, первый из которых становится текстовым синонимом слова прозябанье: «Может быть, она очень справедливо оценивает здешнее *существование* (ведь не подумаешь здешнюю *жизнь*, потому что не *жизнь*, это же ясно, а именно *существование*)»).

Аллигатура включает в себя не только словообразовательные гнезда, но и ряды слов, имеющих общие аффиксы, что еще больше расширяет прогностические возможности сближения слов по форме в описании концепта «бытие, существование»: «Может быть, лучше раствориться совсем, чем таскать на себе

только осколки памяти. Не *бессмертие*, а нудное *послесмертие*. Как *послевкусие* после хорошего обеда». Так совершенно неожиданно (и в то же время вполне мотивированно) обед становится гештальтом концепта «жизнь».

Живые, саморазвивающиеся, нелинейные системы, их источник имеют самое различное обозначение в лексической структуре текстов: это и глубина, и Слово, и живое: «Одинок прочерченный путь — это путь в *глубину*, которая говорит сама. В этом смысле — сама является *Словом*. Мы заучили, что *Слово* — это *Бог*. Но *Бог* есть особое слово, приходящее не извне, а изнутри: *Слово*, которое нельзя подсказать, списать откуда-то. Ниоткуда не спишешь, пока не взойдет из *Глубины*». Бог — это «единая для всего *живого Глубина* (З. Миркина [9]). Значимость концептов подчеркнута и их фреймовой организацией, и написанием их названий с прописной буквы, и антропоморфными и растительными метафорами, и номинациями пространственных гештальтов: путь, извне, изнутри, откуда-то, ниоткуда. Уместно здесь вспомнить известное изречение В.А. Жуковского о том, что нет ничего в языке, чего бы не было в области мысли, т.е. в концепте, в эйдосе, в «Глубине». Слово здесь предстает и как «Логос», идея, всепорождающая Глубина, Бог. Ср. в другом тексте у другого автора: «Система, особенно сложная, многомерная система, утратившая единое начало, общее основание и фундамент, неизбежно идет вразнос... Неисчерпаемо лишь *бесконечное, всеобъемлющее, т.е. Бог*, значит, без такого *высшего регулятора и высшего начала* сохранять себя дальше *социуму* будет весьма затруднительно» [15].

Во всех рассмотренных случаях текстовому субъекту был органически присущ синергетический способ мышления, так или иначе проецирующийся в лексическую структуру текста.

Однако некоторые художественные тексты лишаются своего гармонизирующего, «утешающего», по Ф. Искандеру, начала вследствие слабой лингвистической компетенции автора, мало думающего об «истине». Примером тому может служить использование лексических анахронизмов, вызывающее недоверие читателя к текстовому субъекту-артеавтору. Так, в повести Эллы Медяковой [7] описывается советская школа 50-х годов. В диалоге ученицы — героини рассказа — с классом читаем: «— Девки, ликуйте! Оливера наша распрекрасная опять изво-

лила захворать! Пусть ваши грешные *уши* отдохнут от ее *лапши*». Здесь явная трансформация фразеологизма наших дней «вешать лапшу на уши». Его введение в текст, как и современного заимствования «имидж» в речь учительницы, нарушает гармонию лексической структуры текста: «Обозревая рассеянным взором школьные стены, окна и фикус на подоконнике, она добавляла: — Ищите свой собственный имидж, а не скачите, как примитивная обезьяна по джунглям».

Здесь отражены лишь некоторые текстовые аспекты языковой категории персональности. Человек, пространство, время, выступая неотменимыми координатами бытия, нуждающегося в наблюдателе, находящемся здесь и сейчас, в том или ином хронотопе, обуславливают сквозной антропоцентризм текста и служат его содержательными универсалиями, отражающими место человека и его языка в трехмерном пространстве и в универсуме.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Генис А.* Довлатов и окрестности. Филологический роман. — М., 2000.
2. *Генис А.* Ленинградская словесность и московская литература // Октябрь. 2003. № 8.
3. *Искандер Ф.* Одержимость истиной // Нева. 2004. № 5.
4. *Кармин А.С., Новикова Е.С.* Культурология. — СПб., 2004.
5. *Князева Е.Н.* Топология когнитивной деятельности // Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000.
6. *Копелиович М.* Рецензия // Новый мир. 2004. № 10.
7. *Курчаткин А.* Новая книга жизни и мудрости // Нева. 2003. № 8.
8. *Медякова Элла.* Воспитание — дело тонкое, или История прекрасной Оливеры // Нева. 2004. № 7.
9. *Миркина З.* Что такое великое одиночество? // Нева, 2003, № 8.
10. *Найман А.* Все и каждый // Октябрь. 2003. № 2.
11. *Найман А., Наринская Г.* Процесс еды и беседы // Октябрь. 2003. № 8.
12. Переписка Д.Е. Максимова с Ю. Лотманом // Звезда. 2004. № 12.

13. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. — М., 1962.
14. *Хургин А.* Нюанс // Октябрь. 2003. № 2.
15. *Чубайс И.* Что после свободы? // Нева. 2003. № 3.
16. *Чулаки М.* Осколки памяти печальной // Нева. 2003. № 8.
17. *Эко У.* Имя розы. — СПб., 2000.

2.3.2. Уровни психической активности сознания субъекта и текстовая лингвосинергетика

Для анализа лексической структуры текста в аспекте синергетики представляет интерес *квалификация психических состояний субъекта как неравновесных систем*. Отмечается разный энергетический уровень состояний психической активности и их качественная специфика, они поддаются шкалированию, и эти градации отражаются в языке и тексте на разных уровнях его организации, включая тематический, образный, композиционный. В качестве «нулевой точки» рассматривается относительно равновесное состояние покоя, состояние средней (оптимальной) психической активности. Ему соответствуют, по А.О. Прохорову [1], состояния спокойствия, симпатии, сострадания, эмпатии, готовности, борьбы мотивов, сосредоточенности, озарения (инсайта), заинтересованности, сомнения, удивления, размышления, озадаченности и др. По линии повышения уровня психической активности отмечаются состояния счастья, восторга, экстаза, тревоги, страха, гнева, ярости, ужаса, паники, страсти, ненависти, восхищения, мобилизации, воодушевления, дистресса, негодования и др. По линии понижения уровня психической активности шкала указывает на состояния грез, подавленности, грусти, печали, тоски, горя, страдания, усталости, утомления, монотонии, скуки, прострации, рассеянности, релаксации, кризисное состояние.

Разные уровни психических состояний субъекта коммуникации, который выступает как субъект наблюдения, мысли, воли, чувства, действия, речи в текстопостроении, обнаруживают себя в таких содержательных универсалиях текста, как

человек, пространство, время. Эти категории считаются базовыми в отношении человека и универсума, основными координатами бытия человека в пространственно-временном континууме, определенном хронотопе. Лексическое структурирование уровней психической активности и их преломление в содержательных универсалиях текста оказывается связанным и с такими *элементами композиции текста*, как его *стиль, жанр, портретные зарисовки (включая психологический портрет), интерьер, пейзаж, эпизод как часть сюжета* и др.

Рассмотрим реализацию психических состояний как неравновесных систем в лексической структуре текстов записей разных лет Георгия Семенова под общим названием «Поэзия возвращения» [2]. Текст привлекает не только словесным мастерством автора, но и разнообразием затрагиваемых тем и сюжетов, представленных в обозримых текстовых фрагментах различных типов (описание, повествование, рассуждение), наблюдение над которыми позволяет сделать более определенные выводы по интересующим нас вопросам.

Лексическая структура текстовых фрагментов, выделенных как отдельные микротексты, обнаруживает прежде всего *непрерывность психического пространства автора и описываемых персонажей*; и те градации, которые отражают уровни психической активности и соответствующие им психические состояния, редко предстают в «чистом виде», оказываясь по большей части способом конструирования психической реальности, ориентирами в ее пространстве.

Примечательно, что *относительно равновесные состояния*, соответствующие среднему (оптимальному) уровню психической активности сознания, обнаруживают прежде всего *пейзажные зарисовки, передающие гармонию человека и природы, их вхождение в резонанс, включение природы в личностную сферу говорящего, чувствующего, размышляющего и действующего субъекта*. Ср. размышления автора о согласованности ритмов природы и человеческой цивилизации: «Прошлым летом мать-и-мачеха все затянула, а потом вдруг поднялся и расцвел желтый и белый донник. Нынешним — клевера очень сильные, и дудка известковыми цветами побелила опушки и луга. А донника как будто и не бывало никогда.

Так и человеческие цивилизации сменяют друг друга по высшим каким-то законам, не подвластным людскому разумению. И как ни кичись, как ни ратуй за свою жизнь, если настал час угаснуть ее духу, ничем уже не оживить ее. Даже усилия могучих и честных умов не помогут. А о кликушеских пророках с неоповинистской дубинкой в руках уж и говорить не приходится. Все тщетно».

В основе сопоставления — родовидовые номинации растений и фаз их появления, цветения, исчезновения, а также наименования этапов человеческой жизни, культуры и их динамики (сменяют, угаснуть, не оживить). Противодействие законам эволюции, по мысли автора, обрекает на неудачу любые усилия.

Состояние удивления перед тайнами мироздания пронизывает и другие пейзажные описания: «Тень и свет в летнем саду, как земля и небо, — косые лучи света и яркие листья в солнечном луче, а рядом — темно-зеленая тень таких же листьев и такой же хвои. Тайна в этом великая!». Помимо семантических признаков, участвующих в противопоставлении слов текста, способом выражения состояния удивления, озадаченности выступает и само слово «тайна», побуждающая говорящего к ее раскрытию, и восклицательная конструкция, и сравнительный оборот, выводящий на новый уровень обобщения.

Визуальные образы становятся способом выражения самых разнообразных относительно равновесных, устойчивых состояний: спокойствия, эмпатии, сосредоточенности, как в следующих фрагментах:

- «Сегодня опять подморозило, утренним туманом текли мутные тучи, сквозь которые просвечивала солнечная си-нева, отчего небо казалось туманно-синим. На снегу вспыхивали и меркли солнечные лучи (длинное согласование сем. — Н.С.). А в воздухе поблескивали крохотные звездочки, которые, сев на одежду, какое-то мгновение светились во всей красе, но вскоре свертывались в крошечную капельку и пропадали навсегда». Красота «мгновения» на краю вечности передана через глагольную и именную лексику с семантикой светоизлучения, а сострадание, сопереживание недолговечной красоте выражено с помощью уменьшительно-ласкательных форм

имен существительных и «размерных» прилагательных с эмотивными коннотациями.

- «Над зелеными макушками берез, трепещущих под ветром, в голубом небе вершина облака, похожего на вершину заснеженной горы. И кажется, что небо и облака неподвижны и величавы, а все на земле волнуется и бежит, стремится, беспокоится, что жизнь земная и шумлива и суетлива перед лицом вечного покоя... Живу здесь во Внукове, ничего кроме леса, кроме деревьев не вижу... Мы тут с Леной нянчим внука и работаем». Состояние спокойствия, гармонии с природой, самим собой и людьми передано с помощью описания неба, высот вечного, спокойного в противоположность суете и шуму земной жизни.
- «Лес совсем разорился, листья с деревьев летят стаями при самом легком дуновении ветра. Все дороги забиты листьями. Дубы обнажились, стоят корявые и черные. Березы полуголые с желтыми крапинками оставшихся листьев. И только куст какой-то, простоявший все лето зеленым, к этому времени словно бы только выцвел немножко, стал бледно-зеленым, ярким и вызывающе красивым среди всеобщего разорения». Умиротворяющее действие красоты, вызывающей удивление по контрасту с всеобщим разорением, хаосом, описано не только с помощью эмотивно отмеченной лексики, но и с привлечением необычных семантических сближений на базе исходных антонимов бледный — яркий: «бледно-зеленый — яркий».

Это действие обнаруживает и антропоморфное описание человеческого пространства с использованием сравнений и эмотивно заряженной лексики: «Дом в белых резных наличниках, резных карнизах, в ажурных украшениях, похожих на снежный морозный иней, который обметывает лицо человека, усы, глаза и каемкой ложится на мех шапки. И сразу что-то живое, теплое, омытое теплым дыханием, что-то очень родное и близкое видится в таком доме, который, как старый добрый дед на морозе, манит в свои объятия в свое рукотворное тепло, в душевный покой и радость бытия». Уже в этом текстовом фраг-

менте мы замечаем динамику уровней психической активности, переход от покоя к радости, т.е. *отклонение от состояния средней психической активности*. Еще более очевидны такие смещения, а иногда и *синкретизм разных состояний* в следующих зарисовках:

- «Восход солнца свекольно-розовый, или, точнее, как вино холодное в рюмке сквозь запотелость стекла. Вороны и воробьи заглушают шум резиновых шин. Весна только-только... А солнце, пока писал эти строки, уже всем своим шаром выкатилось на небо, сделало свое дело — обуглило, подернуло в серый пепел дома, над которыми оно разгорелось в слепой своей красоте. Жизнь опять манит своей красотой: сердце трепещет от нежной печали. Ах, ах, ах!» Обращает на себя внимание здесь прямое название состояния «нежная печаль», поддержанное троекратным повтором междометия как средства экспрессии.
- «Миллион миллионов раз кружились в воздухе сорванные ветром желтые листья и столько же раз люди смотрели на эти мятущиеся листья, и душа их, радуясь красоте, сжималась от пронзительной печали. И вот что удивительно! Много раз написано уже об этом и в стихах, и в прозе, а все равно надо об этом писать. В литературе нет закрытых тем — все они только чуть-чуть приоткрыты гениями, но время опять и опять закрывает дверь, ведущую к истине и красоте. Задача художника постоянно держать ее открытой или хотя бы полуоткрытой, чтобы не было темно». Радость, пронзительная печаль, удивление — *итог малого резонансного воздействия истины и красоты природы, подводящей энергию для самоорганизации психической сферы человека-художника*, своим словом открывающего дверь к истине и красоте, «чтобы не было темно». *Слово осмысляется как свет, противостоящий тьме хаоса, энтропии, забвения*.

Как уже было показано, устанавливается определенная *корреляция между* избранной автором *темой* и *отражением* в лексической структуре текста того или иного *уровня психической*

активности сознания и соответствующего ему состояния (даже вне зависимости от функционально-смыслового типа речи, которым тема оформляется). Так, в освещении *темы живой природы*, особенно животных и маленьких существ, преобладают *мотивы сострадания, эмпатии, заинтересованности, удивления*, соответствующие *относительно равновесному состоянию*. Рассмотрим способы его выражения в некоторых фрагментах.

- «На вечерних зорях нет-нет да пролетят вальдшнепы. Над Ликавой селезни с утками по вечерам. Жалко селезней, они подлетают и даже садятся, дурачки». Слово категории состояния, обособленное приложение в уменьшительно-ласкательной форме, причинные отношения, мотивирующие чувство сострадания, жалости, выраженные синтаксически, — таковы здесь средства экспликации состояния.
- «Тишина под ночным небом, озаренным близкой Москвой, а в этом мутно-черном небе свист утиных крыльев. Видимо, с высоты им хорошо видны реки, озера и ручейки, над которыми они пролетают. Наверно, им это приятно — лететь в ночном небе, в его темной безопасности, и знать, что им ничто *не угрожает*». Спокойствие, сопереживание птицам, заинтересованность в их судьбе, размышления над ней переданы не только лексикой, содержащей эмотивные семы в качестве актуальных или потенциальных, но и вводными словами, сопровождающими рассуждение и выражающими заинтересованность автора в предмете речи.
- «Щенок на собачьих унтах спит так безмятежно, словно ощущает тепло матери. А если вдуматься, трагическая ситуация — на шкуре убитой лайки или двух ездовых собак, из которых изготовлены унты, спит собачье дитя... Если бы он знал о коварстве людей! Загрыз бы! Получается, что новая жизнь, как трава, пробивается из жизни ушедшей, на бранных останках былой жизни. Новая жизнь ловит тепло жизни бывшей. Только так и бывает: смерть жизни — это еще не конец, а, наоборот, начало другой жизни». Ощущение трагизма ситуации преодолевается осознанием взаимобратимости процессов

жизни и смерти, порядка и хаоса, рождения нового порядка из хаоса смерти.

- «Самец трясогузки, токуя, подлетел, как маленький вертолетик, трепеща крыльшками, к сидящей на земле самке, а сев, распушился перед ней, поднял распущенный, как у павлина, хвост и был неподражаем в своем любовном экстазе. Деревья все уже оделись молоденькими, маленькими листьями — воздух благоуханен. Трава нежная и сочная, земля душистая». Умиление красотой природы, удивление ее гармонии передается и уменьшительно-ласкательными формами, и эталонными сравнениями, и прилагательными с эмотивными и оценочными коннотациями, связанными со зрительными, обонятельными, тактильными ощущениями человека, находящегося в состоянии психологического комфорта.
- «С первым морозцем прилетела на кормушку сойка и стала жадно хватать все, что там было: пшено, кусочки хлеба, а кусочек мясного жира унесла. Голод — не тетка! Видела меня, но торопилась перехватить что-нибудь и была очень понятна по-человечески: а, будь что будет, а поесть я все-таки поем. Невмоготу уж!» Эмпатия, сопереживание голодной птице и в описании ее торопливой еды, и в формах несобственно прямой речи, наделяющих птицу способностью говорить и делающих ее «очень понятной по-человечески». Ср. еще: «Наступит апрель, прилетят вальдшнепы, и один какой-нибудь хрипун пролетит через поляну, где я его буду поджидать, и, даст Бог, промажу. Ах, скажу, какой шустрый!». Средства выражения симпатии, удивления здесь иные — шутиливо-доброжелательный тон повествования создается и образной номинацией птицы, и выбором разговорных слов (промажу, шустрый), и средствами экспрессивного синтаксиса (неожиданными по поводу данной реалии вводными конструкциями, междометием, оформляющим восклицательное предложение).

Таким образом, при всем разнообразии языковых средств выражения *природная, экологическая тема сигнализировала о состоянии оптимальной психической активности раскрывающего ее субъекта речи*.

Ср. еще:

- «Птенцы, щенки, котята — все малютки имеют примерно одинаковое выражение своих мордочек. Мордочка птенца мало чем отличается от мордочки щенка, разве только размерами. А взгляд птенца чайки похож на взгляд щенка или котенка, а раскрытая пасть щенка очень похожа (когда он зевает) на раскрытый клюв той же чайки в пуху». Заинтересованность, симпатия, сосредоточенность на теме и необычное осмысление предмета речи выразились в выборе текстового фрагмента рассуждающего типа с его приметам — тезис / посылка / доказательство, средств не только прямой, но и косвенной, эмотивной номинации детеньшей, уменьшительно-ласкательных имен, в тщательной лексической разработке деталей внешности.

Еще одна тема, близкая автору, раскрывающая *оптимальный уровень психической активности сознания, — тема творчества, писательской судьбы, предназначения художника*. Она преломляется в лексической структуре текстов, рисующих творческий и психологический портрет «собратьев по перу», и прежде всего наиболее значимых для автора, среди которых особое место занимает М. Пришвин: «Имя Пришвина возникло в те далекие годы, когда я познавал внешний мир, в котором предстояло мне жить. Звучало оно для меня так же сложно и так же просто, как облако, болото, птица или лес... Пришвин! В сочетании звуков было что-то от весеннего крика чибиса, шелеста леса, журчания лесного ручья, таинственных вздохов лесного болота или легкого, воздушного взвизгивания прилетевших в Москву стрижей... Пришвин... Он был для меня добрым другом, позвавшим меня в свой прекрасный мир, заразившим меня страстью великой охоты за самим собою, за уплывающими снами души, которые умел запечатлеть на бумаге, за той первозданной красотой, ускользающей от нашего взора, пленявшей меня в те далекие времена. По простоте душевной мне казалось тогда, что писать, как Пришвин, довольно легко... Не понимал, что он писал реальность совсем другую, не ту, какая окружает нас, он писал реальность, убегая от реальности в свое собственное Я».

Текст распадается на две части, первая из которых воссоздает воспоминания прошлого, ассоциативно связанные с именем писателя; вторая содержит размышления автора о значимости уроков Пришвина для собственного творчества. Ассоциативное поле имени собственного создается элементами звукоподражания, аллитерации (повтор шипящих), нагнетанием слов, содержащих звуковую сему, для воссоздания той картины мира, которая связывалась с именем писателя и его творчеством. Воспоминания актуализируются и с помощью именительного представления, и с привлечением номинаций природных явлений. *Гармонизирующее влияние одного художника на становление творчества другого (вспомним малые резонансные воздействия)* становится предметом размышления, рефлексии во второй части текста, где на смену образам приходят прямые оценки (ср. подчеркнутые словосочетания), косвенное цитирование, логический вывод.

Сосредоточенность на теме, ведущая к прозрению, инсайту, просматривается и в следующем тексте: «У Пришвина радость бытия неоднозначна: я живу, а потому я счастлив, — нет! У него радость выздоравливающего, недавно обреченного человека, в котором возродился вкус к жизни». Неоднозначность состояния, связанного с фактами литературной судьбы писателя, осмысливается в понятиях жизни, бытия, возрождения и смерти, «обреченности», болезни («выздоровливающего»). Ср. еще лексическое выражение состояния сострадания, сопереживания, эмпатии: «Памятник Маяковскому в Москве похож на гоголевского Собакевича. А стройный, застенчивый и красивый человек ушел в небытие, оставив свой беспокойный дух в сердцах все рedeющих год от года поклонников». Контраст качеств живого человека и его образа в памяти потомков выражен оценочными прилагательными, сравнением, фразеологией, усилительной частицей «все».

Однако не менее часто лексическая разработка указанной темы сопровождается *текстовыми сигналами неравновесных состояний, связанных с повышением и понижением уровня психической активности, иногда их чередованием и смещением*. Рассмотрим некоторые текстовые фрагменты этого типа.

- «Кто-то хорошо сказал, что талант — это лишь право находиться в комнате, где рядом с тобой сидят мастера.

Так вот, до сих пор не могу избавиться от странного чувства радости, что судьбой мне уготовано счастье находиться рядом с такими мастерами, как Абрамов, Астафьев, Казаков, Носов, Можаяев, Белов, Конецкий, Василь Быков, Распутин, Лихоносов... всех не перечислишь. Кто-то уже, как говорит Астафьев, упал, ушел о нас... Трифонов — самая горячая рана».

Воодушевление, счастье, радость сопричастия переданы и точным названием состояния, и его приблизительным описанием, и квалификацией перечисленных писателей как мастеров, находящихся рядом. Но здесь же — состояние страдания, горечи от утрат, их обозначение с помощью прецедентных текстов и метафоры. Ср. в другом тексте: «В моей жизни Трифонов оставил неизгладимый след. Горько сознавать, что нет доброго, сострадательного писателя, пришедшего к истинной зрелости своего таланта, мир без него станет немножечко злее, бездарнее». Соединение восхищения и грусти, печали имеет способом своего выражения межчастеречные системно-языковые и ситуативно-речевые антонимы, прямую номинацию состояния горечи, образные клише.

Еще более проникновенны строки, передающие всю гамму переживаний, связанных со смертью Ф. Абрамова: «Сказал Шкляревский, что в ночь на 14 мая умер Федя Абрамов. Пили за упокой его души, опрокидывали мерзкие рюмочки, не чокаясь, как полагается... Господи! А ведь я всю жизнь любил его и боялся. Вот какая странная и, казалось бы, несовместимая черта в моем характере — любил и боялся. А потому боялся, что был он безумно талантлив. Мы ведь не боимся своих каких-то мнимых начальников, которые в нашей судьбе могут сыграть, конечно, какую-то роль, но которые по сути пустые звуки, на которые не следует обращать внимания. А вот бояться и любить надо таких гигантов, как Федя, Федор Абрамов, Федор Александрович, ушедший уже от нас в такие дали, о которых знает лишь его душа, надо бояться таланта, робеть перед его удивительной силой, как мы, несчастные, робеем перед духовной силой, которая требует от нас невозможного, т.е. того, без чего нет человека. А в общем-то человек — это невозможное в наш век существо. И всем нам надо бояться и любить, читать и по-

клоняться невозможному в человеке». Многократный повтор глаголов, передающих, казалось бы, несовместимые состояния, дополнен семантически близкими глаголами *робеть*, *читать*, *поклоняться*, поясняющими мотивы сближения состояний восхищения, поклонения, доходящего до экстаза, и страха, робости перед «безумно талантливым» человеком, «гигантом», «духовной силой», рядом с которой автор чувствует себя подавленным (ср. обособленное приложение «несчастные» и молитвенное обращение «Господи!»). Разброс эмоций от жалости, сострадания до восхищения, преклонения передан и варьированием имени собственного.

Сходны с отмеченными лексические средства выражения состояния в текстовом фрагменте, посвященном Солженицыну: «Ощущение приближающегося гения русской литературы... И такая радость от ощущения причастности к великому делу, общему делу. А когда “Матренин двор” — Господи! Так ведь я же знал, я же ночевал в таких домах, я же мог бы! Ан, нет, не смог. Не то, что написать не смог бы, — это прощательно. А вот не смог так увидеть, как увидел все Солженицын, открывший мне глаза на мир и душевную крепость русской крестьянки. А как ждали “Ивана Денисовича”! Только об этом и говорили... Был я похож на язычника, перед которым открывается непонятный, но и понятный, желанный образ русского художника...» Здесь и прямые номинации состояний воодушевления, радости, и опосредованная передача ощущений предчувствия, прозрения, предвосхищения, восторга; и эмотивно-оценочная лексика («гений», «великий»). Но основу текстопостроения составляют конструкции экспрессивного синтаксиса, передающие состояние взволнованности, повышенной психической активности: обращения, неполные предложения восклицательного типа, перебивы конструкций, включение междометий, частиц, повторы (и лексические, и синтаксические) с целью смыслового усиления и т.д.

Состояние эмпатии, смешанной с восхищением, преклонением, связано у автора с именем М. Булгакова: «В наши дни, когда началась гонка писателей за первенство в информационном буме, которым заболела художественная литература, Булгаков остается для меня примером высокого мужества, терпения и художнической совести. Трудно представить себе лучше чистую

жизнь писателя, который работал, не находя отклика в душах тех, для кого он старался. Но как художник он не озлобился, не проклял литературное ремесло, а с неимоверным терпением писал свои сочинения, ставшие теперь для всех нас шедеврами русской литературы. Имя его не вписывается в модные обоймы. Это обстоятельство лишний раз позволяет мне утверждать, что Булгаков — великий писатель, поднявшийся в одиночестве над всеми условностями литературного процесса и своим талантом обессмертивший имя, которое принадлежит теперь всему миру людей...» *Эстетическое начало, красота как поток энергии, привносимой талантом в мир людей и преображающей этот мир*, осмысляются автором в терминах *наивной этики, обозначений общечеловеческих ценностей* (ср. подчеркнутые слова) в противоположность сиюминутным устремлениям литераторов (ср. иронические метафоры «гонка за первенство», «вписаться в модные обоймы», «заболеть»).

Тема творчества обуславливает равнодушие автора к слову, словесному мастерству, удачным языковым находкам: «Леночка сказала: “Ты живешь невпопад!” Гениально сказала». «“В рощу легкою стопою” — название для рассказа. Это баритон пел: “в рощу легкою стопою”... Легкою стопою! Хорошо. Но что это — легкая стопа? Бунин любил женщин с легкой стопой и писал об этом». Здесь и размышление, и удивление, и сомнение, и радость, удовольствие от удачного выражения.

«Посентябрило, говорят, или, вернее, говорили когда-то. А посентябрило — это вроде бы посеребрило, т.е. бросило ночью иней на траву... Художественная проза всегда ближе к истине, чем самая мыслительная, публицистическая, очень умная проза, лишенная этой особенности. Тайна эта непостижима!». Состояние воодушевления передает и текстовая семантизация значения вышедшего из употребления слова, его возрождение автором, и признание особого предназначения художественного слова. Ср. еще: «Искать слово — бесполезно: все равно не найдешь. Надо довести себя до такого состояния, когда само слово ждет тебя. А тогда писать — наслаждение, равносильное любви или гибели, можно сказать, гибельной любви». Но с писательским, поэтическим предназначением связаны и такие неравновесные состояния, как тревога, грусть, тоска, страдание, подавленность, отклоняющиеся в ту или другую сторону от оптимального.

- «Все, что может поэт в наше время, — это предостеречь об опасности, грозящей жизни на земле. Он, как никто другой, не может жить спокойно, когда огонь уже ползет по сухой траве... Даже если ранняя весна, если пал не в силах еще зажечь деревья». Основной способ выражения тревоги, дурных предчувствий — развернутая метафора «огонь», ползущий по сухой траве, знаменующая начало пожара, стихийного или рукотворного бедствия.
- «Утолить томление по красивой, милой, доброй жизни, по ее человеческому ладу — вот что заставляет писать, уходя от гиблой реальности в реальность, насыщенную чувствами и красотой». И здесь *красота* осмысляется как *средство самоорганизации психической активности говорящего, обретение состояния духовной гармонии, энергетической подпитки*.
- «Иногда вдруг в пасмурные, не по сезону холодные дни августа разбередит душу такая тоска, что хоть на стенку лезь. И ничего-то не сделано, ничего не получилось, и, главное, ничего никогда не получится. Все это кажется истинной правдой, которую ни отменить, ни забыть нельзя). *Эффект суженного сознания, тоска, безнадежность переданы описанием природы, входящей в резонанс с психическим состоянием человека*, наименованием состояния, интенсивность которого подчеркивает фразеологизм, обилием слов с отрицательными частицами, усиливающими состояние безысходности. Страдание от бессилия выразить красоту пронизывает и следующий текст: «И опять эта луна за белыми, алюминиево-чистыми облаками, перечеркнутая черными руками деревьев. Лес, как черная трава, а я, муравей, смотрю из ее чащобы на величавую красоту лунной ночи и страдаю, что не в силах рассказать о ней всем людям, чтоб они поняли меня и вместе со мной остановились, пораженные своей малостью, но и своей способностью понять это». Самоуничтожение (ср. зооморфную метафору) соединяется с чувством удивления от способности человека видеть и чувствовать красоту мира, свое единство с ним.

Кризисное, стрессовое состояние сопровождают раздумья не только о творчестве, но и о *состоянии в стране, о судьбе человека, народа, цивилизации*. Особенно это ощущается в записях последних лет жизни, что, видимо, связано и с ухудшением состояния здоровья автора: «Пишу все лето пороховинки и никак не могу собрать их вместе, снарядить патрон, набив его порохом и дробовым снарядом, и пальнуть в цель. Пороховинку к пороховинке, а запала нет, увы. Никак не идет работенка. Кризис какой-то! Как в стране, так и у меня. Но это не оправдание». Лексическую структуру текста организуют «оружейная» метафора, междометие, ироническое название работы, включение номинации состояния в экспрессивную конструкцию, сравнение, слова самоосуждения.

Иные средства выражают состояние тревоги, негодования, горькой иронии, в продолжении текстового фрагмента: «Хотя сейчас люди вроде бы очухались после долгой пьянки и никак не могут понять, что же им надо делать, куда идти и с чего начинать. Ждут чего-то, чтобы кто-то сказал им давайте-ка, ребята, построим новый какой-нибудь “изм”. Для этого надо то-то, ты будешь делать это, а ты — то. Всем понятно? Всем!!! Ура!!! Но никто ничего не говорит, а мозги, проквашенные алкоголем, никак сами не могут сообразить, что к чему и что почем. Действуют пока еще старые лозунги о народе, о власти, о партии, новых не предвидится, и это смущает наш одуроченный народец... Что такое — думать? Любить по пьянке друг дружку — это пожалуйста. Морду начистить какому-нибудь “врагу” — пожалуйста. А думать? Как это так — думать! Пускай Пушкин думает». Едкий сарказм проступает за сниженной лексикой, имитацией чужой речи, прецедентными текстами и штампами тоталитарного дискурса, авторскими оценками.

Ср. еще: «Человек украсил свою жизнь музыкой, живописью, поэзией, построил для себя величественные здания, украсил свое жилище всякими нужными вещами, которым приданы художниками приятные для глаза формы, обставил всевозможными безделушками, тоже ласкающими глаз и душу. Но нашлись “бесы”, которые вознамерились уничтожить все это “мещанство” ради какого-то утопического и, как оказалось, кровавого будущего, и началась ночь, тьма, ужас падения нравственности». *Метафорическое обозначение эсхатологии, хаоса совме-*

щается с привлечением идеологически заряженных слов для обозначения философии, приведшей к краху традиционных ценностей.

Зло во всех его видах, разрушение, хаос неизменно вызывают состояние страдания, гнева, тоски, подавленности: «И это была цель его прекрасной жизни», — говорят теперь о Вавилоне. И забывают, не считают нужным добавить или сказать в первую очередь о его трагической жизни. Все так у нас. Убьют человека и говорят, какая прекрасная жизнь была у него, словно бы смакуя содеянное зло. Печенег мы все! Несправедливость, издевательство над человеческой судьбой выражены в антонимическом противопоставлении прилагательных к слову «жизнь» и в использовании эмотивной конструкции с отрицательно-оценочным словом-метафорой жестокости, варварства, азиатской дикости. «Как же любить русский народ, когда все детдома набиты брошенными детьми, а дома престарелых плачут старушечьими слезами? Где же наш великий, наш кроткий и великодушный? Или опять кто-то на стороне виноват?» Сомнение, горечь, страдание выражены в серии риторических вопросов с метафорами и метонимией, с ироническим использованием лексики прецедентных текстов. И далее: «Накопление бездуховности шло по возрастающей и превратилось теперь, в наши дни, в эпидемическое бедствие: неразвитый ум, невоспитанные чувства, соединяясь, рожают полудикарят, способных перечеркнуть все достижения цивилизации. Так, наверное, вымирает народ, нация, утрачивая духовные ценности и свой генотип, психологический свой образ».

- «— А вы обратили внимание? Солдаты-то царской армии ходили в бараньих папах. Россия могла одеть свою армию в папахи. Это нищая-то... Имела возможность. И не генералов, а простых солдатиков. Вот так. Ах, ты, господи! за что ж ты Россию наказал?! За какие грехи? За какие преступления поверг ее в нищету и пьянство? Есть ли ответ у кого-нибудь? Нет ответа».

Здесь в основе структурирования текста не столько лексические, сколько синтаксические средства (серия риторических вопросов, выражающих тревогу, отчаяние, страдание, молитвенное обращение с междометием, ассоциации с гоголевским

размышлением о судьбе Руси, птицы-тройки, в последней фразе, диалогическое начало текста, переходящее в монолог драматической окраски).

Негативные эмоции особенно четко выступают на фоне состояний восторга, восхищения, вызываемых жизнью в других странах: «До чего же красива старая Европа! Города, замки, люди, цветы и каналы! А мы, как пугало, обнялись со своими танками, ракетами... И что же? Хотим все это разрушить? Давно пора оглянуться на самих себя со стороны, на злых, бездомных, обозленных бедняков, и сравнить себя с благополучными, умелыми в работе, знающими людьми, в большинстве своим ходящими в храмы. Не пьяницы, не бездельники, не матерщинники, они естественно, не любят нас, с нашими претензиями на всемирную любовь. За что нас любить-то? За кровь, пролитую нами во имя свободы народной, той свободы, которая оказалась сталинской моделью «свободы» лагерного быта? За то, что мы доверчивые такие и жили в обмане, не ведая о преступлениях? Да кто ж таких дураков может любить? Пожалеть можно, да ведь только дурак-то с дубинкой! Вот ведь к чему мы пришли! Вот беда так беда...» Лексические, синтаксические средства противопоставления, риторические вопросы как знак раздумья и боли, закавыченные слова, слова-оценки, метафорический образ дурака с дубинкой — вот далеко неполный *перечень представления неравновесных состояний, вызванных взаимодействием человека и среды.*

Ср. описание еще одного из этих состояний: «Был в Америке! Был ли? Вот в чем вопрос. Ощущение такое, что я проснулся после мучительно-сладкого сна и никак не могу собрать воедино все его красоты и случайные картины, оставшиеся в памяти. Другой мир! Другая цивилизация! Другая планета. Пока все дыбом в сознании, все вывернуто наизнанку...». И здесь средства экспрессивного синтаксиса, поддержанные лексическими повторами, сравнение, опора на прецедентный текст, бытовые метафоры в описании состояния повышенной психической активности сознания.

Такие же *перепады состояний* вызывает тема родной Москвы: «Благословенны твои уголки, Москва! Они так же нежны, как какой-нибудь дворик, который выгянет вдруг из-за старинной ограды. Кольнет сердце грустная радость, будто ты уз-

нал свое детство, вспомнил разорванные на коленках брюки, а дворик, мимо которого ты прошел, так и будет в твоём сознании, пока ты сам живешь на земле»; «Москва! Жизни не хватит, чтоб разглядеть тебя, налюбоваться твоим простором и милой теснотой твоих переулков». Иные кризисные состояния просматриваются в лексической структуре текстов записей 1990 года: «Холодно сегодня и бесснежно. Москва голая словно бы больная в сизом ознобе, бессмысленная какая-то, думаешь: зачем все это... Все эти дома с магазинами, полки которых пусты; эти голые деревья, грязные улицы, захламленные дворы... Все это зачем-то существует, имеет место быть под луной. Ах, господи! Тошно становится и страшно». Состояния, названные словами соответствующей категории в заключительной фразе текста с предшествующим обращением и междометием, рисуются с помощью антропоморфной метафоры болезни, и с использованием эмотивно-оценочной лексики, и иронической заменой глагола «существовать».

Ср. еще: «Москва в этот поздний вечер с балкона дома на Астраханском кажется отвратительно-скользкой, грязной, капающей черной водой, пропадающей в туманно-мрачной оттепели, когда небо от желтых фонарей кажется мясисто-красной тушей, которая придавила несчастных жителей погибающей столицы. Все мерзко и мрачно, как и на душе моей измученной...» Состояние предельной психической подавленности, безысходности от абсурда жизни усиливается видом Москвы, «пропадающей», «погибающей», вместе со своими «несчастливыми» жителями. *Ощущение апокалипсиса, полной энтропии, распада.*

Это, конечно, далеко не все темы, затронутые автором в своих записях разных лет, коррелирующие с тем или иным типом психической активности или динамикой разных типов неравновесных состояний. Так, состояние счастья вызывает у автора рождение новой жизни, красота человеческой души и многое другое. Ограничимся последним примером: «Чудо было, когда ветка герани... обрезанная за ненадобностью и забытая на подоконнике, вдруг зазеленела и ожила сама по себе, без земли, без воды... А потом и зацвела! И родился наш Илья! Все мы очень удивились и поразились. Чудо!» В основе лексической структуры — противопоставление глаголов разрушения и рождения, глаголы, имена и конструкции с общей семьей «что-

то необыкновенное, чудесное», что передает состояние радости, восторга, счастья.

Таким образом, лингвистический анализ текстов одного автора, выявляющих непрерывность психического пространства, позволяет распространить положения синергетики на языковую экспликацию разных уровней психической активности сознания как неравновесных систем. Концептуальный аппарат синергетики входит в органическую связь с основными категориями, положениями и методами лингвистической теории текста.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Прохоров А.О. Психические состояния как неравновесные явления // Синергетика и психология. — СПб., 1997.
2. Семенов Г. Поэзия возвращения // Знамя. 1997. № 9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аспекты лексического анализа текста — одно из недостаточно изученных явлений текстообразования. Это связано и с меняющейся парадигмой научного знания, и с известным отставанием в разработке проблем лексикологической теории, в частности, с «лексическим нигилизмом» (определение С.Г. Ильенко), и с широким распространением дискурсивного анализа и вполне оправданным вниманием к дискурсивной семантике, что обусловлено общей тенденцией укрупнения исследовательского объекта. Думается, однако, что изучение дискурсивной семантики возможно только при условии разработанной методики лексического анализа текстов, представляющих тот или иной дискурс как один из возможных миров. Пособие вносит посильный вклад в ее разработку.

Литература

Обязательная:

- Бабенко Л.Г.* Филологический анализ текста. — М., 2004.
- Бахтин М.М.* Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: Опыт философского анализа // Русская словесность: Антология. — М., 1997.
- Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
- Болотниova Н.С.* Философский анализ текста. — Томск, 2006.
- Валгина Н.С.* Теория текста. — М., 2003.
- Виноградов В.В.* О языке художественной литературы. — М., 1959.
- Гальперин И.Р.* Текст как объект лингвистического исследования. — М., 2005.
- Дридзе Т.М.* Текстовая деятельность и структура коммуникации. — М., 1984.
- Залевская А.А.* Текст и его понимание. — М., 2001.
- Казарин Ю.В.* Филологический анализ поэтического текста. — М., 2004.
- Кайда Л.* Композиционный анализ художественного текста. — М., 2000.
- Каменская О.Л.* Текст и коммуникация. — М., 1990.
- Кубрякова Е.С.* Язык и знание. — М., 2004.
- Кузьмина Н.А.* Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. — М., 2004.
- Лотман Ю.М.* Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. — СПб., 2004.
- Организация и самоорганизация текста. — СПб. Ставрополь, 1996, вып. 1.
- Прокофьева В.Ю.* русский поэтический локус в его лексическом представлении (на материале поэзии Серебряного века). — СПб., 2004.
- Проскураков М.Р.* Концептуальная структура текста. — СПб., 2000.
- Сидоренко К.П.* Интертекстовые связи пушкинского слова. — СПб., 1999.

- Степанова В.В.* Слово в тексте. Из лекций по функциональной лексикологии. — СПб., 2006.
- Сулименко Н.Е.* Слово в контексте гуманитарного знания. — СПб., 2002.
- Чурилина Л.Н.* Лексическая структура художественного текста: принципы антропоцентрического исследования. — СПб., 2002.
- Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000.
- Эко У.* Открытое произведение. — СПб., 2004.

Дополнительная:

- Басин М.А., Шилович И.И.* Синергетика и Интернет. — СПб., 1999.
- Беянин В.П.* Психолингвистические аспекты художественного текста. — М., 1988.
- Болотниova Н.С.* Основы теории текста. — М., 2000.
- Винокур Т.Г.* Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения. — М., 1993.
- Гаспаров Б.М.* Язык. Память. Образ. — М., 1996.
- Говорящий и слушающий. Материалы конференции. — СПб., 2002.
- Долинин К.А.* Интерпретация текста. — М., 1985.
- Ильенко С.Г.* Русистика: избранные труды. — СПб., 2003.
- Кармин А.С., Новикова Е.С.* Культурология. — М., 2004.
- Князева Е.Н., Кудюмов С.П.* Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. — М., 1994.
- Князева Е.Н.* Топология когнитивной деятельности: синергетический подход // Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000.
- Ковтунова И.И.* Поэтический синтаксис. — М., 1991.
- Красных В.В.* Виртуальная реальность или реальная виртуальность? — М., 1998.
- Красных В.В.* «Свой» среди «чужих»: миф или реальность. — М., 2003.
- Ласло Э.* Век бифуркации. Постигание изменяющегося мира // Путь, 1995, № 7.
- Лотман Ю.М.* В школе поэтического слова. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. — М., 1988.
- Лукин В.А.* Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа. — М., 1999.

- Макаров М.Л. Основы теории дискурса. — М., 2003.
- Моисеев Н.Н. Логика универсального эволюционизма и кооперативность // ВФ, 1991, № 8.
- Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс / Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. — Барнаул, 2001.
- Общение. Текст. Высказывание. — М., 1989.
- Пиотровский Р.Г. О лингвистической синергетике // НТИ. Серия 2, 1996, № 12.
- Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. — М., 1986.
- Пригожин И. Философия неустойчивости // ВФ, 1991, № 6.
- Проблемы исследования слова в художественном тексте. — Л., 1990.
- Проскуряков М.Р. Смысл текста как самоорганизующаяся система. — СПб, 1999.
- Проскурякова И.Г. Слово в учебном тексте. — СПб., 1994.
- Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. — М., 1990.
- Рудакова А.В. Когнитология и когнитивная лингвистика. — Воронеж, 2004.
- Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. — М., 1994.
- Сидоров Е.В. проблемы речевой системности. — М., 1987.
- Синергетика и методы науки. — СПб., 1998.
- Синергетика и психология. — СПб, 1997.
- Событие и смысл (синергетический опыт языка). — М., 1999.
- Сулименко Н.Е. Семантические основы текстового слова. — Л., 1988.
- Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Автореф. дисс. ... доктора филол. наук. — Волгоград, 2000.
- Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности или интертекст в мире текстов. — М., 2000.
- Хакен Г. Информация и самоорганизация. — М., 1991.
- Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. — М., 1991.
- Шемякин Ю.И. Семантика самоорганизующихся систем. — М., 2003.
- Шушков А.А. Порядок и хаос в аспекте лексикографии. Автореф. ... канд. филол. наук. — СПб., 1998.

Учебное издание

Сулименко Н.Е.
ТЕКСТ И АСПЕКТЫ
ЕГО ЛЕКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Учебное пособие

Подписано в печать 15.04.2005. Формат 60 г 88/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,0. Уч.-изд. л. 20,3. Тираж 1000 экз. Изд. № 998. Заказ

ООО «Флинта», 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17-Б, комн. 345.
Тел./факс: (095) 334-82-65, тел.: (095) 336-03-11.
E-mail: flinta@mail.ru, flinta@flinta.ru; Website: www.flinta.ru

Издательство «Наука», 117997, ГСП-7, Москва В-485,
ул. Профсоюзная, д. 90.